

Эльфрида Елинек

ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

...Под пером Эльфриды Елинек
разматывается неумолимая нить —
от обиданной скуки подростка
до толора в его руках.

Нобелевская премия по литературе 2004 года

symposium

Эльфрида Елинек, лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года, автор романов «Пианистка», «Похоть», «Любовницы», на сегодняшний день — самая знаменитая писательница не только Австрии, но и всей Европы.

«Перед закрытой дверью» — роман о старшеклассниках, ищущих свое место в обществе, обретающем первые признаки благополучия, — в Австрии, недавно расставшейся с нацизмом и с советской оккупацией.

Как провести остаток школьных лет, чтобы было что вспомнить на склоне жизни? Как выделиться среди одноклассников и справиться с завистью к более обеспеченным сверстникам? Что делать, когда в доме родителей становится нечем дышать? — Под пером Э. Елинек разматывается неумолимая нить от обыденной скуки подростка до топора в его руках.

Экранизация романа в 2007 году выходит на экраны российского телевидения.

Однажды ночью — в конце пятидесятых — в Городском парке Вены совершается нападение с целью грабежа. В одного из прохожих мертвой хваткой вцепились нижеперечисленные лица: Райнер Мария Витковски, его сестра-близняшка Анна, Софи Пахофен (бывшая фон Пахофен) и Ханс Зепп. Райнером Марией Витковски называли в честь Райнера Марии Рильке. Всем им примерно по восемнадцать. Ханс Зепп на несколько лет старше, но и его зрелым не назовешь. Анна явно опережает подругу, с неистовой злобой обрабатывая жертву главным образом с фасада. Требуется редкое мужество, чтобы человеку, который смотрит прямо на тебя (впрочем, увидеть он может немного, вокруг сплошная темень), разодрать ногтями лицо, а то и вовсе нацелиться в глазные яблоки. Ведь глаза — зеркало души, и на его поверхности не должно быть трещин и царапин. Иначе подумают, что душе пришел конец.

Кому-кому, а вот Анне стоило бы оставить мужчину в покое, характер-то у него куда как лучше. Он ведь жертва. Анна же — преступница. Жертва всегда лучше, она невиновна. Правда, вокруг полным-полно невиновных преступников. Облокотившись на уставленные цветами подоконники, они приветливо посматривают на публику, тешатся воспоминаниями о фронтовом прошлом, машут ручкой или занимают высокие посты. Торчат меж кустами герани. Пора наконец-то все простить и забыть, чтобы начать совсем уж заново.

Потом выяснится (задним умом все крепки), что жертва занимала должность юрисконсульта в одной фирме средней руки. Жертва вела пристойный, до мелочей упорядоченный образ жизни, что у Анны вызывает особое отвращение. Порядок и чистота претят ее природе, весьма запакощенной как внутри, так и снаружи.

Молодые люди завладевают бумажником. Это не мешает им избивать мужчину самым жутким образом.

Анна колотит его наотмашь и радуется про себя, что может выплеснуть наружу жгучую ненависть, разъедающую изнутри, что, понятно, совсем не здорово. «Два удовольствия в одном — я еще и деньжатами разживусь. Надеюсь, у него их много». (Оказалось, у него их не густо.) Ханс без усталости молотит кулаками, привычными к физическому труду. Как мужчина он ограничивается мужскими вариантами насилия: кулаком под ребра и коварными ударами головой (идет на таран); пинки в голень, в любой приличной компании пользующиеся дурной славой, он оставляет на долю Софи, и та старается на полную катушку. Совершает выпад за выпадом то левой ногой, то правой, будто поршнями какой-то сложной машины.

— Все выглядело так, словно ты руки марать не хочешь и предоставляешь дело ногам, — скажет ей потом Райнер, нежно притягивая к себе. И тут же отлетит прочь с придушенно-ядовитым шипением — от пинка в коленную чашечку. Нечего руки распускать.

Райнер, считающий себя единственным, кто имеет право на Софи (потому он ее и обнял), торопливо шарит в карманах жертвы в поисках портмоне, находит не сразу (но все же находит). И двигает коленом в живот уже не сопротивляющегося человека, на что жертва отвечает булькающим звуком и струйкой слизи изо рта. Крови не видно, поскольку слишком темно.

— К чему излишняя жестокость по отношению к незащитному! — произносит Софи, вцепляясь нелепо скрюченной жертве в волосы так, что клочья летят.

— В излишестве вся прелесть, — заявляет Райнер, у которого еще не прошел боевой зуд. — Ведь мы так договаривались. Наш принцип в излишестве.

— А по мне, так самое необходимое все-таки получше будет, — возражает Ханс, бросая на портмоне оценивающий взгляд. Похоже, он до денежек сам не свой, ну не странно ли?

— Деньги не главное, — плюет на бумажник Райнер. — Как считаешь, тут сотенными или тысячными?

— Наш принцип не в деньгах, — вспыхивает Софи. У ее родителей денег полно, она буйствует от достатка.

Пот брызгами летит с Ханса, он продолжает дубасить жертву, как бездушная машина, убивающая душу и в других. Брат с сестрой видят в нем именно машину. Анна давно уже считает, что это — красивая машина, скоро и Софи так будет считать. Здесь, возможно, таится зерно раздора. Хансовы кулаки опускаются, как кувалды, черпая в каждом подъеме новую силу. Жертва едва слышно стонет, впрочем, и стонать у нее сил почти не осталось. Пытается звать полицию! Никто не слышит. Анну зов о помощи побуждает садануть лежащего ногой в мошонку — девушка в принципе настроена против полицейских: анархисты всегда против них. Мужчина испуганно умолкает, складывается пополам, катается по земле, потом затихает без движения. Деньги все равно уже у них.

Анна оттаскивает Ханса, бешено молотящего кулаками, подальше от юриста и тянет прочь: надо сматываться. Слышны шаги других прохожих. Что занесло их сюда в столь поздний час? Когда-нибудь и они нарвутся на то же самое.

Дыхание со свистом вырывается из глоток рабочего и гимназистов: они, мчась во весь опор, сворачивают на Иоханнесгассе и проносятся мимо Венской консерватории, откуда навстречу им в свой черед несутся всплески духовых и струнных инструментов (Анна занимается здесь по классу фортепиано). Сейчас в самом разгаре репетиции оркестров, их всегда проводят в позднее время, чтобы люди могли музицировать и после работы.

— Поворачиваем на Кернтнерштрассе, там народу пропасть, — выпаливает Софи, — затеряемся в ночной толпе (и в самом деле, народу там полно).

— Нам ни в какой толпе не затеряться, мы всегда выделяемся из массы, мы выше ее, где бы ни появились, — считает Анна.

— Нам нечего прятаться, нужно совершать все открыто, не таясь, тем самым мы демонстрируем приверженность принципам насилия, применяемого безо всякого разбора и к любому, — говорит Райнер.

— Болван ты, — реагирует Ханс.

Анна больше ничего не говорит, только задумчиво мусолит во рту пальцы правой, ударной руки, ощущая соленый вкус жертвы, залитой потом и кровью: Райнер награждает сестру одобрительным взглядом, Софи испытывает легкое отвращение, а Ханс бьет Анну по пальцам.

— Ах ты, поросятина!

Анну трясет от злобы, коренящейся, должно быть, в конфликте поколений, и пуще всего ей хочется обрушить удар на сверкающие огнями витрины, которые обрамляют роскошный венский бульвар. Она безумно жаждет иметь все, что выставлено здесь напоказ, но на карманные деньги сильно не разбежишься. Приходится подзарабатывать таким вот способом. Ее корчит от зависти, стоит однокласснице появиться в новом костюме и белой блузке или в новых туфлях на шпильке. Вслух она произносит лишь одно:

— Меня блевать тянет, как погляжу на этих расфуфыренных девок. Пустышки

безмозглые, в голове ничего, кроме дурацких шмоток.

Сама она — в пику всем — носит замызганные джинсы и мужские свитера на несколько размеров больше, чтобы ее внутренняя установка имела соответствующее внешнее выражение. Психиатр, к которому ей приходится обращаться из-за периодических приступов немоты (проявляются ни с того, ни с сего и исчезают совершенно бесследно), задает один и тот же вопрос:

— Скажи-ка, дитя мое, почему бы тебе не принарядиться, не взбить локоны, ведь девушка ты, в принципе, симпатичная, тебе бы в школу танцев ходить? Взгляни на себя, ну что за вид, любому парню жутко станет.

Самой Анне жутко от всего, что ее окружает.

Ну и пусть. Среди людей, которые толкуются здесь в прекрасном расположении духа, ищут ночных удовольствий и чаще всего не находят, потому что город этот мало к удовольствиям приспособлен, четыре юные неухоженные фигуры выделяются резким контрастом. У юности, как известно, всегда свежий вид, но об этих такого не скажешь. Если они сознательно отвергают свежесть, ничего не поделаешь. Удовольствий больше не ищут, свое они уже получили. Чтобы не бросаться в глаза, они сменяют бег на деланно-беззаботный прогулочный шаг. Райнер цепляет под руку Софи, которая пытается поправить прическу, глядясь в темные витрины слева и справа. Она кажется самой невинностью, да она такая и есть, всегда выглядит так, словно живет, не снимая белых перчаток. Это способно возбудить мужчину, но не может удовлетворить его. Вот и приходится придумывать ночные набеги, потому что Софи кое-кого не удовлетворяет. Впрочем, есть много других причин. Дело в том, что Райнер — мозг шайки, Ханс — ее кулаки, Софи — своего рода любопытствующий соглядатай, Анна же озлоблена на все человечество, что скверно, ибо злоба застит взор и закрывает доступ. Правда, и без того ей практически закрыт доступ к красивым вещам, которые существуют, потому что продаются за деньги. Анне невдомек, что внутреннее достоинство за деньги не купишь, ничего не поделаешь, на то оно и внутреннее и постороннему взору недоступно. Анне хочется и внешнего, но она об этом помалкивает.

— Людей нельзя бить из ненависти, это следует делать без всякой причины, насилие должно быть самоцелью, — увещевает ее брат Райнер.

— По мне главное — бить, все равно, с ненавистью или без, — отвечает Анна.

— Ты вообще ни во что не врубилась, — говорит Райнер с сознанием собственного превосходства.

— Вот дерьмо, — заявляет Ханс. Употребляя это вульгарное выражение, он хочет сказать, что порвал рубашку. — Мамаша опять бучу устроит.

— Сейчас зайдем в подворотню потемнее, все поделим, — говорит Анна, — а завтра ты новую купишь.

Райнер своих родителей ненавидит и боится. Они произвели его на свет и заняты тем, что содержат его материально, пока сам он одержим занятиями поэзией.

— Без страха нет ненависти, — считает Анна, которая в науке ненавидеть заслуживает ученой степени, — если ничего не бояться, нечего будет и ненавидеть, и воцарится тоскливое равнодушие. Тогда лучше подохнуть. Обывателю настоящая ненависть неведома. Без сильных эмоций мы превратились бы в неодушевленные предметы или вообще бы умерли, что и так происходит достаточно рано. Я люблю искусство во всех его проявлениях.

— Я ни к чему не питаю ненависти, — говорит Софи, — не вижу в своей жизни ничего, что могло бы эту ненависть питать.

— Единственное ощущение, тебе доступное, — твоя любовь ко мне, — изрекает Райнер. — Когда мы тычем пальцами в глаза жертве, мы связаны друг с другом крепче любых брачных уз. Мы вообще — против брака.

— Мне пора идти, — заявляет Софи, которой всегда пора куда-то идти.

— Ты не можешь бросить меня именно сейчас, в тот момент, когда мне нужен кто-нибудь, кому я все могу растолковать, — вскипает Райнер.

— Так вот же, с тобой остаются целых два человека, — отвечает Софи, которую нисколько не трогает его порыв, — им все и растолкуешь. Мне пора домой.

— А твоя доля?

— Завтра в школе отдашь.

Ханс уже тянет когти к деньжатам, запекшаяся нитка слюны в уголке губ деликатно намекает на его алчность.

— погоди ты, сейчас, сейчас, — отмахивается Райнер.

— Ты красиво дерешься, — льстит Анна молодому работяге, поглаживая его бицепсы; мать никогда его так не гладит, ей бы и в голову такое не пришло. В этом движении есть некая двусмысленность, оно значит больше, чем может показаться на первый взгляд.

— Я от тебя торчу, — говорит Анна Хансу.

— Ну ладно, пока. До завтра, — прощается Ханс с Анной и Райнером.

Напряжение спадает, и близнецы направляются домой, в восьмой район, густонаселенный мелкими буржуа, главным образом служащими и пенсионерами. И эти двое — часть бюргерского мирка, так же точно как огрызок — часть яблока, и здесь они чувствуют себя, как дома. Здесь они на самом деле дома и уже идут вверх по лестнице мрачного жилого здания, стараясь ни к чему не прикасаться, чтобы не замараться в линючей нищете. Они достигают вершины, которая находится на пятом этаже. Конечная остановка. И только они ступают на порог, как вместе с ними входит в неудобный дом усталость, нехотя отворяя дверь напряжению: у него на сегодняшний вечер есть еще кое-какие планы, для которых брат и сестра, в общем-то, не нужны. Брат с сестрою вновь возвращаются в обыденность и запирают за собой дверь.

Вот перед нами квартира, а вот и родители. В промежутках между разбойными походами здесь царит монотонный покой. Дети незаметно покидают детский мирок и погружаются в мир взрослых, сопряженный с обязанностями. Брат и сестра обязанностями пренебрегают.

Их старое и убогое жилище зажато со всех сторон такими же третьесортными квартирами, коим несть числа в старой имперской столице. Отвратительные, безликие, старые людишки шаркают в них взад-вперед, снуют с горшками и кувшинами к общим клозетам и водопроводным кранам на лестнице. В этой бесконечной суете не происходит ничего стоящего.

Бывает, что и здесь вдруг проклюнется гений, ведь питательной почвой ему служит грязь, а пределом положено сумасшествие: из грязи он хочет вырваться любой ценой, уберечься же от сумасшествия удастся не всегда. Родители и не подозревают, что в их спертom мирке подрастает гений — сын Райнер. Он почти до колен выкарабкался из липкой грязи отчего дома, пытается вытащить ногу и опереться на нее, но снова и снова проваливается в жижу, как увязший в трясине носорог. Такую сцену он видел в кино, в фильме «Пустыня живет». Во всяком случае, голова Райнера, в которой гнездится неприглядный червь его литературного дарования, торчит сверху, и он взирает на груды изношенного и затхлого белья, на уродливую мебель, рваные газеты, растрепанные книжонки, на громоздящиеся в углу картонки из-под стирального порошка, на кастрюльки с пригаром и плесенью и на кастрюльки с пригаром, на котором плесень еще не завелась, на чайные чашки, покрытые невообразимым налетом, на хлебные крошки, карандашные огрызки, катышки от ластика, исчерканные кроссворды, заскорузлые носки, — взирает на все и ничего не замечает, ненароком вперяя взгляд в высокие сферы искусства, в то царство, которое открыто редкому счастливчику.

Сегодня Райнер и Анна еще в гимназии, куда им надо таскаться каждый день, вплоть до экзаменов на аттестат зрелости.

Господин Витковски вернулся с войны без одной ноги, но с чистой совестью; на войне он был хоть куда, не то что теперь, а именно был невредимым, двуногим и в войсках СС. Все рвение, с каким он прежде исполнял профессиональный долг, он обратил теперь на свое хобби, не признающее границ, — на художественную фотографию. Былые его противники рассеялись, вылетев в трубы крематориев Освенцима и Треблинки или покрыв собой славянские земли. Фотографируя художественно, отец Райнера неустанно и ежедневно преодолевает те узкие пределы, в которые ныне втиснута Германия. Лишь обыватель в своем тесном мирке блюдет границы, в фотографии границы создает одежда, и Витковски-старший ломает все барьеры, образуемые одеждой и моралью. Мать сразу смекнула, от кого их сын унаследовал тягу к искусству — от отца. У отца глаз художника-любителя.

— Раздевайся, Маргарета, сделаем пару-тройку снимков обнаженной натуры!

— Опять раздеваться? Стоит мне взяться за уборку, как ты снова за свое.

— А кто семью кормит, ты или я? — вопрошает господин Витковски, днем — пенсионер по инвалидности, по ночам — портье в гостинице. — С моим увечьем мне только и осталось, что заниматься порноснимками, моим хобби. Для людей зрелых порнография не существует, она для тех, кем надо управлять. И коли дети мои не желают следовать в страну

увлечений, то придется тебе, Гретель, проследовать туда за мной. А теперь живо, пулей, фотокамера уже ждет не дождется, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

— Неужели нельзя фотографировать меня одетой, как все другие делают?

— Нет, в одежде каждый может, кто по выходным щелкает забавы ради. К тому же я получаю удовольствие дважды: во-первых, когда снимаю, а во-вторых, когда оглядываю снимки критическим оком. А еще есть проявка пленок и печать фотокарточек. Люблю я это дело. В искусстве нужно всегда сражаться за результат. Ты, Гретель, себя принуждаешь, и на снимке это сразу заметно. Дарование художника проявляется, помимо прочего, еще и в его глазах, в глубине которых оно пылает ярким огнем. Итак, поехали! Домохозяйка у себя на кухне переодевается, за ней подглядывает посторонний тип, она пытается прикрыться, но под рукой ничего подходящего, скажем, одна только прихватка для кастрюль. Слава богу, ею не прикрыть даже самого необходимого. А мне как раз и нужно самое необходимое. Вдобавок эта рохля прикрывается совсем не там, где надо. Давай, Гретель, давай! Вот дура, самое главное в тени оказалось, лоханку совсем не видно!

— Да я же все делаю, как в прошлый раз!

— А вот и неправильно, надо каждый раз все делать совершенно иначе, чтобы добиться неповторимого художественного эффекта. И уж предоставь мне все решать. Кто тут специалист в фотографии, ты или я?

— Конечно, ты, Отто.

— Так-то лучше.

Мать знавала лучшие времена (время супруги офицера СС), а не только нынешние деньки жены фотохудожника. Она усердно принимает то одну, то другую позу, но дело явно не идет на лад.

— Сделай испуганное лицо. Ломать сопротивление — это сильно возбуждает. На войне я многих сломал самолично, многих личностей собственноручно ликвидировал. Нынче на одной ноге маюсь, а в ту пору бабы мне на шею вешались, вот что значит обаяние военной формы. Шикарный был мундир. Как сейчас помню, шагали мы по польским деревням в высоких сапогах, а кровь аж до щиколоток доходила. Ну-ка, выдвинь передок подальше, тетеха, куда опять свою нашлепку спрятала? Да вот же она!

Мать гундосит заунывную песенку из репертуара Кошата^[1] — про скамейку под березкой. Она думает о колосащемся поле, о прогулке на природе, о чем и заикнуться-то боязно, ведь одноногий испохабит настроение с самого начала. Отец думает о бранном поле чести, на котором ему не суждено было остаться. Зато теперь приходится блюсти поле чести супружеской, чтобы жена, сука драная, не ходила на сторону с мужиками, у которых руки-ноги целы. Держать ее под постоянным надзором нет возможности. Чем она там занимается с бакалейщиком, когда в лавке у него топчется?

Госпожа Витковски считает, что надо чаще бывать на свежем воздухе. Господин Витковски говорит, что сейчас освежит ее на полную катушку, и швыряет ей в плечо чем-то твердым, так что она вздрагивает всем телом. Наверняка опять синяк будет.

— Ах ты, шлюха, я же по-хорошему прошу. Не бог весть что от тебя требуется. Вот двину костылем, с копыт свалишься. Раньше бы я еще и сверху приложился, да теперь такое не с руки, с одной ногой не очень-то разлежишься — подниматься трудно будет. Я как рыба, у которой ног вообще никаких нет, но она славно плавает и на глубину ныряет. Вот потому я и фотографирую отлично. А теперь раздвинь ноги!

У меня, у любителя-фотографа, глаз наметанный — ты опять не помыла толком волосы,

как я тебе велел. Они должны быть шелковистыми, а не торчать, как колючки терновника. Ты все время препятствуешь реализации моих творческих замыслов, связанных со съемкой обнаженной натуры. Каждый раз так и подмывает проломить тебе черепушку, когда ты сопротивляешься моим вылазкам в мир фотографии.

— Я вовсе не сопротивляюсь, Отти.

Во-первых, Анна презирает людей, у которых есть собственные дома, автомобили и семьи, а во-вторых — всех остальных особей без разбора. Она готова взорваться от ярости в любой момент. Словно клокочущий багровыми водами пруд. Он заполнен немотой, которая беспрерывно нашептывает ей что-то. Она не похожа на девушек с перманентом или с болтающимся из стороны в сторону хвостиком, она не торчит в магазине грампластинок, вслушиваясь в мелодийку шлягера и беспокойно перебирая ножками в такт, когда заводится от клевого ритма. Все люди, кроме самой Анны, располагаются на скользкой ледяной поверхности без конца и без края, и она пинками гонит их перед собой. Гонит к бесконечной кромке обрыва, которого не видно, но он, надо надеяться, существует, гонит, чтобы сбросить их всех в ледяную, мертвящую воду. С братом она говорит о литературе и философии, а из нее самой рвется наружу язык созвучий, издаваемых чревом роля.

Однажды на школьной экскурсии девочки из ее класса сфотографировались стайкой, посылая общий поцелуй цветному портрету Петера Крауса^[2] на развороте журнала «Браво». Восемь сияющих мордашек, все с вытянутыми в трубочку губками делают чмок-чмок-чмок, заглядывая в объектив. Анна единственная не захотела тянуть губы в трубочку, и все принялись ее дразнить. По-настоящему издеваться над ней стали после того, как одна из девочек ей сказала:

— Эй, Анни, вон в том музыкальном автомате есть пласты с Бахом, беги скорей, это явно для тебя!

И эта идиотка Анна, одуревшая от яркого солнца, ослепленная занятиями музыкой, сторонящаяся людей из-за чокнутой матери, сломя голову несется туда, куда ей сказали, несется за своей собственной музыкой, которую не понимает никто, кроме нее одной, и которую она может всем объяснить. И что же доносится из автомата? Заводная вещица Элвиса, «Тутти-фрутти», что явно претит ее культурному уровню. Девчонки в кафе покатываются от хохота: Анна, эта дура-одноклассница, взаправду, что ли, подумала, будто музыкальный автомат Баха играет, а не ту музыку, которая нравится молодежи?

Такие вот заскоки у Анны, школьницы, проводящей все свободное время за фортепьяно.

Анна жаждет стереть всех с лица земли, напоминая своим поведением машину для уборки улиц. У Райнера — другой образ: некое подобие лестницы, составленной из живых людей, на высшей ступени которой в лучах света стоит юный поэт, декламируя вирши собственного сочинения, в них он постигает все человечество и достигает мифологических глубин.

Литературой, как известно, владеет каждый, кто способен членораздельно выражаться, кто-то — в большей степени, а кто-то — в меньшей. Есть, правда, и такие, кто считает ее собственной вотчиной, потому что подняться над своим окружением иным способом у них не вытанцовывается. И Райнер — этого поля ягода. Кроме литературы он не смог подчинить себе ничто и никого. Зато литература вполне подходит для выполнения его желаний.

Если близнецов, против обыкновения, нет-нет, да и позовут куда-нибудь на развеселую вечеринку, они сразу начинают отнекиваться, в такой-де компании им не место, это все пустые и бессмысленные развлечения. Говорят они так лишь потому, что танцевать не умеют и не переносят, если в чем-то уступают другим. В молодости тяжело себе в чем-то отказывать, зато в старости — намного легче, ведь в данном предмете столько уж

наупражнялся.

Райнер говорит, что и человека можно себе подчинить. Нужно, во-первых, знать больше него, и он признает тебя компетентным авторитетом. Возьмем, к примеру, Ханса, рабочего парня, с которым они познакомились в подвальчике джаз-клуба. Райнер прочистит ему мозги, и тот станет безвольным орудием. Такое занятие будет потруднее, чем придать форму литературному тексту, ведь люди способны временами оказывать неожиданное сопротивление. Это утомительно, но в то же время сильно подстегивает.

Искусство податливо и необычайно терпеливо. Люди порой строптивы, но восприимчивы к разъяснениям. И пусть им кажется, что они сами во всем прекрасно разбираются, — уж Райнер-то на самом деле разбирается лучше всех.

Одноклассники — серое стадо баранов, невежественное и незрелое. Треплются о том, что они делали с девчонками в собственноручно обустроенном для вечеринок подвале родительской виллы, или в своей комнате в комфортабельной многоэтажке Хитцинга [\[3\]](#), или в лесу, когда ходили за грибами, или в кабине раздевалки в бассейне. Девчонки треплются о том, что они позволяли с собой делать, или как они сопротивлялись, отказываясь делать это самое, и как их умоляли, добиваясь этого. Они ни за что не уступили, потому что хотят оставаться девственницами. И так без конца и без края.

— Райнер, а ты чего, еще ни разу ни одной девчонки не имел?

По крайней мере, в таких интимных разговорах его хоть не обзывают «профессором», как обычно. Райнер тут же принимается растолковывать, что плотское наслаждение есть своего рода экстаз. (Всеобщее изумление!!!)

— Видите ли, сознание в этом экстазе является лишь сознанием тела и оттого предстает как рефлексивное осознание телесности. Как в телесной боли, так и в плотской страсти присутствует некий рефлекс, который способствует весьма интенсивному следованию за сладострастием плоти.

— Че-е-во? Ни слова не понял.

Анна вещает, что плотская страсть становится гибелью чувственного вожделения потому, что она представляет собой не только осуществление данного вожделения, но в то же время является и его целью, и его апофеозом. Люди ищут плотской близости, однако она лишена всякого смысла.

Весь класс с души воротит от такого спектакля: профессор с профессоршей сами толком не знают, о чем говорят. Оба-то, поди, ни разу еще ни в чьей дырке не ковырялись и никого за конец не держали.

Софи Пахофен изысканно движется вдоль воняющих мелом стен, выуживая из портмоне деньги на пресловутый школьный бутерброд и стаканчик кока-колы. Анна, завидуя, прячет толстый ломоть хлеба, который мамочка намазала топленным салом, вложив в него всю свою душу, потому что Анна — ее любимица (такая же женщина, как и она сама), а вот Райнер — папенькин сынок. Райнера любовь к Софи поразила, как удар ребром ладони по горлу, и к девушке, которую он втайне обожает, он обращается со словами:

— Сознание со всей очевидностью теряет из виду телесный рост другого человека, впитывая в себя лишь собственную набухающую телесность, ибо именно она становится высшей и последней целью. Теперь, Софи, тебе это известно. Нужно поступать в соответствии с этим знанием.

Ногти Райнера впиваются в ладонь. Ему ужасно хочется заполучить Софи, которая, понятное дело, тоже этого сильно хочет, просто не решается признаться себе в этом.

Райнер ставит Софи в известность, что он — хищный зверь, а она — его добыча. Софи говорит:

— Не понимаю, о чем ты. Хочешь сходить со мной на теннис?

Райнер говорит, что предпочитает играть исключительно на своем поле. Взгляд Софи устремляется куда-то в сторону. Райнер говорит, что ей, дескать, нужно усвоить: жажда ласкать кого-то преобразуется в жажду того, чтобы ласкали тебя. Хочется сильно, до дурноты ощутить, как распускается цветком твое тело. Чувствовала ли она, Софи, когда-нибудь нечто подобное? Если нет, то он ей покажет, как это делается.

Софи выходит на улицу.

— Меня от всего тошнит, а сегодня — особенно, — заявляет Анна.

Когда Софи вернется от бакалейщика, купив себе булочку с салями, Райнер прикажет отдать булку ему. Он испробует на Софи свою волю. Софи возвращается, и Райнер для пробы с жестокой гримасой берет ее за шею, размещая пальцы прямо на сонной артерии.

— Ой, ты что, совсем спятил, там ведь нервы проходят, а их очень легко умертвить, даже если понарошку.

— Насчет понарошку и речи быть не может, — говорит Райнер. — Я этот приемчик в одном французском фильме видел.

— Но ты ведь не станешь людей убивать только потому, что видел это в кино?

— Кто знает, на что я способен, — говорит Райнер. — Мне ясно только, что я способен на невообразимо жестокие вещи, просто удерживаю себя от них.

Анна за спиной глаз не сводит с разъятой пополам булочки.

— Я тебе тоже купила, — угощает ее Софи. — С селедкой и луком, как ты любишь.

— Отлично!

Умяв свою порцию, Анна тут же направляется в уборную и сует пальцы в глотку. И вот все вновь появляется наружу, только в обратной последовательности, сначала лук, а потом селедка. Анна с интересом разглядывает исторгнутое из себя и дергает за ручку слива. У нее такое чувство, будто вся она целиком состоит из грязи, ничего удивительного, ведь грязь эту она, как магнит, изо дня в день притаскивает с собой из дому.

Однажды, еще ребенком, она подсматривала за мамочкой в ванне. Та купалась не как обычно, а в старых белых трусах, которые в воде пузырились и раздувались парусом. На них были красные пятна. Гадость какая. Такое вот тело — лишь скоропортящийся довесок к человеку, а вовсе не его суть. Хотя есть много чего в продаже, что можно запихать внутрь этого тела или навешать на него. Когда на глаза Анне попадает что-нибудь белое, ей сразу хочется посадить на него пятно.

Навязчивые мысли о мерзопакостях текут в мозгах Анны лишь в одном направлении. Шлагбаум поднимается, пропуская только в одну сторону. Мысли проникают внутрь, больше никогда не выходя наружу, мерзости накапливаются, распирают мозг, создают давку, а запасной выход заколочен досками. Скажем, унижительное воспоминание о том, как родительницы нескольких девиц из школы пожаловались на нее классной руководительнице. Дело в том, что развивающаяся сексуальность Анны находила выход через рот — в виде скабрзных анекдотов (кстати, и половое чувство Райнера всегда проявляется исключительно через рот). Анна, как утверждали родители, растлевала тем самым детские нетронутые души некоторых соучениц. В ту пору у Анны впервые и начались трудности с речью, с тех пор язык ее все чаще заявляет: нет, сегодня я работать отказываюсь.

В настоящий момент Анна снова сажает грязные пятна, и сильнее всего ей хочется

покрыть ими всю оболочку Софи. Но та сделана из высококачественного грязстойкого материала. Грязь к такому не пристает.

Или, скажем, другой примерчик. Анне четырнадцать лет. Голая, она сидит на полу, раздвинув ноги, и при помощи старого зеркала и бритвенного лезвия пытается лишиться себя девственности, чтобы избавиться от кожицы, которая, говорят, там внизу выросла. Не располагая анатомическими познаниями, она разрезает промежность, которая сильно кровоточит.

Когда Анна выходит из вонючего школьного клозета, снежно-белая Софи накрывает ее стремительной лавиной и погребает под собою.

— Заглянешь ко мне после школы?

— О'кей.

Анна упорно тужится изо всех сил, но наружу не прыскает больше ни крови (как тогда, ванной), ни чернил, ни малинового сока, ни слизи.

Софи, едва касаясь земли, выпархивает мимо нее на улицу. Там светло. Настолько светло, что Софи уже не выделяется на этом фоне и исчезает бесследно.

Отец Ханса Зеппа участвовал в рабочем движении, его убили на Лестнице смерти в Маутхаузене. Лучи заходящего солнца, словно не ведая, что такое могло случиться когда-то, отражаются в стеклах домов на Кохгассе, ослепляя еще сильнее, чем прямой свет. Могущество природы заставляет людей зажмуривать глаза. Принуждает их слепнуть... Обитатели улицы имеют большой исторический опыт по части зажмуривания глаз.

Напротив — галантерейная лавчонка. На маленьких, связанных крючком салфетках в витрине помещаются разноцветные нитки, мотки шерсти, острые иголки. Ханс, тронутый за живое предметами быта, входит во двор муниципального дома, где живет вместе с матерью. Он застывшим взглядом смотрит сквозь пожилую владелицу лавки и ее дочь (обе в черных халатах), отпускающих товар женщинам-надомницам. Мать Ханса тоже надомница. В своей неухоженной квартире она — за деньги, разумеется, — печатает адреса на конвертах.

Картошка, апельсины и бананы в зеленой лавке по соседству тоже выглядят очень обыденно и натурально. «Анна с Райнером наверняка бы сравнили все эти простые вещи с чем-нибудь, знакомым им по искусственной и вычурной поэзии, — думает Ханс с чувством превосходства. — Я намного ближе к природе, я держу руку на пульсе времени. Я свободен в своих естественных чувствах и проявлениях, я допускаю их в себя и выпускаю их наружу». На Лаудонгассе почти непрерывно скрежещет трамвай «пятерка», сначала на остановке, теперь на повороте у булочной. «Я еще не испорчен искусством и литературой», — размышляет Ханс.

Мать тоже смотрит на отраженные блики заходящего солнца. Ее голова и сердце отданы социал-демократам, которые ее частенько разочаровывали. Нельзя, чтобы такое случалось чаще, не то она попытает счастья с коммунистами.

— Откуда у тебя этот пуловер, Ханс? Такая шерсть (кашемир) никак не по зубам нашему домашнему бюджету.

Мать поджигает ниточку, и вонь подсказывает ей: чистая шерсть. Ханс, явившийся домой из энергетической компании «Элин-Юнион», где он учится на монтера силовых установок, тут же сообщает, что пуловер получил в подарок от Софи, своей подружки, у которой богатые родители. И все же он — мужчина, а она всего-навсего женщина. Так оно и останется, уж он об этом позаботится.

— Если так будет продолжаться, ты, сам того не заметив, скатишься к предательству

рабочего дела, — говорит мать. Ханс идет на кухню, в единственное отапливаемое помещение, наливает стакан молока, чтобы поддержать в себе силы для упорных занятий спортом. Он спит в крошечной комнатенке, а мать — в холодной гостиной.

— Насрать на рабочий класс, даешь рок-н-ролл!

— Ты — составная часть этого класса.

— Надеюсь, недолго осталось, потому что я хочу стать учителем физкультуры, а может, кто знает, кем-нибудь и почище.

В этот момент из только что подошедшей «пятерки» выплескивается наружу новая порция рабочего люда, растекаясь в боковые улочки и переулки, лестницы затхлых подъездов оживают. Матери семейств бросаются к дверям встречать своих кормильцев, выхватывают у них из рук потертые портфельчики, термосы и жалкие коробки для бутербродов, а в семьях почище — кожаные папки и газеты, недоеденные хрустящие колбаски, промасленную бумагу и тому подобное. На ноги напяливают теперь дырявые домашние носки, которые еще не так давно надевали на работу. Жизнь научила экономить, хотя и не всякому это жизненно необходимо. Нельзя что ни день покупать все новое, коли старое вполне годится и еще послужит. Дети, награжденные первыми, с пылу с жару, затрещинами и оплеухами, поднимают пронзительный вой. «Нет уж, хватит на сегодня, Карли гулять больше не пойдет, нет, довольно». За углом в чахлом скверике по траве снуют спущенные с поводков собаки, гадят там и сям помаленьку. Инвалиды войны, которые в те времена еще оживляли картину города, с интересом наблюдают за собаками, вспоминая былое, когда на территории вражеских государств с ними всем приходилось считаться, а теперь вот не считается никто.

Они хлопают поводками, но собачонки и ухом не ведут. Никто больше не слушается отставных вояк, да и они лишились тех, чьему слову могли бы беспрекословно повиноваться. Увы, нет больше порядка и дисциплины.

Ханс заглатывает несколько бутербродов с маргарином и в старом зеркальце для бритья, которое якобы принадлежало его убитому отцу, рассматривает заботливо уложенный кок.

— Только не начинай опять свои истории про концлагерь, они скоро у меня из ушей полезут, обрыдло.

Владелица галантерейной лавки до половины опустила стальные жалюзи у входа, рядом с ней, уже нагнувшись к выходу, — последняя покупательница, застрявшая за разговором о новом рисунке: эра популярности вышитых картинок на стенках только-только занимается и вскоре разразится вовсю. Люди начинают мечтать об излишнем, едва добившись самого необходимого. О том, что тебе необходимо, лучше уж не мечтать. Солнышко в жизни — явное излишество, если лишних денег нет и не предвидится. А будни, как известно, всегда серы.

— Вот уже месяц, как ты не появляешься на собраниях ячейки, а ведь именно теперь ты бы очень пригодился, нужно расклеивать плакаты (мать — Хансу).

— Да пошла б ты просратья (Ханс — матери).

В ответ она бесцветным голосом принимается цитировать что-то из книжки.

В пятидесятые годы положение рабочих было еще хуже, чем во время глубокого экономического кризиса 1937 года. Этот период называют печально знаменитыми послевоенными годами. Производительность труда росла, что означало не что иное, как усиление эксплуатации, тогда как продуктов питания явно не хватало. Впрочем, на момент

описываемых событий дела у всех начинают идти в гору, и в свои права беспрепятственно вступает «экономическое чудо» (выражение это пришло из Германии, и его олицетворением были кинофильмы со стильной мебелью и домашними барами, равно как и множество дебелых блондинок с пышными бюстами, воздетыми горе при помощи лифчиков с проволочными вставками). «Добро пожаловать!» — восклицает толпа. Есть, правда, много таких, к кому никто и ничто не ступает на порог, а уж какого-то там чуда нет и в помине. Они держат дверь нараспашку, чтобы впустить гостей, но напускают только холод с улицы. В число обделенных входит и фрау Зепп.

Запинаясь и повторяясь, она в который раз действует сыну на нервы своей бубниловкой о 1950-м годе, когда все повернулось и были похоронены ее предпоследние надежды (основной пункт сегодняшней повестки дня: пьяные «гвардейцы Олы» врываются на фабрики, награждая тумачами, пинками и ударами дубинок всех, кто под руку попадет, чтобы заставить бастующих снова взяться за работу; Ола этот был депутатом Национального совета от Социалистической партии Австрии, главарем штрейкбрехерских отрядов... и так далее, и тому подобное, сплошной треп без конца и края). Мать совершенно упускает из виду, что в сыне ее уже довольно давно, да к тому же в обратной пропорции, пробуждаются иллюзорные надежды, которые он тем не менее считает вполне реальными. Ханс молод, здоров и полагается на свои кулаки, точно так же как функционеры от социал-демократии Пробст, Коци и Врба полагались на свои, когда громили забастовки коммунистов. Ханс уже взял в толк, что вовсе не обязательно быть деятелем партии, за которую голосуют рабочие, чтобы обработать кого-нибудь дубинкой, сделать это можно безо всяких околичностей и, самое главное, для собственного удовольствия. Глядишь, так и состояние сколотить можно, а потом еще его и приумножить.

Загораются первые уличные фонари, запуская внутрь себя электрический ток. Ток сотворил Ханс, сделал его собственноручно. Никакой боженька не помогал.

— Тебе ведь твоя работа всегда нравилась, — увещевает мать.

— На свете есть кое-что получше, и я даже знаю что, — горячится Ханс.

— Твой отец отдал за это жизнь.

— Я его об этом не просил, жил бы себе, мне на это наплевать. Ты только представь себе, мама, если нас в квартире было бы на одного больше, тут бы вообще не повернуться.

— Ханс, послушай, есть люди, которые занимают гораздо большую жилую площадь, чем им необходимо.

В Венском лесе, по-над речкой, там скамеечка стоит, а в Хитцинге стоят старинные фамильные виллы. «В одной из них живет Софи, и я там тоже поселюсь во что бы то ни стало», — дает себе клятву Ханс. Он заботливо складывает дорогой кашемировый пуловер и надевает полосатую домашнюю кофтенку, из которой давно вырос. Он бережлив, откладывая все на потом (этому надо учиться заблаговременно, потому что пока молодой, всегда оно есть, это «потом», а вот когда состаришься, тут ему и конец пришел), а потом он станет откладывать еще на потом, чтобы хватило на черный день, который, будем надеяться, никогда не наступит.

Теперь, как по команде, во всем доме раздражается вечерняя варка-готовка, тошнотворные и аппетитные запахи заполняют лестничные клетки, оседая на облупившейся штукатурке, встречая старых знакомых, чтобы почесать языки: капуста квашеная и капуста свежая, картошка и бобы. Из-за дверей несется вторая волна детского рева, вызванная новой порцией оплеух. Папа устал, у папы нервы под напряжением. Тсс, тихо, не то опять случится

короткое замыкание.

Ханс грезит о сверкающем фарфоре, о серебряных приборах, о тонком обхождении, словах и поступках, об осанке и о манере держать себя, в которой никак невозможно неверный тон допустить — лучше уж руку в чужой карман запустить. Ханс — юноша, и у него есть идеал. Юноша и идеал суть одно целое. Отсюда проистекают намерения, в которых определенную роль играет любовь, всегда бескорыстно-жертвенная, поэтому обдирать ее можно как липку.

Ханс говорит, будто Райнер сказал, что в природе сильный всегда подминает слабого.

— Понятно, каким бы я хотел стать.

— А кто он, этот Райнер? — робко спрашивает мать.

— Ты меня достала своими дурацкими расспросами, — дерзит ей сын и сматывается, хотя и не поел толком, а еда молодому организму необходима.

Мать стоит посреди сумрачной комнаты, поясницу ломит от бесконечной писанины, вокруг нее распласталась старая потемневшая мебель, знак того, что в жизни мать ничего не добилась, в чем сама виновата. Кто виноват — тот преступник, а кто преступник — тот и виноват. А еще на нее оседает пластом память о забытых до смерти, о повешенных, об отравленных газом, о тех, кому выламывали золотые коронки. «Привет, Ханзи, спи спокойно!» (Ханзи — так ее мужа звали, и сына тоже так зовут.) Ее Ханс вырос совсем большой, никакой он уже не Ханзи, и в этот момент он как раз выходит из дома на улицу. «Жалко, что папе не довелось увидеть, какой он у нас вырос. Чужие люди были для него важнее семьи. Теперь вот маме приходится в одиночку за сыном присматривать. Для мальчика тяжело без отца расти, об этом часто пишут, девочке-то намного проще». Поскольку мнение это высказывали люди поумнее Хансовой мамыши, то, видно, так оно и есть на самом деле. И солнце не покатывается со смеху, ибо оно только что закатилось за горизонт. От всей улицы, от Кохгассе, остались лишь светлые круги, вышелушиваемые фонарями из темноты домов. Впрочем, вовсе не значит, что если чего-то не видишь, то оно и вообще не существует. Коль скоро оно еще не прошло, не прощено и не позабыто, оно все еще здесь. Оно здесь, и множество судеб, правда, мало кому интересных, по-прежнему накрепко связаны с ним. Ханс рвет эти связи, выбирая иную, более интересную судьбу и растворяясь в ней без остатка.

У осени много прегрешений, особенно когда речь о молодых идет. Старые всегда думают о смерти, а молодые думают о ней исключительно осенью, когда и лист древесный, и зверь лесной упадку поддаются. Райнер говорит, что осенними ночами расправляет крыла своих колдовских чар. И тогда окровавленные кошки, посаженные на цепь в сарае, слизывают вопли с изодранных в клочья шкур. Это такое стихотворение. Когда Райнер мыслит об осеннем увядании, он произвольно думает о женщинах: к примеру, мать его увядает на полную катушку. Женщина всегда желает впустить в себя что-нибудь, или она рождает ребенка, которого выпускает наружу. Такой видит женщину Райнер. «Тлетворно струящийся свет», — говорит Райнер об осени в своем стихотворении. Оно еще не совсем закончено, так, самая малость осталась. Как осталась самая малость и для его матери. Отец-то еще молодится, а мать уже не бодрится. А сестру его мать любит больше. Говорит, той нужнее, у нее более ранимая психика. Отец, понятное дело, больше любит именно его, ведь как раз сыну быть продолжателем рода и хранителем фамилии.

Всеми чувствами, не занятыми поэтическим творчеством, Райнер прислушивается к телефону, который легко и просто перенесет Софи в его дом. Если спросить его: «Ждешь

чего-то?» — он ответит: «Нет, чего это вдруг мне ждать?», однако на самом деле он ждет не дождется звуков любимого голоса. Раздаются они крайне редко. Нельзя делать первый шаг самому, надо знать себе цену. Отчего этот голос не доносится до него по волнам эфира? Из приемника доносится идиотский концерт по заявкам, где одни идиоты поздравляют других идиотов с их тупыми днями рождения и именинами. Лучше бы всем этим людям вообще никогда не родиться, разницы совершенно никакой, живы они или нет.

Софи крайне редко думает о любви, гораздо чаще — о спорте. Спортивной девушке нечего голову глупостями забивать.

В душу Райнера запало много некрасивых сцен. Ребенок очень от них страдает, и подростку потом нелегко стряхнуть с себя этот груз. Слишком часто ребенок видел, как мать, похожая на скелет старой клячи, от побоев отца складывалась пополам, словно перевернутая цифра V. Главным орудием отцу служили старые домашние туфли, которые после надлежащего употребления хоть выбрасывай. В первый раз он избил ее, очевидно, в тот самый день, когда мы проиграли Мировую войну, ведь до этого дня отец колошматил чужаков самого разного калибра и обличья, теперь же материал для битья имелся лишь в обличье жены и детей. Он загонял людей в болота, где им приходил скорый конец, это подтверждено документально. Не повезло ему в том смысле, что другие, кто занимался тем же самым, теперь снова на коне, а он вот нет. Судьба — она такая, тут каждому свое. В этой бывшей элитной своре встречались и неудачники, такие вот, как отец, которые так всю жизнь и проживут грошовыми засранцами. Элита рассеялась, осталась только пригоршня плоти — сам человечиска. «Как бы то ни было, я честно тружусь, и стыдиться мне нечего», — говорит он. Он перепробовал множество занятий, но успеха нигде не достиг. Даже во Францию ездил, хотел рекламировать какую-то французскую продукцию, используя воздушные шары, но заказ дали другому, которого сочли потолковее. Опять одним шансом меньше, в который уже раз. И отец потихоньку скукоживается — в силу естественного старения.

Мать говорит ему, что родительский долг — дать детям образование. Детей, во исполнение долга, отправляют в гимназию. Отец говорит, что пора им самим зарабатывать на жизнь, приводя образованных близнецов своими речами в панический ужас. Родители не в праве от них такого требовать, полагают они.

Мурло грозящей нищеты, которая давно здесь угнездилась, дружелюбно поглядывает из углов комнаты, как из укрытия, и подмигивает одним глазом. Не раз и не два штопанные, подшитые снизу тесьмой — чтобы меньше обтрепывались — штанины джинсов близнецов оставляют борозды на пыльном полу квартиры: мать ходит зарабатывать уборкой в чужих домах, поэтому собственный дом остается неухоженным. В чужих домах живут чужие мужчины. Отец в ярости ревет, как бык, живьем поджариваемый на вертеле. Мать от износа никто не бережет, и достается ей не тесьма, а пинки и зуботычины. Уютом от нее не веет, а ведь любой домашний очаг, где управляется хозяйка, обязан уют излучать. Ее это святая обязанность, ведь у офицера в отставке есть дела поважнее. Он разрушает уют и покой, где бы их ни обнаружил.

В кругу знакомых, ничтожно малом, отца считают странным типом, от которого только и жди каких-нибудь выкрутасов и которого даже угостить-то ничем нельзя, потому что он «не ест из чужой посуды», как он выражается.

Часто отцу вспоминаются темные скелеты людей, которых он убивал в Польше, и убийства продолжались, пока снег не утратил девственность и белизну и не стал

истоптанным и кровавым. Снег тает и падает вновь, навсегда унося следы людей, сгинувших бесследно.

Мать, со своей стороны, пытается привить детям человечность, в этом заключается материнская роль. Вскоре ей приходится опустить руки, потому что дети хотят быть бесчеловечными и делают все, чтобы и выглядеть соответственно. Все напрасно и омерзительно. Все вызывает отвращение, но никто пальцем не пошевелит: отвратительны клочки бумаги и окаменевшие окурки на полу, отвратительны сырные корки, колбасные шкурки, кофейные пятна, а самое главное, яблочные огрызки и апельсиновые зернышки. В них особая гадость. Их не убирают, потому что несказанно приятно чувствовать, как желудок выворачивается наизнанку. Квартира сплошь состоит из углов и закутков, в которых накапливаются отбросы. У обывателя всегда найдется что скрывать, для того и существуют укромные местечки. У Витковски выставлено на обозрение все, что хочет скрыть мелкий буржуа, — в их доме не выбрасывают ничего. Перед такими местечками бюргер останавливается, в любую секунду готовый мгновенно ретироваться или, оставаясь незамеченным, заниматься свинством.

В своем несчастье близнецы превосходят любого, потому что не привязаны ни к чему и делают что заблагорассудится. Райнер говорит: «Все люди, пожалуй, действительно в той или иной степени зависят от обстоятельств, но я — исключение, я всех превосхожу благодаря своей воле. Одиночка свободен, если такова его воля». Райнер милостиво принимает эту свободу, сию минуту вручающую ему свои верительные грамоты. Именно ощущение собственного героизма и составляет его одиночество. Одинок этот героизм потому, что никто его не замечает, отчего, естественно, самый распрекраснейший героизм сильно теряет в цене. Зато Райнеру не стыдно прямо глядеть себе в глаза, когда он остается наедине с зеркалом.

Бывает, что в самый обычный день отец наугад хватается одно из чад и, изрыгая ругательства, принимается лупить почем зря. «Не смей становиться отцу поперек». Ребенок беспомощно барахтается в воздухе, а его ребеночье содержимое покидает тело и поднимается чуть выше, откуда лучше виден кошмар происходящего. В самом раннем детстве у них, у Анны и у Райнера, сложилась такая привычка, и они до сих пор уверены, что пребывают наверху и вправе свысока поглядывать на окружающих. Физически они развиваются с трудом и замедленно, но чувство возвышенного у них сохранилось. В их головах сгущается нечто, что позднее взорвется и зальет все ярко-оранжевым светом.

Пришло время, когда близнецы оставили отца позади в смысле приобретенных знаний. Отец тем не менее уверен, что знает больше, чем дети, это дано ему возрастом. Тут самое главное опыт. В эти новые времена свободу дает знание, а не труд. Работать мы не хотим, а уж руки приложить — тем более не дождешься. Современные молодые люди, которые увлечены только танцами да джазом, не дозрели до свободы, а потому ее снова у них отбирают.

Мать родом из приличной семьи, связи с которой давно утеряны. Она была учительницей. Обе половинки семейной пары нежданно-негаданно обрели друг друга в самых низах, на полу, который все топчут. Анна и Райнер ненавидят своих родителей, ведь юность зачастую опрометчива и бескомпромиссна. Нередко они совершают гадкие поступки по отношению к ненавистному отцу, брезгливо передразнивая каждое его движение, вырывая из рук костыли, подставляя ему ножку (а ведь нога-то у него одна-единственная); они плюют в его тарелку, отказываются принести или подать то, о чем он просит. Эти

каверзы озлобляют стареющего человека. Доказать, что делается это умышленно, ему никогда не удастся. Все же он оставляет их в гимназии, чтобы был повод похвастаться, что его дети в гимназию ходят. Вот так со всей очевидностью приходят в упадок моральные ценности: ценности порядка, подчинения и родительской власти.

Правда, существует еще жена и мать его детей, на ней можно отыграться. Можно сказать ей, что ее тело все больше походит на кусок заплесневевшего сыра, а можно тайком забрать хозяйственные деньги из фарфоровой чашки, где они хранятся, и обвинить ее, что она их сама профукала. Сегодня, к примеру, такая вот ситуация: мама ищет у деток утешения, ведь отец только что нарочно искромсал ножницами новенький, с иголки, передник из премиленьких, в пестренький цветочек, лоскутков, остатков с распродажи: она собственными руками его сострочила на швейной машинке, купленной в рассрочку. Безо всякого таланта к шитью, но с большим тщанием. И с радостью, что делаешь что-то своими руками. Самодельное чаще всего более прилежно сработано и лучше по качеству, чем покупное, потому что ведь всегда знаешь и что, и где, и как, и чем, а в готовой вещи ничего не угадаешь. Предположить, конечно, можно: сделано кое-как, сшито спустя рукава, так что пуговицы тут же осыпаются, да и непомерно дорого. Можно и подешевле. Вот мамуля и сэкономила уйму денег благодаря своему трудолюбию, а папуля возьми да изрежь все, причем совершенно осознанно. Он, видите ли, принципиально против, чтобы в доме швейная машинка была. Ведь если мамуля станет шить себе новые тряпки, то чужим и совершенно посторонним мужикам может прийти в голову повнимательнее рассмотреть ее пускай расползшуюся, но тем

не менее все еще женственную фигуру. Какие расцветки она себе подбирает? В точку попал: ткани с соблазнительным рисунком, цветастые или такие, которые она цветастыми считает (всякие там грибочки, пчелки, жучки, цветочки и т. п.). А какие фасоны? Так точно: чтобы подчеркнуть сиськи, ляжки и жопу, пусть от них и не осталось почти ничего. Не смей, и еще раз не смей! Эти штуки существуют только для папули, и ни для кого более. «Ты все подцепить кого-то там хочешь, но я, даже искалеченный, все равно больше мужик, чем любой другой, у которого хоть ноги-то и две, но он все равно не мужик. Что, доказать тебе, что ли? Докажу прямо сейчас, не сходя с места. Изволь». Не важно где, на коврике на полу или на кровати, повидавшей на своем веку много горя и месячных и оттого смердящей невыносимо.

— Не все же время мне над стиркой корпеть, хочется иногда хорошую книжку почитать, да и просто расслабиться.

— Вот это на тебя похоже, нет чтобы стиральную машину купить, швейную ей подавай. Ходили бы чистые, а какие мы теперь? Грязные. Вот именно. А тебе бы все в новых передничках красоваться.

Вжик-дзынь, звякают ножницы. Столько работы уничтожил одним махом. Какая подлость.

— Будь довольна, что не нанес тебе телесных повреждений, чему я хорошо обучен. Поначалу, помню, давалось трудно, а там само пошло, как по маслу. Кстати, у меня возник замысел новой серии снимков, можно было бы нанести тебе на кожу порезы, царапины, колотые раны. Для этого дела у детей акварельные краски возьмем.

— А я вам абрикосовый пирог испекла, — подлизывается мамочка к детям, у которых она ищет понимания, но ничего не находит. Она возлагает надежды на образование как на основу для этого понимания, на «сердечный такт» детей, которые, однако, давным-давно

выбились из любого такта. Вкладываешь в детей, вкладываешь, и ничегошеньки из этого не выходит, никакой теплоты, никакой близости.

— А вот и пирог, и стеклянные тарелочки. Я вам сюда поставлю, тут уже груда книг навалена, для горячего пирога даже местечка не найти, ну-ка, уберите этот хлам!

— Нет, книги мы убирать не собираемся, они важнее любого пирога. Мы как раз читаем о том, что наше существование не имеет никакой ценности. Давай-ка, вали отсюда, мама, — близнецы выставляют мать за дверь. Отовсюду ее гонят прочь, нигде не хотят видеть бедняжку. Это катастрофически сказывается на ее общем самочувствии.

От души наорав на свою мать, близнецы тут же переходят к пожиранию пирога. Таким занятием они не брезгают.

Для мамули не осталось ни кусочка, хотя она тоже не прочь полакомиться.

Райнеру представляется последней степенью деградации женщины, если ей приходится сносить телесные наказания. Это видно по матери, которая частенько зовет на помощь из родительской спальни. Однако, возможно, с ней поступают неестественным, ненормальным образом и кричит она именно поэтому. Родственники нередко обращали внимание на неестественное, ненормальное выражение глаз Райнера, быть может, следствие того, что он слишком часто наблюдал за делами, творящимися в спальне. Подглядывать при этом он никогда не подглядывал. Каждый раз голову сразу же прятал под одеяло. Там ничего не видно и пахнет только тобой самим. Иногда Райнер ест только суп и отказывается от твердой пищи, хотя вообще-то мужчины любят поесть что-нибудь основательное. Анна порою совсем ничего в рот не берет, ни крошки, такое может продолжаться несколько дней кряду. Когда брат с сестрой встают из-за стола, ни к чему из съестного не прикоснувшись, они тут же заваливаются вместе на одну из своих постелей, которые специально отгорожены перегородкой, ведь он мальчик, а она девочка, — и полностью отгораживаются от внешнего мира. Чтобы отгородиться еще надежнее, Райнер пишет стихи. Часто в кронах деревьев ему являются лица, побуждающие его к поэзии. Вот трепло! Друзей у него нет, одни только приятели, которые сплошь и рядом не по-приятельски относятся к нему, презиращему приятельские отношения из принципа. Когда Райнер слагает стихи, в этом нет ничего от грациозного телодвижения рыбки, выпрыгивающей над водной гладью и отливающей серебром, как об этом, например, можно прочитать у выдающегося писателя Музиля. Райнер скорее вцепляется и вгрызается в поэзию.

Райнер и Анна каждую секунду осознают: благодаря тому, что родители переехали в город, они избавлены от жизни в глухомани, от захолустных местечек, зовущихся Иббзиц, Лаа-ан-дер-Тайя, Лаа-ан-дер-Пилах, или от всяких там Санкт-Михаэлей. Они рады, что не приходится прозябать в какой-нибудь кошмарно бездуховной провинции, с которой они знакомы по крестьянскому двору своей бабки. Все, что угодно, только не это. Там галки и воронье или какая-нибудь другая гадость с воплями когтят деревья, уже отмеченные печатью зимы. Там по сумрачному небу снуют туда-сюда всякие тучки, там блеет косуля, там вонючие ученики начальной школы и дебилы ученики школы средней набивают своими телами школьные автобусы. В их испарениях кишмя кишат бациллы нищеты. Мерзкая мешанина из детей и волглых, удушливо пахнущих шерстяных одежек, которые донашивают после старших братьев и сестер.

— У них нет судьбы, — говорит Райнер, — еще до того как родиться, они были обречены на смерть, и в головах у них одна и та же картина. Что в одной голове, то и в любой другой.

И все это происходит в свободной стране, где, правда, свободой и не пахнет. Безвкусные ландшафты теряются за пеленой дождя, границ не видно, однако границы существуют, они — в головах здешних жителей. С узколобостью брату с сестрой пришлось столкнуться и в большом городе, они ликуют, ибо сами некоторое время назад преодолели границы. Оскалив остренькие зубки, они набросились на отливающую синюшным цветом пуповину залов ожидания, где им предопределено было находиться, и перегрызли ее. Кровь ручейком сбегает у них с подбородков. Белесые языки, язык Райнера и язык Анны, слизывают ее. Скоро от естественной границы рождения не останется ни клочка кожи. Разверзаются

беспредельные дали, и холодное солнце в них, словно невзбитый желток в молоке.

А кому здесь еще бить, как не Райнеру и не Анне, битым-перебитым.

Забыт звенящий мороз на деревенских улицах, забыты воскресные полуботиночки с тонкими подошвами, не подходящие ни к ноге, ни к погоде. Никто больше не заваливается в местную киношку на ковбойский фильм и не выходит оттуда чистым ковбоем, хотя внутри обнаруживает таких же болванов, только в дурацких шляпах и с набриолиненными проборами. Нет больше страха перед поздним возвращением домой и перед поркой с использованием тяжелых предметов. А потом еще посылали в хлев, нагрузив тяжеленными бадьями с горячим пойлом для свиней. И коли позабудешь сменить выходную обувь, она так провоняет, что ничего не останется, кроме как разжаловать ее в хлевные чеботы.

Близнецы не какие-то там проходные персонажи, они исполнители главных ролей. Они — в срединной точке, которая точкой не является, а представляет собой широкий слой средних людей.

Из близнецов выступает наружу не радость от жизни, каковая есть в каждом молодом человеке, который поглощен своим транзисторным приемником, нет, из них прут ярость и отвращение. Вот и люби детей, а выходит то же самое, как будто их вообще не любишь. Они уверены, что в каждом человеке есть нечто, не поддающееся влиянию извне. Что-то такое, что непредсказуемо и что выпадает из общественной среды и, стало быть, абсолютно свободно.

Только безнадежные тупари без ума от домашней выпечки и от Элвиса, Петера и Конни.

Райнер ест прозрачный куриный бульон, в котором опять плавают какие-то предметы, не поддающиеся определению и только замутняющие похлебку.

Перемолоть зубами эти новомодные юбки — вот чем, пожалуй, можно было бы заняться. В последнее время их любит носить серая масса, ткань дешевая, шьют их в огромных количествах, впечатление веселенькое, когда юбка красная, и драматичное, когда она синяя.

А еще — демонтировать «вороньи гнезда», квадратные прически на головах немислимо уродливых девиц, содрать с них эту корабельную оснастку, повыдергав все заколки. Свитерки «под Никки» перемальвать зубами до тех пор, пока и след этого самого Никки не простынет и не останется гладкая, пресная каша самых заурядных свитеров. Райнер закусывает губу до крови, когда девицы проходят мимо него и словно говорят: «Возьми меня! Нет, лучше меня возьми!» У них черные черточки над глазами, подведено верхнее веко, и белая губная помада, и бледно-розовый крем «Лабизан», они — серое стадо, в котором встречаются разноцветные вкрапления. Нижнюю юбку мамаша накрахмалила, а из-под юбки — стойкий запах тела. Юбку-то им подавай попышнее, стоячую, а вот мыться они не желают.

Райнер не хочет связываться с какой-нибудь девицей, пока не хочет, он оценивает их издали. У него еще все впереди, он знает.

Мамочка заглядывает в комнату, приходит в праведный ужас от собственного вывода, но вслух произносит, что лучше бы ее потомству стремиться к прекрасному в мыслях, словах и делах — и воплощать это стремление. Для того они и ходят в гимназию, где этому учат. Им надлежит возводить мосты, а не разрушать их: один мост ведет от тебя к ближнему, а другой — от ближнего к тебе самому. Близнецы мостов возводить не желают.

Анна говорит:

— Мы — воплощение свободы, у которой есть выбор, однако мы не выбираем свободу.

Мы обречены на свободу. Как взгляну на тебя, мама, то прямо так оно и есть, все сходится. Одиночество, покинутость в своей свободе — это про тебя. И истоки покинутости в самом существовании свободы. По тебе видно.

Мамочка этих слов не понимает, но точно знает, что дела в этом мире обстояли бы гораздо лучше, если бы мир больше слушался своих философов, художников и поэтов, а не руководствовался бы собственным мелочным эгоистическим рассудком, который кроме своего корыта ничего больше не видит вокруг. И ее детям надо верить Бетховену и Сократу.

Близнецы растолковывают матери, что и ее не-существование также допустимо и возможно.

— Да я лично вас рожала, сперва одну, потом другого. Поэтому вы существуете, и я сама тоже существую.

Что за чушь такая. Ведь мир так прекрасен, так просторен, так богат красками и так молод, прежде всего, если и сам ты тоже молод. Им можно даже вырезать из журнала новый портрет Элвиса, она наконец-то им позволяет, хотя только что запрещала.

От матери отмахиваются, как от надоедливой мухи. При этом у детей снова появляется тот, давешний, ненормальный взгляд.

Мать уходит и уже в дверях говорит, что ее детям, которые для мамы на всю жизнь останутся маленькими детками, о ком всегда беспокоилась, следовало бы научиться обращать внимание на маленькие радости жизни. Есть люди, пренебрегающие деревьями необычного вида, они не замечают цветов или кустарника на обочине дороги, а иногда даже топчут и ломают их. Эти люди и животных мучают. Заурядные, лишённые духовной жизни люди, к которым ее дети не принадлежат. Ее дети должны ценить то небольшое и малоприметное, чего другие просто не замечают. Для того-то она их и воспитывала. При этом нередко преодолевая сопротивление мужа. Солдатом он был, солдатом и остался, грубый и сам не свой до дешевых развлекательных фильмов. Не будь он таким грубым, он не смог бы убивать. Эта грубость была ему необходима. Мягкость была бы неуместна, она противоречила бы его служебным и профессиональным обязанностям.

У матери до сих пор перед глазами его гогочущий рот, когда отец смотрит кинофильм с участием Хайнца Рюмана. Любимое его кино, бесспорный фаворит среди всех фильмов — «Пунш-жженка». Он без усталости смотрел его много раз подряд. Только он, единственный, распознавал в этом фильме все его изысканные тонкости, остальные все ржали над плоскими шуточками, которые лежали на поверхности. Уже тогда, когда этот фильм только появился на экранах, он предсказывал будущее. Отец это еще тогда понял.

Часто, даже когда и не просят вовсе, он принимается пересказывать содержание кинокомедии «Жженка», к сожалению, дети уже не могут ее посмотреть, как жаль. В этой картине Новое время показало свое истинное лицо в образе того молодого учителя, который обладал национальными идеалами. Учитель в киноленте говорит, что старые времена должны неотвратимо исчезнуть. И сам папа тоже так думает, а близнецы вот сейчас, сию минуту готовят приход новых времен. И времена эти еще более новые, чем те новые времена из фильма.

— Чего ж вы хотите, я всегда был противником отживших традиций. Мне еще посчастливилось увидеть несколько фильмов-ревю с Мариной Рекк, вот у кого огромная сила воли и выносливость, она до сих пор держит себя в форме и все еще танцует. И еще была такая душевная картина по Гансу Христиану Андерсену. По окончании съемок актер, который играл там главную роль, лишил жизни себя, свою супругу и детей, потому что

благоверная его еврейкой была. Вот и получилось, что перед смертью ему была предоставлена возможность продемонстрировать свой юмор, глубоко гуманный, а не гнилой и разлагающий. Такой юмор только тогда получается, когда идет от души, изнутри. Это самое нутро и было разодрано в клочья быстродействующим ядом. Другие помирают куда более незаметно, а мучаются, поди, даже еще больше. Вот так вот, кишки все изорваны, а датский сказочник для грядущих поколений сохранился лишь в виде целлулоидной ленты. Что-то осталось и продолжает жить помимо него самого.

Прекрасное, прекрасное, прекрасное было время.

Обжигающий песок пустыни.

Особенно мягок весенний свет, струящийся сквозь стеклянные, стиля модерн, двери, созданные Рене Лаликом, которые еще в двадцатых годах попали в Париж, на Всемирную выставку, а после нее сразу же переехали в Вену. Софи по своему внутреннему ощущению тоже сделана из стекла, или же из блистающего белизной фарфора, или, еще лучше, из легированной стали. Спорт наводит блеск на Софи со всех сторон, благодаря ему она подвижна и гибка. А что не под силу спорту, с тем справится библиотека отца, заложит основу, обеспечит надлежащий уровень развития. Софи, однако, девушка скорее спортивная, чем книжная. Отнюдь не ходячая энциклопедия. Все выступления округлы, закалены и отполированы до блеска. Любая грязь абсолютно чужда самой ее сути, как еще несколько лет назад всем немцам по самой своей сути было чуждо все не немецкое, оно было просто неприемлемо, нынче, правда, оживленно развивается туризм, и весь мир стекается к немцам прямо в дом, как и сами немцы растекаются из дома по всему миру.

На совершенно гладкой поверхности ее тела нет ни единого уязвимой складки; и хотя так и тянет застолбить на ней место, ничего не выйдет, соскользнешь, не удержишься. Софи одета в платье для тенниса (на ней всегда что-нибудь спортивное), она входит в комнату и говорит Райнеру, в котором живет любовь к ней (он, правда, это скрывает, чтобы не ослабить своих позиций):

— Дай-ка двадцатку на такси, а то у меня с собой ни гроша, а мама ушла к приятельнице на чашку чая.

Втихомолку пуская слезу, Райнер роется в крошечном кошельке. Софи получает деньги, сумму для Райнера немалую, каковую ему наверняка не вернут. Дело в том, что для Софи деньги вообще не существуют, ибо они всегда естественным образом есть в наличии. А Райнер долго еще смотрит вослед своей хорошенькой двадцатке, хотя она давным-давно уже покинула дом. Отец Райнера поездки на такси считает выражением болезненного тщеславия, которое его сын должен подавлять, что теряет всякий смысл, если тому приходится расплачиваться за других. Для Софи такси лишь обычное средство передвижения.

Деньги Софи никогда не вернет, просто забудет про них, потому что они не имеют для нее никакой реальной ценности.

Райнера будет преследовать навязчивая мысль и об этих деньгах, и о тех, что давал раньше, но попросить вернуть их он никогда не осмелится.

Персидский ковер простирается широкой и мягкой равниной. Софи — нечто такое, внутрь чего нужно втиснуться, одно непонятно — как, поручней на ней нет, не ухватишься. Может, засунуть в нее сверху, прямо в рот, раздолбить ей язык в месиво, чтобы она больше не бросала походя колких замечаний, а может, вставить ей снизу, что нелегко, ведь к своей дверке она и близко не подпускает. Поскользнешься и упадешь. Эта неудача — ничто по сравнению с падением социальным. Малое, так сказать, зло. Однако оно может стать причиной зла большого.

Повсюду современные картины и предметы, осененные светом старинной культуры и искусства, и приобщиться к нему можно лишь тогда, когда эти вещи станут твоей собственностью. Лучше всего — сделав собственностью Софи, не имеющей, как уже было сказано, поручней, за которые можно было бы ухватиться покрепче. Райнер изучил и узнал

законы искусства, но вот произведениями искусства он пока не владеет. Кстати говоря, этих самых законов искусства не существует вообще, ведь искусство потому и становится искусным, что не повинуется никаким законам. К этому выводу Райнер сам пришел. Люди же подчиняются определенным правилам, ведь иначе получилось бы, что все против всех, сплошная анархия. Это говорит Райнерова мамаша Райнерову папаше, а тот в свою очередь ей об этом толкует. Сам же Райнер питает к анархии слабость, ведь он слишком хорошо изучил все эти порядки упорядоченного человеческого общежития, а потому и презирает их. Надо все разрушить и больше не восстанавливать.

Когтистая лапа Райнера подается вперед, чтобы зацепить Софи, заломав ей руку, но та проскальзывает сквозь него и говорит, что ей нужно пойти переодеться. В который раз.

— Я пойду с тобой.

— Ничего подобного, никуда ты не пойдешь.

И он снова остается ни с чем. Один из бесчисленных пороков людей среднего класса заключается в том, что они сразу теряют присутствие духа, стоит их неуклюжим наступательным попыткам провалиться. Шанс пролезть повыше замаячил было перед носом, но они уже опускают руки вместо того, чтобы стоять на своем, хотя бы для вида.

— Вот тебе виски, угощайся пока.

Райнер с ожесточением одергивает на себе дешевый, чересчур широкий пуловер, а Софи от него ускользает, и это не в первый раз. Уже надоедать начинает.

Бедный мозг тут же прокручивает ленту его унижений, бывших и настоящих. Отметины в его увечной душе, на которых пленка всегда застревает. Хорошего ничего, одно только неприглядное. В памяти всплывают воскресные вылазки на природу, мать, трамваи, воняющие пропотевшими носками, набитые убогой, серой человеческой массой, такой, какую производит долгая война и не сразу может убрать. Собираемся в путь, в Венский лес. Шерстяные чепчики из распоротого и наново перешитого военного сукна, широченные лыжные шаровары, грубые башмаки и самое мерзкое, что только можно себе представить, — пресловутый пакет с полдником. Задохшийся в сырной вони, от которой только пить хочется. Но в придорожную харчевню за городом ни-ни, потому что это денег стоит, дети и простой водичкой обойдутся, только вот не видно ее нигде. Вскоре сырный бутерброд испустит последний вздох под дешевыми металлическими коронками мамочки и долго еще будет источать вонь из ее желудка, потому что она слишком быстро его проглотила. Если жевать чересчур долго, то противный вкус лишь разнесется по всему рту.

Ненавистный навес, под которым ждешь битых двадцать минут, пока сорок третий трамвай, сделав петлю, не подъедет к остановке. Конечная станция — Нойвальдегг. И едем в самой гуще самой неимущей человеческой массы. Бывало и так, что сэкономили на проезде и тащились пешком по длиннющей улице Альсцайле, в конце которой (какая добрая, добрая мамочка!) позволялось на сэкономленные деньги прокатиться на карусели, отчего не в пример острее ощущалось, что ты — маленькое дитя, а ведь так хочется быть большим. И все же детки, Райнер и Анни, вскрикивают радостно и звонко, а отравы от проносящихся мимо автомобилей проникает в мозг и в сердца. Не в том дело, что машины загрязняют какую-то там окружающую среду, она и без того обезображена войной, тут другое: капитал для приобретения автомобиля отсутствует. Этого только не хватало: Анни катается по траве, усеянной собачьим дерьмом и обрывками бумаги, чтобы обратить внимание на свои немалые душевные трудности. Душевные трудности — непозволительная роскошь, и потому ее оставляют без внимания. Анни хочет оказаться одна в красивой легковушке, а не торчать

вместе с толпой, еще и в обществе своей семейки, в занюханном трамвае, в котором все одинаковы и где никак невозможно выделиться. Когда ты в «мерседесе» сидишь, к тебе никто не подойдет, не начнет дурацкие расспросы, как-де звать мальчугана или девчушку. И не вздумает погладить по головке, а по рукам-то сразу видно, что принадлежат они рабочей породе. И невдомек ему, что ласково поглаживаемый ребенок уже несет в своем сердце яд индивидуализма, готовый брызнуть во все стороны.

Однажды Анни даже штанишки обмочила, почуяв на себе такую вот руку в варежке и гнилое чесночное дыхание, и то, как с ней разговаривали, будто она самый обычный ребенок, каковым она и тогда уже себя не считала. Ни обычным, ни ребенком. Горячая струйка потекла по ногам (вперед и вниз!), яростно и едко прогрызаясь сквозь шерстяные штанишки домашней вязки, неудержимо пробивая себе дорогу в поисках выхода из воскресного убожества на ребристый вагонный пол. Кап-кап-кап. Мамашины руки колодезными журавлями ныряют вниз, дубасят ребенка, снова вздымаются вверх, опять опускаются, такая вот компенсационная гимнастика для мамочки, она ведь на прогулке так хорошо отдохнула. Ребенок воеет во всю мочь. Райнер после первой же оплеухи, доставшейся сестре, спрятался, забился между двух ветхих дедулек, впившись пальцами в грубый башмак одного из них.

— А мальчонка-то ваш, поди, уже в школу ходит? А как тебя звать?

«Да пошли вы все в задницу».

Снаружи, на улице, словно акулы, выныривают из тумана «опели» и «фольксвагены» и снова устремляют в осеннюю мглу свои могучие и покорные, хотя и неприрученные туши, ни на миг не выпуская из глаз своей цели. А неповоротливый сорок третий трамвай, натужно скрежеща, громыхает по рельсам.

Анна лежит в собственной лужице, жутко перемазанная, а мамочка обращается за советом к другим матерям, что же делать с такой вот девочкой, которая до сих пор еще в штанишки писает, хотя вон какая большая выросла.

— Надо было раньше пи-пи делать, еще дома, перед выходом, правда, дочурка?! В другой раз будешь знать. Погоди-погоди, скоро папа это дело увидит, получишь новую выволочку. Хотя у папули теперь только одна ножка осталась, но руки ему и раньше хорошо служили, и теперь не обессилели. Ох и дела, а ведь у меня их двое, а значит, и хлопот с этими чумичками в два раза больше. А ну-ка, помолчи, а не то схлопочешь еще затрещину.

Руки близнецов тайком от трамвайной толпы сжимают друг друга, молочные зубки скалятся по-вампики: погоди только, мамочка, вот мы подрастем, тебе то же самое будет, а то и похлеще.

Под сиденьем огрызок яблока, две сырны корки, колбасные шкурки, брошенные кем-то, уверенным, что здесь он у себя дома, так что свинячить можно, а ведь на самом-то деле он в общественном транспорте, который и принадлежит этой самой общественности. То, что Анне принадлежит часть трамвая, ее нисколько не утешает. Ведь он и всем остальным тоже принадлежит. Есть люди, которые думают, что они всюду как у себя дома. Наверняка они и дома точно так же себя ведут, тьфу, черт, что за люди!

Мальш Райнер, давясь, запускает зубы в обглоданную сырную корку, впивается в нее пиявкой. Мокрый песок скрежещет между челюстями, которые еще не полностью оснащены коренными зубами. Р-р-раз, вот уже и выворачивается наизнанку желудок, и наполовину переваренный бутерброд с топленным салом торопится к выходу. К аварийному выходу. Надолго лишишься радости от таких вот прогулок всей семьей за город, коли они вечно

завершаются так сомнительно. Одна описалась, другого рвет. А ведь все это время можно было бы сидеть на мягких, обшитых кожей сиденьях авто, просто говорить, куда хочешь ехать, и без малейшего напряжения попадать туда, куда хочешь.

В комнату невесомо впархивает Софи, на сей раз, для разнообразия, в дневном платье, потому что собирается ехать с матерью в город. Сзади сквозь дверь, ведущую на террасу, падает яркий луч света, не блуждая бесцельно, не рассеиваясь, а тут же удобно устраиваясь на светлых волосах Софи. И паркет позади нее тоже слегка раскаляется.

Ничто не есть природа, но все уже по природе своей таково, каково есть.

Дитя внутри Райнера принимается громко всхлипывать; самое худшее — это когда заходишь в трамвай в последний момент, когда уже присесть негде, все места заняты и приходится стоять. Хныканьем не поможешь, никто из взрослых своей задницы не поднимет, а вот ребенок всегда обязан вскочить, освобождая место этим самым взрослым. Оказываешься зажатым в безобразной чащобе, которая отвратительна в целом и к тому же состоит из отдельных туловищ, одно безобразнее другого, и не видно ни входа, ни выхода. Вот ты и оказался здесь, внутри, раз и навсегда, и приходится ехать со всеми вместе, стиснутому людьми, прячась между воняющими нафталином зимними пальто и довоенными куртками. Да к тому же — вот уж, действительно, только этого еще не хватало, — двое прилично одетых молодых людей, конечно же, студенты, у отцов есть собственные автомобили, у них сегодня просто времени нет отвезти сына с дочкой куда те пожелают, но, как-никак, машина имеется, она есть, есть, есть, она находится в их полном распоряжении, они болтают о горных лыжах, о дальних путешествиях всей компанией как о чем-то совершенно естественном. Нужно стремиться быть похожим на них, но, вероятно, это никогда не получится, когда у тебя такие папаша с мамашей, нужно изо всех сил подражать этим двоим, лишь только достигнешь подходящего возраста, ждать чего придется еще долго. Как благородно обтекаемы их формы, они уже сейчас выглядят, словно люди будущего, какой в них чувствуется размах. А зауженные брюки такие стильные! Этими двумя никто не распоряжается, им дозволено жить своей собственной жизнью, сразу видно. А тут тебя материнская рука еще в землю давит, в пыль толчет, да еще заставляет подносить в зубах банановые шкурки — апорт!

Софи, по внешней оболочке которой невозможно даже предположить наличия в ней каких-либо телесных функций, прежде всего внутренних, в частности связанных с телесным низом, несмотря ни на что все-таки функционирует, причем наилучшим образом, хотя и незаметно — каким именно образом и посредством чего, — эта самая Софи снова, в который раз куда-то уходит, направляясь туда, где написано: «Посторонним вход воспрещен». Почти всякий раз, встречаясь нам, она куда-то спешит, хотя все равно вечно опаздывает. Ей на это наплевать. А Райнеру только и остается, что оставаться в одиночестве и трястись от злости.

Они держатся в тени не потому, что избегают света, а потому что свет, понятное дело, избегает их. И на школьном дворе, и в классе. Их волчья стая всегда сбивается по углам. Она демонстрирует неоспоримое, сверхчеловеческое превосходство, что другие тоже бы не прочь продемонстрировать, но доросли пока лишь до жалких недочеловеческих потуг, что тоже имеет право на существование, дабы сверхчеловеческие достоинства могли лучше выделяться на таком фоне. Их ноги вдруг вытягиваются во всю ширину темных переходов, и очередной маменькин сынок или очередная папенькина дочка в плиссированной клетчатой юбчонке шмякается наземь. Примерные одноклассники хвалятся, что всегда могут найти хорошую тему для разговора, когда с приятелем или с подружкой идут в кафе-мороженое. Они разглагольствуют о том, как с пользой проводить свободное от уроков время, и что нового в школе, и кто встречается со студентом Технического института или со студентом Университета, а кому удалось оторвать себе всего лишь ладного да статного очаровашку, служащего по коммерческой части. Другие темы для беседы — концерты, театр, выставки, вечеринки или новая грампластинка. Анна, София и Райнер, неразлучная тройца, все подобное решительно не приемлют. Из увлечения шлягерами они уже выросли, и если уж что-то и признают, то исключительно крутой джаз или заводной рок. Софи отвергает все не так ожесточенно, потому что ей совершенно незачем создавать ожесточенность. Вещи сами к ней приходят, навязываются, и она говорит: «Сегодня я в вас не нуждаюсь, уходите», а иногда принимает их. Все по настроению. Райнер говорит, что ей не помешало бы иногда проявлять жесткость, лишь в его объятьях ей позволительно дать волю чувствам и даже иной раз размякнуть.

Софи нужно хорошенько заинтересовать, чтобы она начала совершать преступления, так как сама она не считает, что это ей нужно, так напрягаться. К тому же весьма сомнительное удовольствие — не спать ночью, чтобы заниматься делами, которые боятся света дня. Это затруднительно, надо преодолевать себя, а ведь гораздо лучше полеживать себе в постели и почитывать захватывающий детектив.

На уроке немецкого самоубийца Штифтер^[4] возвышает свой голос над шумливыми гимназистами; он, жертва несчастного брака и неумения распорядиться собственной жизнью, не нашел ничего умнее, как рассусоливать о святом и светлом Троицыном дне, когда он подходит «к опушке леса безмятежной», о нет, не там, где «мелькает силуэт косули нежной» (совершенно начхать, что там у него мелькает, считает Анна), но там, где он прогуливается по некоей беспредельной, бесконечной, так сказать, местности. Что он смыслит в бесконечности? Дух его не в силах постигнуть беспредельное. Зато Райнер ощущает в себе беспредельность поэта, который разбивает все оковы. Он ее чувствует, а никакой не Штифтер, Штифтер доказал это всей своей профуканной жизнью, своей трусливой нерешительностью. Далее Адальберт Штифтер проводит смотр дефилирующим мимо него разным там красотам, как одушевленным, так и неодушевленным. «Природа стремится погрузиться в неодушевленность, — думает Райнер, — а мы лишь способствуем ей в этом». Он незамедлительно делится своим наблюдением, отправляя записку Софи, которая в этот момент рисует силуэты лошадей в общей тетради. Она невысокого мнения о неодушевленности, так как предпочитает спортивное воодушевление. Нужно почувствовать собственное тело или тело скаковой лошади, когда она переходит с рыси на галоп. Ветер

овеваает скакуна и всадницу, и свежий воздух гонит прочь и дурное настроение, и тревоги. На таком воздухе не разлежишься, а не то и разложиться недолго.

Зло предпочитает защищенные от ветра, укромные закоулки, бледные изнеженные подростки предпочитают замкнутость подвальных кафе, а то ведь на улице, при свете дня, чего доброго, сразу начнешь переводить слепых и старушек через дорогу или собачку по шерстке гладить.

— Кто там мешает вести урок? Витковски, номер первый и номер второй, я попросила бы вас успокоиться и помолчать, или мне отметить ваше поведение в журнале?

«Да чего там такого отмечать, разве что ваши личные неудачи в вашем личном дневнике. А уж их у вас хватает, каждую неделю найдется, что записать, я уверена. Из рта у вас пахнет, и кожа отвратительная, серая, и икры толстенные, госпожа учительница» (Анна).

Штифтер в умилении бубнит про сияние сияющих небес, про восхитительные апрельские облачка, полные солнечных бликов, про изумрудные полосы озимых побегов.

— Пусть у него у самого стручок позеленеет, — говорит Райнер, искоса поглядывая на Софи, и заливается твякающим хихиканьем.

Анна предлагает привлечь к затее с нападениями Ханса Зеппа, с которым они недавно познакомились в джазовом подвальчике. Он будет идеальным орудием, да и вообще ему надо покинуть свою пролетарскую прослойку. В обществе сильный постоянно берет власть над слабым, будь то на фабрике или в конторе, тут все способы хороши. Вот Ханса, к примеру, его фирма «Элин-Юнион» заставляет возиться с электрическим током. Явно с постоянной опасностью для жизни. Ток способен убить, делает он это чисто и неожиданно. Он не предупреждает заранее, он просто появляется из ничего. Униженный и оскорбленный видит в своей конторе таких же, как он, придавленных жизнью, и в нем неизбежно возникает чувство общности и солидарности с ними, а значит, он вновь ощущает свою силу. Правда, быть сильным в труппе у Райнера ему нельзя, потому что Райнер непререкаемо, раз и навсегда вожак, ведь эта идея пришла в голову именно ему. Куда бы Ханс ни посмотрел, он не увидит в своем окружении такого же, как он, рабочего, повсюду он должен видеть одних лишь нас. Он должен беспрекословно внимать нашим словам, предостережениям, приказаниям, поощрениям. Анна говорит:

— Красть кошельки — сплошное ребячество, я хочу устроить взрыв. Это незамедлительно привлечет бы внимание, и мир стал бы относиться к нам не с ласковым пренебрежением, но с должным почтением.

Райнер говорит, что когда отец его летает в Нью-Йорк, то ему (как он говорит) грудь распирает от счастья, ведь он смотрит на землю сверху и в заоблачной выси свобода не знает границ. На самом-то деле отец после войны не выезжал дальше Цветтля, что в Нижней Австрии. Об этом Райнер помалкивает. Анне вспоминается, как она еще ребенком подарила папе на день рождения букетик ландышей, а тот не говоря ни слова спустил цветы в унитаз. С чего бы ей это вспомнилось именно сейчас?

Хотя нужно, конечно, признать, что анархизм хорош только для самого анархиста. Это только освобождает. Нельзя с помощью анархизма добиваться чего-либо, а уж для группы лиц и подавно, неважно, что это за лица.

Де Сад говорит, что нужно совершать преступления. Слово «преступление» употребляют, придерживаясь общепринятых условностей, но между собой мы не будем обозначать таким образом ни одно из наших действий (Анна). Нам необходимы общеупотребительные рамки, чтобы нас еще сильнее распаляла наша необузданность. Мы

чудовищны, даже если для маскировки и прикрываемся внешностью заурядных обывателей. Мы дети обывателей, но таковыми мы не останемся. Наше нутро изъедено дурными делами, а снаружи мы — безобидные гимназисты.

Райнер, который в настоящий момент читает «Постороннего» Камю, говорит, что он хотел бы оставить этому миру враждебность. Когда у тебя отнята надежда на лучшее, лишь тогда день сегодняшней полностью оказывается в твоей власти. Тогда ты сам творишь реальность, а остальные превращаются в статистов. Как только Райнер видит, что наступает вечер, он сразу изрекает, что вечер этот не что иное, как унылое перемирие, в котором угасла жизнь.

Учительница немецкого говорит, чтобы Витковски, оба, не мешали классу своей беспрестанной болтовней.

Штифтер говорит: «Дальше по склонам гор тянулись рыжевато-блеклые леса в нежно-голубой дымке».

— А ты взаправду можешь себе представить, что леса куда-то там потянулись? На поезде, что ли? И билет не забыли купить? Нет, кроме шуток?

По Райнеру, если совершаешь преступление, важно ощущать поддержку со стороны любящего тебя человека, каковым в его случае является женщина (Софи). Не ту поддержку, которой ждет от женщины обыватель, а ту, которая нужна от женщины молодому таланту. Если человек настолько углубляется в противозаконность, то у самых дверей противозаконности его должен ждать партнер, некое Ты: Софи.

— На самом деле мои желания внушают мне отвращение, но желания эти сильнее меня. И моя любовь к тебе сильнее меня. Однако в ней нет плотского желания, которое мы преодолеваем.

— Сплошное дерьмо, — отвечает Анна, — любовь — это когда одна телесная оболочка касается другой.

— Я этого Адальберта Штифтера ни секунды больше не выдержу, право слово, — говорит Анна. — Кто вот эту штопальную иглу из моей корзинки для урока домоводства со всего размаха загонит себе под ноготь и не заорет, да-да, со всего размаха, я сказала, и прямо сейчас, на уроке, — с тем я пойду в мальчишеский сортир, в кабинку слева.

Райнер видит в этом некоторую революционность. Анна так не считает, ибо целью здесь является не равенство всех, что противоречило бы и законам природы, и учению о наследственности, но как раз обратное. Полнейшее разделение и изоляция. Равенство может быть по нраву лишь тому, кто не способен приобщиться к касте сильных. Он стремится компенсировать этот комплекс, умаляя, унижая сильных, и обольщает себя надеждой, что от этого они ослабнут.

— Ну, так что же насчет иголки, кто смелый?

И Герхард Швайгер, поздний ребенок и вечный середняк, с прыщами по всему телу — уж во всяком случае там, где тело это выступает из-под одежды, — склонный заливать краской по любому поводу, видит, что настал его великий час, другого шанса не будет, и немедля вгоняет иголку одним ударом под ноготь указательного пальца левой руки. Ох! Софи сияет, как беленая шерсть, слегка присыпанная стиральным порошком. Райнер не скрывает удивления, что вызвался именно Швайгер, которого вообще-то ничто, кроме шоколада, не интересуется. Он бледен, как полотно, и громко произносит, что мочи терпеть нет. Анна без энтузиазма мерит его оценивающим взглядом. Учительница говорит, что Швайгер ну просто как дитя малое, но если действительно так сильно приспичило, пусть

идет, ничего не поделаешь, однако впредь пусть успеваешь сходить на перемене, они для того и существуют. И вот Герхард, трясая жиром, топает на выход, бросая на Анну заговорщический взгляд, которому он старается придать особую выразительность. Взгляд получается не выразительный, а жалкий. «Помоги мне, Анни, прошу, я давно тебя обожаю, и мне нужно хоть чуточку тепла и ласки, иначе у меня член толком не встанет, и как мне его тогда в тебя засунуть? Волшебный миг твоей любви — лучший подарок, детка».

— Надо же, в кого ты вляпалась, — говорит Райнер сестре. — Надеюсь, мне не придется идти на помощь и выковыривать тебя отверткой из этой сальной бочки. Презерватив-то есть?

— Один еще остался. И насколько я этого типа знаю, он уже полгода носит с собой резинку про запас, он на меня давно наострился. Резинка за это время наверняка поистерлась, растрескалась и уже никуда не годится.

— Анна Витковски, будь настолько любезна, продолжи чтение с того места, где мы остановились.

— Разумеется, госпожа учительница, Штифтер учит нас, что люди несвободны, что они являются рабами законов природы. Вследствие этого нужно всей душой отдаваться порыву, тем стремительным и бурным действиям (коли уж больше отдаваться некому!), которые заурядные людишки именуют преступлениями, а вот мы считаем их нормой, однако нормой только для нас самих, а не для всех прочих.

После этого Анну удаляют из класса, чего она, собственно, и добивалась. И пока Адальберт Штифтер продолжает вещать об алом румянце, каковой являют юные лица, если мы внезапно устремим на них свой взор, и как его чарует такого рода стыдливость, — вот распустил слюни старый педераст, — Анна преспокойно дефилирует в сортир, где ее поджидает Герхард с залитым краской лицом.

— Иди, иди, иди ко мне, Анни, я больше не могу, не выдержу!

«Хрясь, чуть в очко унитаза не рухнул, вот лопух, совершенно по-идиотски плюхнулся вниз своей жирной жопой, практики нет, сразу видно». Анна стягивает с себя трусики, дает отрывистые указания относительно позы, которую ему надлежит принять. «Та-ак, чего и следовало ожидать, теперь у него еще и не стоит, ясное дело». Робость и возбуждение могут совсем прикончить окончательно не устоявшегося и озабоченного подростка. «Неужели мне и об этом придется позаботиться?!» Ну наконец-то что-то такое наблюдается, ожило и задвигалось, при этом Герхарда бросало то в жар, то в холод. Поначалу он складывается пополам, как карточный домик. Анна с интересом наблюдает за манипуляциями над герхардовым членом, вертя в пальцах презерватив. Выйдет, не выйдет, все-таки выйдет. Ну что ж, поехали. Увидев острую багровую головку, она думает: «Нет, может быть все-таки не надо, ведь так отвратительно, выдержу ли я, еще вопрос», но вскоре она получает положительный ответ, потому что этому недотепе с помощью отчаянного жамканья удастся что-то там такое растормошить, и оно становится стоймя, поднимает голову и осматривается кругом, но видит лишь вонючую туалетную кабинку, видит облупившуюся зеленую масляную краску на стенках, в таких местах никакая любовь неуместна, нет места ей здесь и на этот раз. В Анну он влюблен уже давно, да толку от этого никакого.

Обещано — надо выполнять, и она садится на голосащего и всхлипывающего от восторга Герхарда, который просто поверить не может, что вот наконец-то сбылось, пришел долгожданный день, ура, ура, это событие он в подробностях распишет сверстникам. В воспоминании и без того все будет более великолепно, чем оно есть на самом деле. «О-о-о,

как здорово, так здорово, что я был бы готов выдерживать такое каждый день, но каждый день не дают, как жалко. Приходится ждать, когда станешь взрослым, но ведь я уже сейчас чувствую себя совсем взрослым. Анни, крошка! Мужчине это вообще нужно, а мне гораздо нужнее, чем любому другому, потому что я очень чувственный и сексуально развитой, я люблю тебя, люблю тебя, о-о-о, Анни, вот сейчас, сейчас! Пожалуйста, побудь еще, не уходи пока, лучше всего нам с тобой никогда не расставаться, я ведь в институт поступлю, в медицинский, недолго ждать осталось».

— Да заткни же ты пасть, чего разорался, услышат ведь! Ты потише не можешь, что ли?

— О-о-о, Анни, не прекращай, продолжай, ну пожалуйста, я сейчас кончу, это так мощно, никто и никогда не испытывал этого так сильно, как я, у других все гораздо слабее, я просто сильнее их всех. Ты такая красивая, у тебя фигура просто блеск, совсем тоненькая, и я теперь тоже начну худеть, вот увидишь, ради тебя одной так похудею, что мы будем отлично смотреться вместе, такого, как сейчас, ведь еще никогда и нигде не было, Анни, рыбка.

— Такое происходит миллион раз в день, дубина. Да брызгай же скорей, ты, идиот, а то фрау Крафтман догадается, куда мы вдвоем так надолго подевались.

— Кажется, все самое сокровенное сейчас хлынет из меня наружу, Анна, возлюбленная моя, ведь теперь ты моя возлюбленная, несомненно, я люблю тебя, люблю. Я всем сердцем твой.

— Спустишь ты наконец или нет, а не то я закругляюсь, хватит с меня.

В этот самый момент Герхард кончает, да еще как бурно, он визжит, как ошпаренная свинья. «Ну, если уж теперь нас никто не слышит, тогда я не знаю».

Взгляд Анны скользит по его искаженному лицу, она снова борется с приступом рвоты, с которым ей удастся справиться лишь в последний момент. «Н-да, вот было бы круто этого слизняка еще и облевать».

— Давай теперь не разлучаться с тобой никогда. Правда, Анна, ты теперь моя подружка, весь класс знает, только моя и ничья больше.

— Да иди ты в задницу! Ну, наконец-то, ты всегда так долго ковыряешься?

И еще добрых полчаса после того, как Анна покинула мужской туалет, Герхард клянчил у нее хоть немного любви и ласки, так и не получив ни того ни другого. Молодые люди порой очень сильно страдают, чего взрослые зачастую совершенно не замечают, а если и замечают, то без должного уважения к чужим страданиям.

Обстановочка у Софи — просто класс! Настоящий бидермайер, солидный и уютный. Никто из ее одноклассников в этом просто не разбирается, потому что все они — молодые люди сегодняшнего дня, для которых прошлое давно умерло. Прямой противоположностью всяким там «добротностям» и «уюту» являются желания Софи — стать жесткой деловой женщиной, для которой в счет идут не чувства, а исключительно цифры. Она хочет получить в Швейцарии специальное экономическое образование, а потом вести биржевые операции с акциями и валютой. Всему остальному, что к акциям и валюте отношения не имеет, путь к Софи будет наглухо закрыт. Тем самым она являет собой противоположность Райнеру, которому для писательской деятельности и для нее, его Софи, требуются еще и чувства. Дело все в том, что Софи поразила его в самое сердце. Нечто подобное случается порою между мужчиной и женщиной, один-единственный раз в жизни, и упустить этот случай ни в коем случае нельзя, иначе все обернется несчастьем. Райнер сознательно позволяет чувствам проникнуть в самую глубину души, но омерзение от всех этих чувств вновь просачивается наружу и воплощается в стихотворных строчках. Райнеру осточертели мысли о прошлом, о настоящем, о мироздании. Ему требуется лишь одно: чтобы его оставили в покое и дали закончить книгу, которую он собирается написать. Мужчина в нем говорит, что должен заполучить Софи, поэт же противоречит: оставайся одиноким волком, таким, как ты есть. Райнер окружает себя ледяным панцирем, давая Софи понять, что она одна в силах растопить эту броню.

Софи в теннисной блузке и юбочке, ей скоро пора на корт. Нижняя челюсть Райнера трется о верхнюю, размалывая что-то невидимое. Вздуваются, белея, желваки, обозначающие работу челюстей. Размалывают они не какую-то там ерунду, а кусок шоколадного бисквита, который подала на стол горничная. Так что мелют они не без повода, напротив, у них на то веские причины есть. Вечно Софи уходит из кадра еще до того, как нажмешь на спуск. Софи — блуждающий огонек, он не удержишь. Горничная вносит поднос со стаканами для виски. Всей их компашке напиток знаком по фильмам, в которых герои питаются одним виски. В новых фильмах теперь показывают распад социальных связей, распад семейных уз, которые распадаются, если с ними бережно не обращаться. Война все перемешала, и прежнюю систему классового устройства легко разрушить, можно даже пробиться в правящие верхи общества (понятие господствующего класса тогда еще не было придумано), если иметь голову на плечах. Новое немецкое кино демонстрирует, как гибко реагируют обычные люди на экономические перемены, а за их завесой упражняется в гибкости крупный капитал. Новое немецкое кино подражает Америке, победившей в войне. В Америке всегда нарушали любые границы, возьмите хоть Техас, где есть границы между пастбищными угодьями. Вздыхая, как айсберги, концерны объединяются в концерны крупные. Вверх летят столбы брызг, вода бурлит и пенится. Разводы стали темой для кино, потому что у людей теперь больше времени на частную жизнь, а вот накопление капитала — не тема, ведь совсем не обязательно показывать это кому попало.

Ханс, привыкший на работе всегда быть начеку и на подхвате, и сейчас первым торопливо вскакивает, чтобы освободить место на столе. Мать воспитала в нем совершенно неуместную учтивость и предупредительность по отношению к женщине, как было в прежние времена. Софи в последний момент удерживает его, и горничной приходится

справляться со всем в одиночку.

— Ханс, научись вести себя так, словно ее не существует.

— Но ведь коли человека видишь, значит, он существует?

— Ничего подобного.

Самый серьезный промах, наряду со всевозможными иными ошибками австрийских анархистов (если таковые вообще существовали), заключался в их ужасающем социальном положении, из которого они хотели выбраться любой ценой. Редкостная глупость: если хочешь, чтобы на всех всего было поровну, лучше сразу иди в коммунисты. А это скучно. Главная задача — разрушить все, что досталось от предыдущего поколения.

Райнер объявляет, что летом отправляется в поход на яхте, что брат его в Америке водит знакомство с множеством известных актеров и что мать завтра едет в Виллах на воды (давняя ее мечта). Никакого брата у него и в помине нет. Райнер вещает, что традиция немецкого сюрреализма была прервана войной. Он интересуется эстетическими проблемами и хочет играть роль заправилы. Эту роль, пожалуй, удастся обрести, если резко и жестко двинуть кулаком Софи прямо в губы, так, чтобы пошла кровь. Нет, не выйдет, она как раз открывает пачку печенья, его любимого, в шоколадной глазури. Райнер обжирается им до одурения. Люди стремятся во что бы то ни стало освободиться от бремени ручного труда. И тут все средства хороши. Некоторые ошибочно полагают, что они по природе вещей предназначены для труда нефизического. Райнер полагает, что так полагает Ханс. Дело в том, что Ханс время от времени заявляет, что природа имеет для него смысл лишь в виде досуга, который является положительной ценностью. Вот он и отправляется на эту самую природу.

— Тут я с тобой согласна, — говорит Софи, — и я все свободное время провожу на природе, и если я кому понадобится, он меня там всегда найдет.

— Я когда-нибудь сменю свою профессию, которая не доставляет удовлетворения, и выучусь на учителя физкультуры. Чувствуешь, какие у меня мускулы, Софи, они выпирают наружу лишь ради тебя одной, я их каждый день укрепляю. Жаль, что на лоне природы мне пока приходится держаться общепринятых и четко обозначенных дорожек и тропинок. Вот когда я стану отважным скалолазом, тогда смогу решиться пройти нехоженными тропами, чтобы сорвать для тебя эдельвейс.

Райнер от этой самой природы держится подальше, где бы та ему ни попадалась, на уроки физкультуры он почти не ходит, уклоняясь по болезни и по общей слабости организма. Только бы отец ничего не узнал, и мамуля строчит учителю оправдательные записки. Софи говорит, что природу, открытую для всеобщего доступа, тем больше засоряют бумажками и, увы, кое-чем похуже, чем чаще топчет эту природу среднестатистический человек, который просто не может не оставлять после себя нечистоты. Это новая проблема, которая наносит ущерб окружающей среде. Раньше людям было некогда причинять вред своей среде обитания, потому что они были слишком заняты причинением вреда самим себе и себе подобным, к примеру, на войне.

Райнер: — Послушай, Софи, я опять написал новое стихотворение, посвященное тебе.

Софи: — Пожалуй, это единственное, что выделяет тебя из толпы. Ты ведь не имеешь материальных средства, которые позволили бы тебе возвыситься над нею.

Райнер: — Ты меня сегодня просто в дерьме валяешь. Деньги, чушь какая, пошли они к черту. Голова человека независима от его каждодневной заботы о пропитании. Например, представители верхних слоев общества зачастую не располагают необходимыми

умственными способностями, в то время как люди из низов бывают иногда весьма интеллигентны. Здесь одно совершенно не зависит от другого.

Ханс считает, что судить надо по человеку. Нужно совершенствоваться и облагораживать свой характер. Ханс собирается было копнуть поглубже и объяснить ситуацию, потому что у него здесь возникли серьезные проблемы. В этот самый момент Софи посылает его чинить проигрыватель, который по непонятным причинам перестал фурычить. Послушать ее, электрический ток — штука простая. А ведь Хансу так хотелось сказать свое слово и одновременно извлечь из их разговора какую-то пользу. Как знать, что именно пригодится впоследствии, когда он станет учителем физкультуры! Ведь нужно задумываться и о будущем, а в электрической фирме ему ловить нечего. Райнер вещает о том, как прекрасно насилие, когда слышишь, как трещат чужие кости, как рвутся сухожилия, как лопаются туго натянутая кожа, и ты — причина всех этих событий. А заодно добавляет, что дома они скоро обновят всю обстановку, заменят старье стильной мебелью французского производства.

— Отстань! Ты вечно боишься прикоснуться к людям, ты ведь никому не можешь и руку протянуть по-человечески или открыто в глаза посмотреть, — говорит Софи, увертываясь от Райнера, который как раз сейчас хочет открыто протянуть руку, чтобы погладить или пощупать Софи. Она наловчилась увертываться от Райнера.

— Слушай, оставь меня в покое, что за привычка все время меня лапать? Люди вообще-то губами разговаривают, а не руками.

«Губами целуют, Софи, возлюбленная моя. Это сильнее меня».

Ханс тут же объявляет, что вот он, например, сильнее его, и намного.

— Давай на спор?

И эта дубина стоеросовая действительно вытягивает вперед руку и хочет помериться силой. Гимназист, спрятав за спину свои куриные лапки, смотрит на него с брезгливостью. «Жалко, — говорит взгляд Ханса, — помериться силами не придется, веселья бы было хоть отбавляй». Силенок Хансу не занимать, любому одолжить может. Ради чего целыми часами тренироваться? Совершенно впустую, если тебя не оценивают по достоинству.

Софи молчит. Анна злится.

Анна в задумчивости снимает ворсинку с Хансова пиджака. Это — попытка сближения, которая предпринимается в связи с тем, что Анна ощущает к Хансу влечение. Дело в том, что, когда Ханс чем-нибудь занят, он создает совсем иное отношение к окружающим предметам, чем ее брат или эта Софи. А интересно, какое ощущение возникнет, если самой прикоснуться к Хансу? Она тут же дотрагивается до него, и чувство обретает новое измерение, измерение напряженной деятельности тела.

Райнер говорит, что игра в теннис представляется ему дурацким занятием, а вот гольфом он, может быть, и занялся. Его дядя в Англии (никакого дяди, понятно, нет) играет в гольф. Ханс не знает, что такое гольф. Райнер говорит, ему этого и знать не нужно, потому что сам гольф ему ни к чему.

Софи считает, что чрезмерное преувеличение значения свободы воли и самооценности личности вновь возвращает нас к христианству.

Райнер еще не преодолел веру внутри себя и с большой охотой частенько вступает в диспуты со священнослужителями, и он говорит, что Софи не следует с пренебрежением отзываться о Боге, ведь он, Райнер, сам еще до конца не уверен, что Бога совсем не существует. Ребенком он всегда прислуживал во время богослужения, пока не стал подростком.

Затем Райнер объясняет, что такое свобода воли, которая дана человеку. Софи говорит, что интеллектуал эту самую свободу воли превозносит даже тогда, когда ему жрать больше нечего.

Райнер заявляет: — Я и есть тот интеллектуал, о котором ты ведешь речь. Софи говорит, что стремление к интеллектуальной профессии приводит в конечном счете к исповеданию идеологии интеллектуала. Ни с того, ни с сего непропорциональный перевес получает любая проблема, касающаяся освобождение от пут материального производства. Таким образом возникает искаженный мир, который отгораживается от всего остального.

Райнер объясняет Хансу, что непозволительно мыслить как писатель, если ты сам простой рабочий.

Ханс объясняет Райнеру, что ему-то хочется мыслить себя не писателем, а преподавателем физкультуры.

— Ханс, ты нашел неисправность в проигрывателе?

— Нет, и не искал, мне хочется участвовать в разговоре.

Райнер говорит, что ему сперва надо научиться слушать.

Софи постепенно переключает свое внимание на будущего преподавателя физкультуры и спрашивает его, что за конфирмационный костюмчик на нем надет: — Брюки тебе слишком коротки, рукава — то же самое, а куда, позвольте спросить, манжеты запропастились? Их явно и в заводе не было. Да и сама ткань, нет, о нет, ты в нем выглядишь совершенно невозможно, я этого не вынесу, это оскорбляет глаз.

Ханс, специально из-за Софи надевший свой воскресный костюм, который никогда не оскорблял ни его собственный глаз, ни глаз его матери (которая собственноручно уже дважды надставляла брюки), внутренне скукоживается до размеров горошины, словно кто-то вдруг выпустил из него весь воздух. Вот те раз, хотел покрасоваться перед Софи в приличном костюме, чтобы обставить этого Райнера, который задается своими джинсами, а теперь его же и высмеивают. Он торопливо прикрывает ладонями те места, где костюм слишком короток, да где ему взять столько ладоней?

— Это он после чистки сел, костюм, честное слово, до того он совсем по росту был, эти недотепы в химчистке ушами прохлопали, вот он и сел. На них, наверное, в суд подать можно, вконец костюм погубили, сволочи.

— Подожди-ка, примерь одежду моего брата. По размеру подходит, ну-ка, надень!

У Райнера чуть глаза из орбит не вылезают от зависти. Кашемировый джемпер с вырезом на груди и брюки из тончайшего сукна, чистая шерсть, на ярлычке внутри так и написано! Райнер уязвлен до мозга костей, что какому-то Хансу дарят такие красивые вещи, а ему нет. Но ведь это всего лишь причуда ветреной Софи, которая непостоянна, как блуждающий огонек, это у нее скоро пройдет, как только она остепенится. Она просто играет с Хансом, который ничего не замечает, ведь он еще новичок в искусстве любви.

Софи говорит, чтобы Ханс тут же, прямо перед ними, переоделся. Он не хочет, стесняется своего замызанного нижнего белья. Его вынуждают, а то не видать ему ни брюк, ни джемпера. Анна взглядом прожигает в Хансе дыру, Софи занялась лишь ей одной заметным пятнышком на теннисной юбочке. Райнер произносит в пустоту, которая его окружает, что надо действовать, действовать и еще раз действовать.

— Ответственность за последствия придется взять на себя. Разумеется, за действия предосудительные в общепринятом смысле, потому что нравственных категорий для нас не существует. И еще: когда мне исполнится восемнадцать, отец купит мне спортивный

автомобиль.

— Смешно, что ты вдруг захотел что-то сделать, ты ведь до сих пор только книжки почитывал да стихи сочинял, — язвит Софи. Она считает, что это не для него.

Райнер говорит, что Софи просто-напросто представить себе не может, какие запасы ярости и ненависти накопились у него внутри. Дело в том, что мышлению положены пределы, которых я давным-давно достиг, ведь я непрерывно мыслю в течение многих лет, а теперь я с этим покончил, все пределы нужно смести. Кстати, когда мне исполнится восемнадцать, отец оплатит мне поездку в Америку. Различие между де Садом и Батаем^[5] состоит в следующем: де Сад, брошенный в застенки, сидящий взаперти вместе с буйнопомешанными, срывает лепестки с прекраснейших роз над выгребной ямой. Двадцать семь лет он провел в тюрьме за свои идеи. Батай же, напротив, просиживает задницу в Национальной библиотеке. Де Сад, чье стремление к социальному и нравственному освобождению широко известно, подвергал сомнению фетиш поэзии, чтобы вынудить мышление сбросить с себя оковы. Воля же Батая к нравственному и социальному освобождению, наоборот, весьма и весьма сомнительна. Меня, к примеру, отличает от де Сада то, что я не моралист, в остальном же я — такой же, как он, и даже еще похлеще!

— Кто эти люди, о которых ты сейчас говорил? — спрашивает упакованный в кашемир Ханс, и ему растолковывают, кто это такие.

— Нападения, которые мы планируем совершать, должны обладать каркасом побудительных мотивов высшего порядка. Мотивов, превышающих нас, если можно так выразиться. Сейчас я объясню вам данную систему мотивации, — собирается продолжать Райнер.

— Не нужно ничего больше объяснять, умоляю тебя, еще одно объяснение, и я закричу, — говорит Софи.

— Я должен вам растолковать, почему мы собираемся это делать, иначе вы совершите это просто так, без всякой цели, а так не считается.

Ханс говорит, что хочет продвинуться вперед в смысле образования.

Анна объясняет, что для этого ему нужно больше читать.

По мнению Райнера, не читать ему нужно, а его, Райнера, слушать и ему подчиняться. Он здесь интеллектуал, а не Ханс. Если интеллектуал не в состоянии подчинить мир исповедуемой им идеологии, то есть если в действительности ему (как, скажем, Хансу) приходится выполнять грязную ручную работу лишь для того, чтобы прокормиться, то тогда он в какой-то момент принимается защищать ложный, чуждый ему мир вместо своего собственного.

— Защищай свой маленький мир, Ханс. Не пытайся стать больше, чем ты есть на деле, потому что существует человек, который тебя перерос, и этот человек — я.

Ханс расстроен, потому что Райнер категорически против его работы над самообразованием. Однако тот прав в том смысле, что, зная свое положение, страдаешь больше, чем не ведая о нем, ибо неведение милосердно.

Софи без всякого милосердия просит всю компанию убраться прочь, потому что на дороге слышен звук приближающегося спортивного автомобиля Шварценфельса, который увезет ее на теннисный матч, устроенный для узкого круга. Именно такое спортивное авто Райнер и получит на день рождения, один к одному.

— Дашь когда-нибудь поводить, чтобы мне потом, после дня рождения, в свой сесть и сразу поехать?

— Нет. И не рассчитывай.

Райнер пытается хотя бы потрогать Софи за те места, которые еще доступны, но она, струясь, словно песок, ускользает сквозь и без того не слишком смелые пальцы. Тончайший песок.

На остановке, с которой трамвай вновь увезет их в кварталы для людей поплоче, они продолжают обсуждать, как и на кого будут нападать. Конечно же, не в целях наживы, но единственно для того, чтобы обрести свободу раз и навсегда. На все времена. Ханс еще не очень убежден, нужна ли ему эта свобода. Лучше бы ему сходить на теннисный матч, чтобы подучиться кое-чему в смысле спорта. Он сокрушенно озирается вокруг, но все попусту, потому что спортивное авто гораздо быстрее любого трамвая, который натужно тащится от одной остановки к другой.

Стоп, не станем покидать трамвай так быстро, побудем здесь еще чуть-чуть. Он заполнен одноцветной массой, окинув которую поверхностным взглядом не поймешь даже, о чем идет речь, о скотине или все-таки о людях. Ничто не выделяется из этой однородной массы, разве что надетая на какую-то уродливую бабенку шляпка шокирующего цвета, который теперь в моде. Шляпка выделяется в отрицательном смысле.

— Покорные, как волы, — говорит Анна, — или как бараны, так же покорно они потрусил бы и на бойню, а там и ножик бы подержали, и место бы показали, куда его лучше воткнуть.

Мужчины — словно серое на сером. Трудовая деятельность избородила морщинами их не очень-то мужественные, скорее, бесполое лица. Нетрудно представить себе, чем они занимаются у себя дома с женами: вовсе ничем. Ничем приятным уж точно. И даже не сказать, чтобы чем-то особо неприятным, их и на это не хватает, заурядны слишком. Омерзительная, вызывающая тошноту работа, которую они выполняют, вытравив у одного волосы с головы, у другого вытянула зубы изо рта, третьему забила грязь под ногти. Ханс всем нутром отрешивается от них, а всю свою наружность прячет в самый темный уголок вагона, чтобы его не заметили и ни в коем случае не заподозрили в связи с этим стадом. По недоразумению, ясное дело.

А вот стоит на горизонте появиться смазливой девчонке без провожатого, он сразу же начинает задорно подмигивать ей. Это дело называется флиртом, занимаются им люди, заботами не обремененные.

Райнер и Анна, которых и так никто не заподозрил бы в принадлежности к серой массе, потому что на трудовой люд они никак не похожи, держатся свободно и независимо и стоят на открытой площадке, подставляя ветру свои неукротимые лица. Совсем скоро трамвай останется далеко позади, а они будут нестись в новеньком автомобиле.

Пропасть между Хансом и близнецами разверзлась еще шире, и это — прямо на глазах у посторонних.

Анна и Райнер были сейчас наверху, Ханс (пока что) внизу, но долго так продолжаться не будет.

Если не встречный ветер трогает Анну за грудь, то кто же тогда на такое отважился? Какой-то полноватый дядечка, по виду — конторский служащий, направляющийся к супруге и чадам, выказывает намерение полакомиться чем-то, что явно ему не по зубам — свеженькой и молоденькой девчушкой, которая ему приглянулась.

Мягкая рыхлая масса вдруг прижимается к Анне сзади, вот он, тот человек, который хочет воспользоваться случаем (а предоставляется таковой людям его склада и положения ой как нечасто!) и заполучить юное и еще неопытное создание, чтобы употребить его для своих надобностей. Судя по всему, родителей и иных облеченных родительскими правами лиц поблизости нет, так что можно и нужно будет обучить ее кое-чему, что же до тех двух молокососов, которые провожают цыпочку, то по ним сразу видно: они и вякнуть не посмеют против солидного человека, пользующегося авторитетом в обществе. Пользующийся же авторитетом в обществе человек и есть он сам, банковский служащий руководящего звена с видами на должность заведующего филиалом. И с незапятнанной репутацией, которой два этих сопляка повредить не смогут, руки короткие.

Если же они на свою беду поднимут шум, можно будет, пылая праведным гневом, от всего отпереться и сказать, что, дескать, какая неслыханная наглость!

А что там за острая палка трется об Аннины ягодицы? Или это не палка, а какая-то другая, совсем противная штука? Да, штука совсем неаппетитная, оттопыривающая у банковского клерка ширинку брюк. Получается небольшой остроконечный холмик, нечто плотски-ранимое и не такое твердое, как камень (твердой эта штука у него вообще никогда не бывает, разве что применить усилие, подергав за нее часа три). И этот самый человек как раз вжимался в нее, выклянчивая толику любви и понимания, в чем жена ему всегда отказывала, пуская в ход самые идиотские отговорки. Нетронутая девичья попка — ведь это полный восторг. «Бред какой-то», — делает Анна едва заметный знак своим попутчикам.

Туша клерка наваливается на нее. Осмелев, он вдавливаясь еще глубже. Толпа прибывает, и чем ближе трамвай к городским угольям, тем сильнее давка, способствующая контактам, в которые вступают стар и млад. Общаются верх и низ, при этом низ — особенно интенсивно. Женщине подобает располагаться внизу, лежа, однако в данном случае она не лежит, а стоит спереди.

К ней ощупью пробирается рука, которую явно никто не звал в гости. Она крадется, делая вид, что ее законное место — у Анны на груди. Анна подала парням знак, что вот наконец приблизился тот самый момент, которого мы ждали. Ханс соображает туго, он занят какой-то блондиночкой (алые розы, алые губки, алое вино), зато Райнер врывается мгновенно.

Анна как по команде спускает с цепи улыбку, обнажаются подпиленные для пущей невинности клыки хищного зверя, губы томно размыкаются, откуда ни возмись выныривает влажный язычок, лучше всего подпустить инфантильности, косить под недоразвитую, чтобы незнакомые люди подумали, что она доверчива и легкомысленна. Престарелый плейбой, принимающий желаемое за действительное, делает двусмысленный скабресный жест указательным пальцем, однозначно давая Анне понять: «Вот куда мне хотелось бы попасть, как бы это получше устроить, так глупо, что мы стиснуты в общественном транспорте, будто сардины в банке, гораздо лучше лежать в большой-большой кровати, там бы ты узнала, что для божественного упоения не нужно никакого седьмого неба, бог во мне, он распирает меня изнутри, я бы вколотил его в тебя так, что он бы у тебя с другого конца наружу вылез, длины ему не занимать, и потенции у меня хоть отбавляй, такой я сильный, таким остался с самой молодости, которую, слава богу, смог сохранить, хотя ведь, разумеется, я совсем не старик, скорее, зрелый мужчина, во всяком случае, достаточно взрослый, чтобы по достоинству оценить семнадцатилетнюю девственницу, супруга-то уж, что и говорить, рыхловата стала, да и вся надстройка, извольте видеть, подрасплылась. Разумеется, выбор у меня есть: самого разного возраста и роста, масти, форм и размеров. Так размышляет мужчина, женщина так не думает, потому что ее половая жизнь протекает пассивно. Быть одиноким бойцом — это мне на роду написано, такое суждено не каждому мужчине. Женщины сами предлагают себя на пробу, гораздо больше, чем я вообще могу потребить. Чувствуешь, какой он твердый, прямо как камень, а яйца вообще что-то особенное, упругие, туго налитые, вот, пощупай, неповторимый шанс, крошка, которого ты так долго дожидалась».

Рука, привыкшая пересчитывать купюры, хватая девчонку за ручонку (поскольку до сей поры она не проявляла отпора) и тянет ее к самому святому, что есть у банковского служащего, руке которого не нужно мараться, выполняя свою работу. Заметны в ней

уточенная сноровка и проворность. Уж ей-то известно, что нужно и как: считать чужие деньги, пока на улице светло, а потом под прикрытием полумрака направлять ладонь незнакомой девицы к средоточию всякой жизнедеятельности. Вот оно уже, средоточие, правильно, это называется пенис. Добро пожаловать! Он вздымается из дряблого и тучного тела, словно монумент в честь чего-то великого. «Ну, что скажешь, разве он не прекрасен?»

«Начали», — делает Анна знак парням и слегка, для видимости, почесывает по набитому салом брючному сукну, но не находит его, ах, где же он, куда он подевался, росточком, что ли, не вышел, а? Ну, если вот это не он, то я прямо и не знаю, стоп, вот он, наверняка, не будет же этот тип таскать с собой в кармане складной ножик, хотя почему бы и нет, вполне, яблочко почистить, колбаски копченой порезать. Нет, не ножик, это и есть конец, без сомнения, потому что нож по-другому выглядит. Вот он, ура, разыскали.

Ханс все еще никак в толк не возьмет, а вот Райнер сразу же уловил сигнал. Крылышком мотылька впорхнула его рука в карман отвлекаемой жертвы и выудила портмоне, которое находилось там, где и положено, — в левом внутреннем кармане пиджака. Мужик бы не прочухал сейчас, даже если ему туда бомбу засунуть, ухом бы не повел. На ощупь денжат в бумажнике немного, но и то удача, на две-три новые книги хватит.

«Пожалуйста, сожми слегка, а теперь чуть-чуть подвигай, сожми еще, погладь, будь понежнее, ах, как хорошо, вот спасибо, дома жена мне уже давно так не делает, совсем никак, считает, что я и без того должен быть ей благодарен». — Могу ли я рассчитывать на свидание, очаровательная барышня? — «Чуть повыше, совсем немножко, да, вот так. Как здорово у тебя получается». — А может быть, найдешь время завтра, скажем, после работы? Какая жалость.

«Только бы не подошел кондуктор и не сказал: пожалуйста, кто еще без билета. Тогда отпустить придется. А ведь так хорошо: самому подержаться и чтобы за тебя подержались. А-а... нет, кончать мне нельзя, потому что моя проверяет нижнее белье на предмет таких вот следов, когда смотрит, не засрано ли оно и нет ли дырок, которые следует заштопать. А я в это время ее дырку штопаю, ха-ха-ха!»

А вот и кондуктор идет. Близнецам впопыхах и в голову не пришло, что этот засранец не озаботился проездным билетом заранее и ему придется лезть за кошельком. Слава богу, начинается поворот, и трамвай сбавляет скорость. И пока эта штучка с ручкой с явным неудовольствием лезет в карман за портмоне, близнецы гигантским прыжком соскакивают с площадки прицепного вагона, Ханс, совсем сбитый с толку, едва не отстав, следует за ними. Чуть не покотившись кубарем, они с трудом удерживают равновесие, и пока там, внутри, это чудовище в отчаянии роется в карманах в поисках кошелька, ищет свои денежки, которые должны были накудесить подарок ко дню рождения какого-нибудь блевотного родственника, — «Ума не приложу, где же я мог его оставить, Боже ты мой!» (и лишь теперь забрезжило потихоньку, мелькнули проблески зари утренней!), — юные правонарушители, подобно гончим псам, уносятся в темноту незнакомых районов. И уже скоро их трубное дыхание теряется среди жилых домов, где не сияют витринами магазины и где как раз в эту пору сервируются разные ужины и заглатываются газетные новости.

Светлые, весьма подвижные силуэты молодых людей тоже теряются среди серых бетонных фасадов. Как светлые прожилки стеклянного шарика, вращающегося с чудовищной скоростью. Как круги, разбегающиеся по воде, пока идет ко дну камень.

Прилежно щелкает пишущая машинка, и на конверте возникают черные буквы. Мать Ханса создает эти буквы. Она не нашла работы получше, экономическое чудо обошло ее стороной. И сын, не обращая на нее внимания, обходит ее стороной, швыряя прямо на пол предметы своей одежды. «Тебе бы надо почувствовать отцовскую руку, Ханс». «Какое счастье, что я чувствую только твою руку, которую вскоре оттолкну ради руки той женщины, которую люблю. Ради Софи».

«У меня такое впечатление, что ты хочешь оттолкнуть от себя множество рук, которые тянутся к тебе из мрака экономических отношений, оттолкнуть руки твоих братьев и сестер, принадлежащих к твоему классу и навсегда остающихся в нем».

«Ты права, мне хочется как можно скорее выкарабкаться из этой вязкой жижи, которая на мне налипла. В Венском рабочем физкультурном союзе я стараюсь заниматься самыми разными видами спорта, чтобы иметь о них представление и потом выбрать, какой станет моей профессией. Руками я делать больше ничего не намерен, кроме как теннисной ракеткой выполнять удары, которым Софи, моя девушка, вскоре меня обучит».

Мать вымотана как дохлая собака, которую осталось только закопать. Ее однообразное занятие никак нельзя назвать профессией, скорее это деятельность, которая почти ничего не приносит. К тому же она постоянно увещевает сына, хотя и это тоже не приносит никаких результатов. Пусть он, как было прежде, ходит в молодежную ячейку партии и занимается расклейкой плакатов и агитационной деятельностью. Ханс только машет рукой. «Я один, самостоятельно нашел свой путь, пускай другие сделают то же самое».

В любую ячейку он либо вольется как вожак, либо зачем она ему вообще нужна. В каждой компании надо первым делом разобраться с девицами, рассортировать их, а в этой молодежной ячейке и девушек-то почти нет, потому что женщины интересуются вовсе не политикой, политика — грязное дело, а модой, мужчинами и опрятностью. Сообразуясь с этим, ему как мужчине надо бывать где-то, веселиться, заигрывать с девушками, танцевать. Наслаждаться своей молодостью, и лучше всего — вместе с Софи. Анной тоже пренебрегать все-таки не следует, хотя она и костлявая. Ханс же спортивен, подтянут, и вообще у него все схвачено.

Мать погружается в черную воронку безмолвия, на плавно изогнутой глади стенок которой высвечивается порою лицо ее убитого мужа: «Будь мужественна, я умру, если нужно умереть, за социал-демократию, за рабочее дело, что одно и то же, социал-демократия и рабочее дело, когда-нибудь мне за это воздастся. Товарищи будут помнить обо мне, и я буду жить в нашем сыне. Так что будь совершенно спокойна. В каком-то смысле я даже умру за всю Австрию, самой любимой частицей которой являешься для меня ты и за которой (кроме нас да еще коммунистов) никто не признает права на существование». Как в замедленной съемке, она видит огромные глыбы, извлеченные из каменоломен Маутхаузена, видит, как гибнут под ними истощенные узники. Даже после сигнала к окончанию работ их заставляли волочить вниз по мосткам глыбы скальной породы. И материнские недра Маутхаузена не противятся этому, ведь любая мать покорно вытерпит все, все снесет. И хотя она, мать Ханса, всю жизнь боролась, теперь у нее ничего не осталось, кроме высоченных стопок бумаги. Они расплываются перед глазами.

— А еще я сегодня пойду в джаз-клуб, — радостно трубит Ханс. Он облачается в

стильное одеяние, последний крик моды поздних пятидесятых. Такая одежда — и защита, и маскировка одновременно. В те времена мода порывала со всеми традициями, да и вообще в молодости надо порвать со всем и вся, чтобы наконец-то освободиться от любого принуждения как в личной жизни, так и на работе.

— Труд не есть принуждение, человек открывает себя в своей деятельности, — шепчет мама. — Однако подлинное открытие происходит тогда, когда ни один человек не является рабом другого.

— И я давным-давно уже не раб, а индивидуальность, которая подчиняет своей воле другие индивидуальности, а именно женщин. Я несу ответственность лишь перед собой одним, и женщина, которую я люблю, тоже несет ответственность лишь передо мной одним.

Слышать такое матушке Зепп совсем не по душе. Сын отказывается восстать против своих эксплуататоров, и у нее перед глазами встает февраль тридцать четвертого, когда она была совсем еще ребенком. Она видела, как множество товарищей, пытавшихся улучшить свои жизненные условия, лежат на улицах мертвые и окровавленные. Фашизм стрелял в них из гаубиц и тяжелой артиллерии, которыми он был вооружен, а у рычагов стояли такие же, как и их жертвы, сыновья рабочих, которые находились у фашизма на вооружении. Обе волны потомственных обездоленных (в грязи они пытались найти свою долю, однако не нашли ее, потому что ее явно присвоили другие), схлестнувшись, обрушились друг на друга. Одни — и среди них было много безработных, лишенных пособия, которых вынудили записаться в Хаймвер^[6] находились на полном снабжении и были вооружены государством. Регулярная армия, артиллерия, бронепоезда. Другая волна: пулеметы, бессильные против орудий, таилась в колючих гнездах слабых птиц за окнами муниципальных многоэтажек и рабочих общежитий. В пулеметных гнездах. Занавес истории трескается, расходясь, будто корка перезрелого арбуза, он вечно скроен из одного и того же материала: там — бесправные, здесь — лишенные прав. Творящие же правосудие держатся подальше от пальбы и управляют безработицей и путями народных средств, которые теряются во мраке, чтобы вскоре вновь вывести их на сцену в образе мировой войны. Они поднимают и опускают сотканный из людей занавес, дергая за веревочки спекуляции, торговли оружием, замораживания зарплаты и вздувания цен, инфляции, расизма, призывов к войне.

Хансу ничего лучшего в голову не пришло, кроме как намазать для пущего блеска волосы брильянтином, от чего у мамы столько самой кошмарной работы прибавляется: отчищать валики дивана, сальные пятна, которые никак не удалить и не вывести, как и любой изъян в репутации. Он хочет более красивой внешностью добиться более красивой жизни. И сногсшибательной девушки, которая тоже собирает пластинки Элвиса, как и он сам. Для этого требуются определенные инвестиции — один из основных догматов экономической науки, которая Хансу неизвестна, ведь он уверен, что прихорашивается просто так, для развлечения.

12 февраля 1934 года мать Ханса была еще совсем маленькой и, уцепившись за руку своей матери, бабки Ханса, а другой рукой держа младшую сестру, улепетывала со всех ног. В ушах пронзительно звучат слова: «Дети, бегите скорей, спасайтесь, речь идет о нашей драгоценной жизни, никак не менее. Теперь, после того как они отобрали у нас все материальные блага, под вопросом само наше существование. Речь идет о нашей жизни, а больше у нас ничего не осталось, слышите?!» На кирпичной стене дома напротив — огромное желтое солнце, реклама стирального порошка, солнце «Радиона», единственное сияющее солнце в тот пасмурный день. Оно немедленно запечатлевается в памяти девочки.

Других солнц ей особо-то видеть не довелось. Жилой комплекс «Гёте»^[7]. Его следовало усмирить силами исполнительной власти, как выразилась сама исполнительная власть. Активно способствовать успеху этого начинания были призваны груды смиренных мертвых тел, своим смирением подавая пример пока еще беспокойным элементам предвоенного времени. Мертвые спят крепким сном. Снаряд попал прямо во второй подъезд, причинив урон, от вида которого детей охватывает ужас, и оба ребенка, Эмми и ее младшая сестричка (позднее ее убило во время бомбежки, убило совсем ребенком, хотя к тому времени она была и постарше), от страха мочатся в штанишки. В автобусах прибыла жандармерия, федеральный канцлер Дольфус с петушиным хвостом на шляпе осмотрел последствия происшедшего и в общем и целом выразил чувство глубокого удовлетворения. Петушиные перья — на шляпах хаймверовцев, бойцов из отрядов обороны отечества, которые столь многих соотечественников оборонили от продолжения недостойной жизни. Трупы с простреленными головами, прикрытые газетами, и промозглый ветер, который здесь именуют февральским, тербит шелестящие листы, на которых крупно набрано: «Попытка переворота». Из-под газетных листов — удивленные взгляды покойников с исхудалыми лицами: «кто сотворил со мной такое и почему, ведь я тоже один из них, сын такого же бедняка, как и тот, кто меня убил», и запекшиеся ниточки крови из уголка губ и из обеих ушей. История соткана из этих ниточек, а не из золотых нитей на мантиях императоров австрийских и королей Венгрии. «Что это, сплю я, что ли, надо же именно со мной случиться такому, быть расстрелянным той рукой, которая выглядит точно так же, как и моя, исковерканная тяжелой работой. Ей лучше бы держать бурав или напильник и пожинать за это плату вместо того, чтобы скашивать меня косой. Он ведь и не понял, что и сам он, срезавший меня, как ветку дерева, давно уже скошен и убран людьми, которых он никогда и в глаза не видел, потому что те все свое время проводят на Ривьере или в охотничьих домиках на высокогорье. Теперь понятно, что со мной стряслось, я просто мертв и с семьей своей никогда уже больше не свижусь. А семье скверно еще придется, если дело так пойдет и никто этого не остановит. И со всеобщей забастовкой тоже не продержались, боже ты мой. И слабо утешает то, что убийцу моего в сороковом году убьют на фронте, и тогда он будет такой же мертвый, как и я теперь».

Так, а теперь очередь полуботинок с острыми-преострыми носами, они так блестят, что в них, если захочешь, можно увидеть свое отражение, и Ханс явно этого хочет. Зеркально сверкающими туфлями он, сам того совершенно не замечая, злит мать до колик в животе, в том самом, из которого он когда-то выкарабкался на свет. Туфли невероятно стильные, такие теперь все носят, хотя они и очень неудобные.

— Красота требует жертв, — острит Ханс, обращаясь к матери. — Тем выше потом награда, не то что мое нынешнее вознаграждение за труд.

— Знаешь, Ханс, когда мы, забаррикадировавшиеся в нашем рабочем доме, вынуждены были сдать, дворник в знак капитуляции вывесил в окне изношенные белые подштанники. Впрочем, знак этот мало кому помог. Белую простыню жалко было вывесить, они же по нам продолжали стрелять. Целая простыня стоила тогда дорого. Пусть лучше подштанники погибают, чем хорошая простыня. И пока наши сдавались, многих из них еще застрелили, тому есть достоверные свидетельства.

Пока красота Ханса приносила себя в жертву в жутко тесных полуботинках, он схватил вдруг пачку уже надписанных конвертов и за спиной своей трудолюбивой матери сунул в кухонную плиту. Он не знает точно, зачем он это сейчас делает, но сделать это ему

обязательно нужно, голос внутри него, принадлежащий Райнеру, велит ему. Голос Райнера звучит в его ушах, образ Софи заключен в его сердце. Они руководят им, ведут его по жизни. Наконец-то он совершает нечто бессмысленное, чему его с большим трудом научили. Бессмысленно данное действие потому, что мать ничего не замечает, она заметит все потом, но не подумает на него, а обвинит во всем себя. Ханс тут же выходит из дому. Прекрасный и теплый вечер. Чувствуешь себя просто великолепно.

После того как отец Ханса попал в места, в которых труд делал его свободным человеком^[8], жизнь его завершилась очень скоро. Многие трудятся всю свою жизнь, но так все никак и не освободятся. Стать отцом отец Ханса еще успел, но времени, чтобы порадоваться, оставалось ему уже немного. Впрочем, каждому человеку, все равно, богатому ли, бедному, собственно говоря, даны лишь мимолетные мгновения, когда он ощущает себя счастливым. Мгновения короткие, но насыщенные. Насытившись страданиями, отец Ханса умирает под обломком скалы чисто австрийского происхождения.

По крайней мере, отец избавился от серой посредственности будней, так считает его сын, которому постоянно угрожает опасность утонуть в посредственности, но он постарается сделать все возможное, чтобы избежать этого. Короткая насыщенная жизнь, а потом, может быть, короткая насыщенная смерть. «Я хочу сильных ощущений, пусть даже и непродолжительных. Молодым бываешь только один раз, а я ведь еще молодой. Мать говорит, что отец вообще не увидел молодости, у него времени на это не было. Нет, время на молодость должно быть, обязательно. А он того не усек, что ж поделаешь. В этом его ошибка».

Ханс прав, потому что теперь наконец-то настало новое время, слава богу, оно лучше, чем прежние времена, оно принадлежит молодым, и молодые не выпустят его из своих рук.

— Кто это с тобой? — интересуется мать Анны. — Твой одноклассник? Пусть радуется, что и он ходит в школу, которая дает аттестат зрелости и право на высшее образование, потому что школьные годы — самая чудесная пора, и понимаешь это много лет спустя, когда чудесная пора остается, увы, позади. Много лет спустя настает пора обрести профессию, тебе, дорогая, — профессию академическую, а жизнь — вещь серьезная, и с этой серьезностью еще предстоит познакомиться.

Ханс объясняет, что он, к сожалению, не принадлежит к кругу, наслаждающемуся этой самой чудесной порой, он в гимназии не учится.

— Мне бы очень хотелось попасть в этот круг, и этого стремления достаточно, ведь главное — было бы желание. Была бы воля, а пути найдутся. Мой путь, к примеру, приведет к должности преподавателя физкультуры, что тоже требует усилий, но иных, чем от монтера по силовым установкам, на которого я выучился в «Элин-Юнион». Как раз теперь, в этот самый момент, Софи, моя девушка, внутренне готова к тому, чтобы обучить меня помимо тех видов спорта, которыми я уже владею, таких как баскетбол, бег и прыжки (все это — в Венском рабочем спортклубе), еще и другим, таким как теннис и верховая езда. Это самое прекрасное, что только есть на свете.

Мать Анны из всего сказанного поняла лишь то, что Ханс — простой работяга, а такой круг общения она не одобряет.

— Так вы, значит, не в гимназии. Одного хотения недостаточно. Хотеть мало, нужно добиваться. И просто добиваться — тоже недостаточно. Тут важно — чего добиваться. Лучше всего уже все иметь. Ступайте прочь и никогда больше здесь не появляйтесь, вы неподходящее общество для обоих моих детей.

Ханс говорит, что он продолжит свое образование по собственной инициативе, энергия для этого у него есть.

— Не для школы мы учимся, а для жизни, и кто как следует выучился, тот и живет по-настоящему.

— Так я-то ведь и хочу учиться для жизни, школа мне до лампочки, в конце концов. Ведь и в школе можно потерпеть неудачу и найти трагический конец. Поражения подстерегают и в школе, и в жизни.

Анна выслушивает все это на удивление терпеливо для своего характера. Она прикидывает, каким образом потом, в своей комнате, где им никто не помешает, снискать симпатию Ханса, продемонстрировав различные интеллектуальные способности. Свою игру на фортепьяно надо тоже умело бросить в бой как тяжелую артиллерию. Ханс начинает ценить искусство, еще не зная, что искусство может значить. Ясно как божий день, что они лягут вместе в постель, Софи ведь такого ему не позволяет. А она, Анна, позволит. Для начала переведет ему порнографический отрывок из Батая, а когда у него слюнки потекут, то там уже Бог да либидо в помощь! Она станет принимать самые разные позы, известные ей из новых французских фильмов, а ему и невдомек будет, он таких фильмов не смотрит. Только дребедень всякую. Она притворится суровой, но проявит достаточно мягкости, чтобы он не испугался. Она смотрит на твердые мускулы Ханса, скрытые пуловером. Он играет мускулами. В семейном окружении Анны настоящих бицепсов не встретишь, они растут не здесь, а в других местах. Ей нравится мысль о том, что Ханс, стоит его раздеть, станет одним

лишь телом и больше ничем. Это новое ощущение, не такое, как обычно, когда еще и мозг присутствует и все время суется некстати. Уже по тому, как Ханс берется за предметы, видно, что руки его совершенно точно знают, как с ними обращаться. В ремесле он специалист. И с молотком, гвоздями или напильником он всегда справится; он вращается в совершенно иных кругах, Анна чувствует, что это ее привлекает. Пока молода, нужно отдаваться новым впечатлениям, приобретать опыт, узнавать, что там, за привычным горизонтом, ведь свое окружение и так хорошо известно.

Мамочка говорит, что сейчас припомнит, как это будет по-латыни, что учимся мы для жизни, а не для школы. У нее целый резервуар пословиц и всяких крылатых выражений. Он ни слова не поймет, будет совершенно раздавлен и унижен и впредь оставит ее дочь в покое. В ее семье образование имеет давнюю традицию и ни в коем случае не основывается на какой-то там собственной инициативе, слишком оно ценно. Да и вообще самое драгоценное на свете — то, чему научился. Собственность, которой обладаешь, является фактором риска, и лучше бы его совсем исключить. И кстати, она не одобряет, если оба они без присмотра пройдут в девичью комнату Анны, которую мамочка обставляла сама, собственноручно. Украсила занавесочками в цветочек, которые Анну просто бесят. В девичьей комнате женщине делать нечего, там место лишь девушке, недаром комната так зовется. Собственно, Анна ведь еще совсем ребенок. Ханс готов беспрекословно подчиниться, потому что мать Анны внушает ему уважение, но Анна заявляет, что пусть та катится куда подальше, в задницу. Какое ей дело, кто к Анне ходит. Чтобы загладить грубость Анны, Ханс говорит, что в следующий раз даже цветы принесет, большой букет. Мамаша тут же вставляет, что цветы о многом могут поведать. Этот работяга хотя бы вежлив. Есть настоящий язык цветов, который мать в свое время изучила. Розы обозначают любовь, при условии что они красные, а гвоздики символизируют социалистическую партию, при условии что они тоже красные. А потом, есть еще цветы, которые могут выражать постоянство, верность, доверие и тому подобную чепуху, их никак нельзя по ошибке перепутать, иначе это будет означать катастрофу для любимого человека. Да и в самом общем смысле существует язык природы, который можно услышать только в полной тишине. Он либо скрыт в глубине души человека, либо нет, и если он у человека в душе есть, то человек может его расслышать. Это так же важно, как и сухое книжное знание, хотя оно является весьма важной предпосылкой. Следует обращать внимание и на попадающиеся по пути коренья необычной формы, камни, переплетения сучьев, и сознательно ими пренебрегать нельзя.

— Я обязательно стану уделять больше внимания языку природы, фрау Витковски.

Анна: — Ну пойдем же, или ты собрался пустить на этом самом месте корни необычной формы? Нет? То-то же. Вход здесь.

Мать грозит сказать отцу. Это вызывает у Анны лишь улыбку, отнюдь не веселую. Она говорит, что папе больше всего хотелось бы проделать со мной то же самое, только он боится.

Мать успокаивает себя, пытаясь внушить, что они вдвоем будут только пластинки слушать, курить тайком и тайком же говорить об искусстве. Да разве поговоришь об искусстве с таким вот типом?

Хансу не по себе, он нервничает, ведь он впервые оказался с девушкой наедине, а тут уж не осрамиться гораздо труднее, чем в компании приятелей.

Анна с удовлетворением рассматривает в зеркале свое суровое лицо и думает, что теперь, когда дело становится серьезным, лучше быть ласковой, мягкой и блондинистой,

вроде Софи, сухая и сдержанная манера требует напряжения и утомляет. Лучше всего прильнуть к нему нежно, но делать так нельзя ни в коем случае, а то они все сразу думают, что могут позволить все что угодно. Ее конек и сильная сторона — как раз суровая жесткость, именно такая, как у Джин Себерг. Она ужасно хочет Ханса и пытается представить, какой он из себя там, каким он сейчас пред ней предстанет. В трусах она его уже видела на тренировках в спортклубе и на футбольном поле. А без них он, наверное, еще лучше. Он — как дикий зверь, его разговорами об изящной словесности не проймешь, и это ее возбуждает. Как бы образованна она ни была, в данный момент она не что иное, как тело, придется снизойти до уровня всех остальных тел, она станет лишь одной из многих, а не самой лучшей, вообще-то везде и всюду она лучше других, потому что обладает интеллектом. А он-то в данном случае и не в счет, в чем и заключается для Анны трагизм положения: без головы, которую женщина обязана потерять в данной ситуации, чувствуешь себя совершенно голой. Анна отправляет свою голову на хранение в книжный шкаф и подвергает осмотру Ханса, который выглядит так, будто уверен, что он дикий и хищный, прекрасно сложенный зверь, например, настоящий волк. Он что есть силы стискивает челюсти (старый, испытанный трюк), что должно создать впечатление страсти, возбуждения и в то же время — одиночества, такое впечатление каждый раз производят на зрителя Джон Уэйн и Брайан Кейт, Ричард Уидмарк и Генри Фонда. Пользуются они такими же приемами, только у них это лучше получается, ясное дело. Эмаль на зубах Ханса скрежещет, протестуя против грубого обращения, слишком часто она подвергается такой вот непосильной нагрузке. Надо, чтобы желваки перекатывались под кожей, он репетировал дома, перед зеркалом, на девушек такой вид производит должное впечатление. Они млеют. Правда, даже после этого у тебя все равно духу не хватает, а у девчонки тем более.

Анна точно помнит, из какого кино он это позаимствовал. Ей мерещатся прерия, мустанги, бревенчатые хижины, кактусы, одинокие фигуры вооруженных мужчин. Головой она все понимает, но ее желание ничуть не убавляется.

Странно это. Кажется, что видишь все насквозь, но все-таки так и подмывает посмотреть, не кроется ли за этим еще что-нибудь. И даже если нет ничегошеньки, кроме сухожилий, мускулов и кожи, то и этого уже вполне достаточно. Не надо никакой болтовни. Мозги у нее имеются, но о них-то она сейчас и хочет целиком забыть и стать лишь телом для Ханса, которому вообще не позволено быть чем-либо иным, кроме как телом.

Анна нашла у Батая нужный отрывок и переводит Хансу, как мать Симоны вдруг заходит в больничную палату. Он спускает с себя брюки, потому что пришла мать и принесла яйца всмятку. В книге так прямо и написано. Нет, совсем без книжек ей все-таки никак не обойтись. Когда он обнажается (так в книге), то происходит это от желания, чтобы мать ушла, к тому же ему доставляет радость преступать границы. Здесь, в комнате Анны, по счастью, никакой матери нет в помине.

— Точь-в-точь, как и мы с тобой, — продолжает Анна. Мы сейчас же, немедленно перейдем все границы, это восхитительное чувство, в книге так и написано. Просто так, только для того, чтобы это сделать. Без цели, не желая ничего этим добиться.

Ханс ничего особенного добиваться и не хочет, кроме как просто лечь сейчас с Анной. Анной овладевает такое чувство, будто разрушились все границы, и чувство это головное, она о нем столько раз читала, и Анна следует ему, чтобы испытать то, что описывают в книгах. Без участия головы Анна и не знала бы теперь, что она сейчас есть лишь тело, и ничего более.

Резкими движениями дрожащих от нетерпения рук Анна расстегивает пуговицы на рубашке Ханса, она ведь читала, что руки должны дрожать от нетерпения. Дрожь охватывает и Ханса, но причина тут другая — белье на нем не слишком чистое, однако от возбуждения на это внимания не обращают.

— Только не подумай, что я в тебя влюбился, — торопится он заметить.

— Я тебя тоже не люблю, ни в коем случае, любовь для этого и не требуется, — говорит Анна.

— Вот новость, в первый раз такое слышу.

— Любовь поработает, потому что постоянно приходится думать, где сейчас находится твой избранник, почему он не с тобой рядом. Человек лишается независимости, это ужасно.

Ханс раздумывает, как лучше всего приступить к делу, и наконец приступает. Как давешний волк, он набрасывается на Анну и впивается в ее губы. Он всю работу зубами и языком. Получилось не слишком умело, но, как-никак, достаточно необузданно, для настоящего мужчины подходяще. Анна жадно вцепляется в него, тискает, треплет всюду, пуская в ход зубы и ногти. Жалко, они не очень длинные, из-за фортепьяно их приходится коротко подстригать, недостаток, что поделаешь. Зато все идет в удвоенном темпе. Боли маловато, так наверстаем за счет темпа. А боль должно присутствовать, потому что по-настоящему здорово только извращение, а не то, чем все обычно занимаются. Хансу больно от того, как она этим занимается, и он страдальчески кривит лицо, сейчас же вспомнив, что и Гарри Купер часто кривит лицо будто под пыткой, когда играет любовную сцену. Нужно выглядеть так, будто это против твоей воли, а потом все же уложить добычу навзничь, потому что чувство одолело. Чувство должно захлестнуть тебя, оно и захлестывает без промедления, как багровая волна, или как ослепляющая вспышка, или как мрак забытья.

«Что же дальше делать-то, — спрашивает себя Ханс, — надо, чтобы действие все время развивалось, никакого холостого хода, все должно продолжаться непрерывно, не останавливаясь, а не то совсем с такта собьешься. Сейчас я должен сорвать с нее одежду, если она будет говорить "нет", внимания обращать нельзя». Ничего подобного, Анна вовсе не принимается умолять, что, дескать, пожалуйста, не надо, наоборот, она сама сбрасывает с себя все, потому что Ханс действует неуклюже.

«И для этого-то я всего Сартра прочла в свободное от уроков время, все "Бытие" и все "Ничто"? — проносится в ее голове, пока она стягивает с себя трусики. — А теперь куда мне девать все это? На моем месте сейчас вполне могла бы оказаться и другая, которая вообще ничегошеньки никогда не читала, кроме журнала "Браво". Да иного здесь и не требуется». Анна внутренне все понимает, и это отличает ее от миллионов других девушек, но снаружи, к сожалению, Ханс видит лишь точь-в-точь такую же девушку, как и миллион других. И обращается с ней соответственным образом. Ведь она, как и все другие, состоит из кожи, мяса, жил, мышц и костей. Анну ужасает мысль, что здесь вместо нее могла бы лежать и любая другая (и посимпатичнее, чем она). Внутренне она все понимает и оценивает все, что происходит, а вот другие просто летят на это, как мухи на мед, и ей от этого худо.

— О Ханс, Ханс, о-о-о, — вырывается у нее против воли, Ханс этот возглас воспринимает как должное. Именно так его и зовут. Тут он весь. Собственной персоной. Пора ей раздвинуть ножки.

«Может, она хоть тогда наконец-то попридержит язык, всегда болтает без умолку, что она, что ее братец». Ханс уверен, что их треп начинает потихоньку раздражать и Софи. Ей больше нравится молчаливый Ханс, одинокий волк, чем какой-то там трепач Райнер,

которому постоянно нужно окружение, возносящее ему хвалу.

— Иди ко мне, иди ко мне, ну иди же, иди, — шепчет Анна, как будто он и так всюду не старается, чтобы войти. Но у него всякий раз опадает, это все от волнения перед знаменательным событием, у него это первый раз, и, при известных обстоятельствах, последствия неудачи будут сказываться долго. Она ласкает его, шепча слова любви, довольно банальные, кстати сказать, случалось ей произносить слова и поинтересней, она совершенно изменилась оттого, что в настоящий момент она только лишь женщина и потому неоригинальна. Анна говорит о том, как сильно она его хочет, что он такой красивый, что только для нее он такой красивый, даже если для других он, быть может, и не такой вовсе, потому что она видит его глазами любви, которая нередко обманчива, но не все ли равно. Ее тянет к нему, он проник в ее сердце и занозой засел там, ей от него никуда теперь не уйти. Хансу вполне достаточно было бы просто проникнуть в нее, войти между ног, только вот он все еще не очень твердый, такая незадача. Ханс обливается потом, и поскольку все идет не так, как ему бы хотелось, он прибегает к грубым приемам, нет, не по отношению к себе, а к Анне.

Он прогибает ее в пояснице, подминает под себя, заламывает шею назад, так что хруст раздастся, ой, что ты делаешь, мне же больно, да, да, я делаю тебе больно, потому что я такой сильный, что даже не замечаю, что причиняю тебе боль. «Ты очень сильный». Ну наконец-то, вот оно, спасительное слово. И все сразу получается, словно назван правильный пароль, — и пошло дело. Анна в этой ситуации обычно говорит: «Ну слава богу! Отелился все-таки!» — но сейчас эти слова застревают у нее в глотке, столь грандиозно творящееся событие, называемое любовью, и оно готово упасть на любую почву, куда приведет, на благодатную ли пашню или на залитую бетоном поверхность, где все засохнет и будет выброшено за ненадобностью. Анна и сама не понимает, как это случилось. Такое вот событие. Она тараторит без умолку, как хорошо ей было, что теперь им надо делать так почаще, потому что ей очень понравилось, и ему тоже, правда, а со временем будет все лучше и лучше, сейчас было только начало, а уж если в начале так хорошо, то как будет под конец, можно себе представить: еще лучше. Любимый, любимый мой, и она так стискивает Ханса, что у того перехватывает дыхание, но самое главное, что он кончил и вышло у него все это более или менее прилично. Хотя были трудности на старте.

Анна ощущает внутри себя тепло, больше ничего. В голове Ханса одна только мысль о Софи, которая даст ему завтра первый урок тенниса. Он рассеянно целует Анну, касаясь своим рылом то одного, то другого места на ее теле. Анна ошибочно принимает это за так называемую посткоитальную нежность, чем это не является, да и с чего бы вдруг. Это лишь маневр, отвлекающий от того, что в действительности никакой нежности он к ней не испытывает, хотя и рад в душе, что вполне прилично с делом справился. Конечно, Софи не захочется быть с неопытным мужчиной, вполне достаточно, чтобы из них двоих неопытен был один, а именно — она сама. Спортсмену это дело, впрочем, может нанести вред, ухудшить его физическую форму, необходимую Хансу, чтобы взять над Софи верх по спортивной части. Уж разумеется, Анне захочется заниматься этим почаще, надо будет сказать, что тут у нее ошибочка в расчетах вышла. Она не учитывает потребностей большого спорта.

— Ханс, Ханс, Ханс, — тихо повторяет Анна.

— Так точно, это меня так звать, — смеется Ханс в ответ, довольный своей остроумной шуткой.

С тем, чтобы в действие вступила еще и природа, на фоне которой можно было бы выделиться в качестве чужеродного тела, компания направляется в знаменитый Венский лес, где этой самой природы сколько угодно, собственно говоря, ничего, кроме нее, там и нет. Разве что отдыхающая публика, ищущая близкий к природе образ жизни, ведь индустриализация в наше время мощно шагает вперед, так что и гуляющим тоже приходится вышагивать по дорожкам.

Последние ключья утренней дымки ползут вверх по склонам, поросшим лиственным лесом; молодых людей тоже тянет к вершинам, на которых располагаются смотровая вышка и кафе-ресторан, там природа и находит свое вполне уютное завершение, потому что люди лакомятся там пирожными и надежно укрыты стеклом. Лучи солнца падают наискосок, образуя световые столбы, между которыми лавирует их группа. Листва с деревьев лиственной породы и всякая гниль образуют ковер, который шуршит под ногами. Эту компанию от других компаний, расхаживающих здесь в туристском облачении, отличает то, что они одеты не по-походному, зато несут с собой корзинку, внутри которой — завязанный мешок. Мешок царапается и взвизгивает, так как в нем находится кошка. Кошку они поймали. В «Возмужании» Жана-Поля Сартра один герой собирает утопить своих кошек, вот и их компания хочет сегодня утопить кошку, хотя и кошка тоже имеет право на существование. Райнер говорит, что сам он в той же мере имеет право на не-существование, как и кошка, которую он отправит в не-существование так, что та и моргнуть не успеет. Кошка чувствует неладное, оттого и ведет себя беспокойно.

На Софи — вязаное платье спортивного покроя, купленное в модном доме Адльмюллера. Демисезонное пальто Анны сшито на материнской швейной машинке, сразу видно. Софи перышком перепархивает через корни, еловые шишки, веточки и буковые орешки. Именно Софи надлежит утопить кошку в каком-нибудь подходящем ручье Венского леса, который они как раз ищут. Ей единственной осталось еще пройти проверку на смелость, иначе она им не подходит. Когда они всерьез займутся налетами, нельзя будет нюнить и хлюпать, как кисейная барышня, надо реагировать холодно и сдержанно. Райнер особенно заинтересован в участии Софи, потому что это свяжет их одной веревочкой.

Венский лес раскинулся, как известно (какое там как известно, никому это не известно!), на многочисленных холмах; между холмами долины, изрезанные овражками, в которых текут ручьи. Здесь бьют чистые роднички, и путники утоляют жажду, коли таковая их мучит. К сожалению, большинство ручейков мелководно. Разве что в весенний период вода повыше, а сейчас как раз весна. В сухой листве возятся мелкие зверьки, занятые поисками пропитания.

Компания разыскивает русло, где воды было бы побольше, а не то целую вечность возиться придется. И кто знает, как отнесется к этой затее сама кошка. У Софи длинные светлые волосы, которые вдруг начинают светиться, когда в них запутываются солнечные лучики; когда же на них падает лесная тень, они отсвечивают матовой желтизной, словно латунь. Райнер смирился с тем, что здесь он не производит такого выигрышного впечатления, как в подвальчике джаз-клуба, и даже с тем, что в этих зеленых куцах кому-то может показаться, что Хансв чем-то превосходит его, хотя он обычно ничем Райнера не превосходит. Хорошо еще, что Софи наконец-то согласилась утопить животное. Анна

держится поодаль и всецело поглощена тем, чтобы не обнаружить, что теперь они с Хансом связаны неразрывными узами, и ее деланное равнодушие есть результат долгих упражнений. Только что ей вдруг захотелось поцеловать его. Ни в коем разе. Никаких нежностей, это незрелое ребячество.

И все же, когда она смотрит на него, ее охватывает озноб, озноб, связанный с памятью о пережитом наслаждении. А если при одном воспоминании так трепещешь, то как же будет, когда все по-настоящему? «А что это был за крик, какой-то зверь голос подавал?» Нет, ликующие клики издавали резвящиеся туристы. Эгей! Эге-гей! Воплями своими они распугивают зверей, дебелие мужчины и женщины, добившиеся солидного положения в жизни, могущие себе позволить безо всякой надобности заниматься делом, не имеющим никакого смысла: карабкаться по горам и холмам. Софиенальпе, Шепфль, Затцберг. Одеты по-спортивно, чаще всего с деревенски-фольклорным колоритом Штирии. И все же все они — горожане, сельский колорит — лишь свидетельство изобилия, ведь жить в деревне им больше ни к чему, и бедность им давно уже не грозит. Тирольские шляпы и без этого весьма им к лицу.

Они расшвыривают вокруг себя объедки, разрушая естественно сложившуюся окружающую среду, которую они превращают в среду искусственную, что для Анны и Райнера проблемы не составляет, ведь где бы брат с сестрой ни были, они, как могут, распространяют вокруг искусственность. Их бледные, утомленные из-за бессонных ночей лица скрываются за дешевыми солнечными очками, никотинно-желтые Райнеровы пальцы тянутся к сигаретной пачке, чтобы устроить лесной пожар. Пронзительно кричат птицы. Сухие листья падают на землю. Издалека доносятся гудки поездов. Выходной день, одним словом.

Анна говорит о «Просветленной ночи» Шенберга.

Неподходящее место, неподходящее время.

— Ты говоришь о ночи при восхитительном свете дня, причем даже не о настоящей ночи, а о ночи, созданной музыкой, — удивленно улыбается Софи. Ханс все это время боксирует с тенью, инсценирует воображаемые борцовские схватки, гоняет в воображаемый футбол, он мыслит не дальше собственного носа или вытянутой вперед руки. Он без остатка погряз в настоящем времени, человек, живущий лишь сегодняшним днем. И киска в мешке для него означает не «сейчас», но «потом». Только не задумываться об этом. Он показывает, какими финтами обвести противника на футбольном поле, играя одновременно и за себя, и за противника, Софи, понятное дело, от него без ума, а как же иначе. Софи наслаждается солнцем и чистым воздухом, хотя ими-то она может наслаждаться каждый день по нескольку часов кряду, разъезжая верхом на лошади или двигаясь по корту. Чтобы чем-то наслаждаться, надо прежде всего знать чем. Близнецы чувствуют себя не совсем в своей тарелке. Легкие их хрипят, никакой физической формы, которой у Ханса хоть отбавляй. Слишком много алкоголя и курева, бахвалится Райнер и начинает было диспут о Камю, чтобы вновь оказаться в лучах умственного превосходства. Софи ищет прогалину, чтобы оказаться под лучами солнца и позагорать. Хансу хочется продемонстрировать Софи несколько захватов дзю-до, которые ему один друг показал. И вот они, заливаясь хохотом, катаются по траве, а в желудках Райнера и Анны разливается желчь. Анна спешит внушить себе, что как раз занята тем, что разучивает на фортепьяно сонату Берга, эту цель она давно перед собой поставила, и что теперь эта цель будет достигнута. От нее требуются невероятные усилия, но она в конечном счете справится.

— А с чем это едят? — спрашивает Ханс и ржет, как жеребец. — Ты такую-то и такую-то или вот такую-то пластинку слушала?

— Нет, это несерьезная музыка, Ханс, тебе нужно еще учиться и учиться, а то ты так и будешь топтаться на месте, чего в твоём теперешнем положении нельзя ни в коем случае, потому что ты пока еще находишься на том уровне, который и уровнем-то не назовешь.

У родителей Софи есть абонемент в филармонию. Софи часто ходит туда вдвоем с матерью. Мать Софи — признанная в свете красавица, каждый ее знает, каждый раскланивается, конечно же, только лишь в том обществе, где все знакомы со всеми.

— Наверняка у нее отсутствуют ценностные ориентиры, — выносит свое суждение Райнер, который пару раз видел мать Софи издалека, ему кажется, что у нее и вообще никаких ориентиров нет, да и зачем они ей вообще нужны. Она словно движется в стерильной студенистой массе. Ничто ее не держит, однако эта прозрачная масса постоянно удерживает ее в парении, не давая коснуться земли. И Софи станет когда-нибудь похожей на нее, если своевременно не воспрепятствовать. Воспрепятствовать этому сможет любовь.

— В филармонии играют одну только реакционную дребедень, всяких там шубертов, моцартов и бетховенов, — брызжет слюной Анна. — Стоило им в прошлое воскресенье услышать Веберна, так они начали хлопать как недоразвитые, а ведь на самом деле они такую музыку презирают.

— Публика, посещающая филармонию, слишком хорошо воспитана, чтобы освистывать Веберна, ей известно, какое место занимает Веберн, и место это — высокое, — возражает Софи. — Понравиться же он ей, безусловно, не может. Все творчество Веберна — это ведь смех, да и только.

Ханс в полном восторге показывает пальцем на рыжую белочку. Совершенно рыжая, как огонь, правда. Такая лапочка. Она быстро снует вверх-вниз по стволу, блестя бусинками живых глазок. Солнце пробивает себе дорогу по небу. Полуденные облачка следуют за ним. Будем надеяться, они не разрастутся в плотную облачную массу. Вот наконец и большой ручей, в котором удастся утопить кошку, да, он совершенно точно подходит.

Так что же, давай, Софи. Полезай в трясину, чтобы подобраться к самой воде или, по крайней мере, достаточно близко.

— Я не стану этого делать, — говорит Софи, — ведь я люблю животных.

— Ты должна пройти через это, иначе окажешься исключенной из команды еще до того, как мы тебя примем.

— Вы просто как дети малые с этой вашей игрой в индейцев. Бедная киска, ну в чем она провинилась.

— Как ни крути, а придется. И поторапливайся, а то на автобус опоздаем.

— Ну ладно. Согласна. Слава богу, у меня лейкопластырь с собой. Мне наверняка вспомнится при этом Терчи, моя любимая лошадка. Ведь и она тоже животное.

— Малодушных и бесхарактерных мы терпеть не собираемся, Софи, ты же знаешь.

Софи вытаскивает из мешка орущую благим матом и бешено шипящую кошку, которая первым делом вцепляется ей когтями в руку так, что сразу кровь выступает.

— Ой, вы что, не нашли какую-нибудь другую скотину, чтобы не было так больно?!

— Что нашли, то нашли, давай, чего возишься?

Софи в своем шикарном платье становится на колени прямо в грязь, вся вымазавшись в тине. Она погружает в воду преданное домашнее животное, которое так привыкло к людям, и удерживает его под водой, для чего требуется приложить значительное усилие. В воде

рывканье, фыркание, барахтанье, захлебывающееся бульканье.

Софи приходится почти всем телом навалиться на эту бестию. «Я ведь насквозь промокну и схвачу воспаление легких».

Еще до наступления смерти животного Ханс, который и раньше вел себя странно, тогда, с белкой, вдруг отшвырнул Софи в сторону, мокрое животное с трудом выкарабкалось на берег и, чихая, понеслось от них прочь. Наверняка она лисице достанется, тоже не самая прекрасная смерть.

Ханс влепляет Софи оплеуху, да так, что из уголка губ бежит струйка крови. Ох! Вся компания замирает, как вкопанная, такое святое семейство, у которого вдруг сорвало с хлева крышу и в ясли хлещет дождь.

Софи ошарашена. Что-то с ней такое приключилось, только она еще не знает, что. «Лишь бы у нее внутри все цело осталось после такого приключения», — думает Райнер в ужасе.

Ханс, который насмотрелся по-настоящему остросюжетных фильмов, а не тягомотины всякой, где только сопля жуют, рывком прижимает ее к себе и целует так, что кровь размазывается по его губам. Кровь на вкус сладкая. Сладкая она, эта Софи. Как будто ее выстирали со специальным порошком для стирки шерсти, да нет, ее и вообще стирать не надо, потому что грязь к ней никогда не пристанет, некуда. Настоящая ангорская шерсть.

Сладкие девичьи губки нужно просто целовать без всякого спросу — поется в народной песне, вдруг испуганно обрывающейся, потому что так оно и случилось.

Эта короткая сценка для двоих завершается удовлетворением, а для двоих других — недовольством. Так вот и в жизни всегда, серединка туда, половинка обратно, да так оно, верно, и справедливо.

— Ты должна боязливо отшатнуться от меня, как от демона. В глазах ужас, тело измождено недоеданием, следы побоев на коже, однако истязания проникли еще глубже. До самой глубины души, и это тоже обнаруживает твой взгляд. Женщина, бегущая от насильника, хотя ей известно: сейчас она полностью в его власти. Во взгляде покорность, статика, неподвижность, да не надо же играть лицом, ведь это не кинокамера, я только фотографии делаю. Прошу тебя сосредоточиться, Гретель. Представь себе следующую ситуацию: входит квартирант, он совершенно неожиданно видит свою молодую еще (чего про тебя не скажешь) квартирную хозяйку в полном одиночестве за туалетом и смотрит на нее так, что той сразу же становится ясно: ее час пробил и никакой боженька ей теперь не поможет. Он ни секунды не будет колебаться, применить силу или нет. Зачем ты тряпку схватила, к чему она, Гретель, положи назад, покажи-ка, что ты умеешь. Медленно опускай комбинацию, а рукой как бы прикрывайся, но только у женщины все невпопад, и рука ее больше открывает, чем прячет.

Господина Витковски снова прорвало, как водопад, но слова, как известно, всего лишь серебро, а госпожа Витковски не произносит ни слова, ведь молчание — золото. Пословицу эту господин Витковски знает с самого детства, а также по лагерным баракам Освенцима, знает он и фразу о том, что, мол, береги честь смолоду. С тех самых пор, как История простила его, он бережет свою честь, и молодость уже давно за плечами. Тогда, в сорок пятом, История еще раз решила начать все заново, к тому же решению пришла и Невинность. Господин Витковски тоже начинает заново, причем с самой последней ступеньки, с которой обычно начинают смолоду, когда все еще впереди; на одной ноге вновь подниматься вверх по лестнице куда труднее, да и вообще с одной-то ногой все дается нелегко. А золото, много золота умолкло (и, увы, навсегда): зубные протезы, оправы очков, цепочки и браслеты, кольца, монеты, часы; золото безмолвствует, ибо берет оно свое начало в молчании — и в молчание возвращается вновь. Безмолвие рождает безмолвие.

— Не держи меня на холоде гольшом (из экономии в квартире топят скудно), — просит Маргарета Витковски.

— Мне нужно время подумать, как сделать снимок, по-моему, без насилия ничего не получится. Тебе надо скорчиться от боли, тебя, скажем, побили как следует. Так, хорошо, видишь, даже тебя можно чему-то научить. Знать бы только, какой ракурс взять, чтобы все в кадр вошло. Спусти трусы ниже колен. Так, а теперь медленно высвобождай одну ногу! Ты сбрасываешь оболочку животной твари, скажем, змеиную шкуру, оставляешь ее внизу и, как змея, вздымаешь голову навстречу неудержимо овладевающему тобой вожделению, которому поначалу противилась.

Фрау Витковски пытается проделать нечто, по ее разумению, похожее на поведение змеи, она вздымает голову, да только не навстречу овладевающему ею вожделению, а навстречу запаху гари, бьющему ей в ноздри, и со всех ног бросается в кухню к сбежавшей рисовой каше на молоке. Она разрушает возвышенный художественный настрой мужа. Вот так всегда — стоит гению проснуться в нем, как тут же прозаическая супруга разносит все вдребезги.

— Мне ведь нужно остряпне позаботиться, давно пора, и так запаздываю.

Тем временем муж отдается во власть воспоминаний, которые подхватывают его и

уносят на польские равнины, да и в русские степи тоже, откуда в здешние края беспрестанно просачивается коммунизм. «Там ты еще кое-что из себя представлял, а сейчас ты кто? Пустое место, ночной портье». Господин Витковски доволен, что в пятидесятом году удалось остановить переворот. Он и сам был крохотным колесиком (правда, в этот раз, по причине отсутствия ноги, непосредственно руку приложить не довелось) в рядах тех, кто останавливал, ибо он неустанно сигнализировал о многочисленных проявлениях коммунистической заразы. Неослабная бдительность была крайне необходима. Положение было таково, что коммунистические штурмовые отряды за каждую операцию и за каждого боевика получали от русских по двести шиллингов, так в газете было напечатано. Оккупационные власти западных союзников, встав на пути мятежа, предотвратили его. Газеты, правда, не те, что писали о двухстах шиллингах, были, увы, прикрыты за распространение заведомо ложных слухов, на что не потребовалось даже судебного решения. Министр внутренних дел от соцпартии по фамилии Хельмер с легкостью обошел закон о свободе печати. И совершенно правильно, потому что чего не знаешь, о том и не беспокоишься, а если все будут сохранять хладнокровие, то никаких стычек и не произойдет. Коли газета стала лживой, долой ее, и вся недолга. Нельзя сказать, чтобы Витковски так уж их жаловал, социалистов этих, ведь он не какой-нибудь там рабочий, но в тот раз они себя толково проявили, надо отдать им должное. Может быть, история их кое-чему научит и они с самого начала будут поддерживать того, кто и есть настоящая сила, у кого деньги водятся, ведь так или иначе, а деньги и есть действительная сила, потому что они правят миром, размышляет инвалид, у которого денег нет, и он, понятное дело, миром не правит, хотя, понятное дело, деньги правят миром и без него. Следовательно, того, кто ничего не имеет, нужно с этим самым ничем и оставить. Тем же, кто имеет кое-что, подбрасывают еще, вот и начинается современная монополизация. Западный капитал протягивает заботливые руки помощи и подчиняет нашу отчизну иностранному засилью и владычеству, смыкается с отечественными руками в цепь, которая столь же прочна и надежна, как танковая гусеница. Господин Витковски исповедует свою верность капиталу, которого у него нет, и с чувством законной гордости может выглядывать из прошлого и заглядывать в будущее. С сознанием собственного достоинства, ибо раньше он лично оберегал капитал, теперь же тот снова правит неограниченно и выражает свою признательность лично ему, господину Витковски. Признательность выражается так: ему позволено, получая без вычетов пенсию по инвалидности, нести службу ночного портье в солидной гостинице, где он имеет честь созерцать видных представителей среднего сословия, по долгу службы представляющих интересы австрийской промышленности. Так вот один и представляет другого, даже не зная точно, кого именно он представляет. Само собой разумеется, что господин Витковски, как и прежде, представляет национал-социалистическую партию, он знает точно, кто в ней и что в ней и что из себя представляет тот или иной человек, потому что именно эта партия вознесла его к высотам, на которых он стал больше, чем был на самом деле. Никто другой не возвеличивал его так, а нынче ему только и остается, что увеличивать свои распрекрасные фотографии. Его заботит не только благо каждого отдельного человека, но благо сообщества, которое он окидывает внутренним взором. Так как он никогда не упускает из виду, что в свободное от работы время представляет целое сообщество, то и ведет он себя соответственно. Он, так сказать, подает пример. Чтобы молодежи было на кого равняться. Ведь и другие в свободное от работы время достойно представляют каждый свою фирму.

Глядя на своих детей, он сомневается в результатах воспитания. Чужие люди воспитаны

правильно, а его собственные дети — нет. Когда он их породил, он еще был офицером, и что же вышло? Дети, от которых ему жутко становится, прежде таких детей не бывало, а теперь, говорят, появляются все чаще. Супруга на кухне помешивает кашу, что вкуса ей не прибавляет.

Он достает своей пистолет, надо бы его почистить и смазать, даже если им пока не пользуешься. Нужно быть начеку и в полной готовности. Холодная сталь оттягивает руку. А еще он заглядывает в ящичек, где его любимые снимки Гретель, вот гинекологический сюжет, надо бы в этом духе еще поснимать, опыт фотографа за прошедшее время значительно обогатился, вот сюжет «в борделе», сюжет «школьница в фартучке и с розгой». Футляр с пистолетом лежит в потайном ящичке кухонного шкафа, об этом кроме него никто не знает. Да и кого это интересует, сын-то, увь, одни только книжки и видит.

Бывший офицер, следуя внезапно принятому решению (решимость — качество, без которого нет офицера!), стремительно направляется на кухню, чтобы силой взять жену и удовлетворить внезапное желание, но корова эта, как всегда, делает неловкое движение и он, поскользнувшись на кафеле, брякается на пол. Он ерзает на спине, дергая уцелевшей ногой, но встать не удастся, как бы ему того ни хотелось. Да и вообще со вставанием у него туго, правда, на сей раз он бы у него стоял как миленький, такое было сильное желание. Теперь вот опять все насмарку. Кажется, это оттого, что сильные ощущения, переполнявшие его в молодости на покоренных восточных территориях, в последние годы очень слабы и притуплены. Кому довелось видеть целые горы обнаженных трупов, в том числе и женских, того лишь в незначительной степени сможет возбудить своя домохозяйка. Кто сжимал в своих руках рычаги власти, быстро сходит на нет, когда его власть ограничивается пожатием чужих рук в гостинице. Постояльцы-завсегдатаи приветствуют его рукопожатием и похлопывают по плечу. Одаривают бородами анекдотами и историями из жизни коммивояжеров. Он дома все жене пересказывает, чтобы распалить Маргарету, если ей его члена для этого дела недостаточно, что бывает нередко. Ну не встает ни в какую, хоть ты тресни.

Времена мельчают и выдыхаются точно так же, как и новая молодежь. Не знает он, к чему это приведет, по всей вероятности, к безразличию и посредственности, а то и к чему похуже. И сын его испытывает ужас перед этой самой посредственностью.

Папочка все еще вертится на спине по кругу, беспомощно размахивая руками, как веслами, он загребает только с одной стороны, забывая про другую. Ко всем прочим удовольствиям в последнее время его допекают ишиас и ревматизм, только этого не хватало, как будто мало ему хлопот, связанных с отсутствием ноги, о каких уж тут удовольствиях речь. Он вращается вокруг своей оси, пытаясь подняться на ногу, что удастся только с помощью Маргареты, она применяет свой фирменный захват, раз-два-взяли, готово. Он снова в стоячем положении и сразу же втискивает костыли под мышки, он думал, что обойдется и без них, беря свою Гретель силой, раньше ведь никаких вспомогательных средств ему не требовалось.

— Ну мышенок мой, ну пойдём-ка в постельку, там нам ловчей будет. Жаль, что постель проминается, мне так хочется вдолбить тебя в твердый, неподатливый земляной пол. Да ладно тебе, там ведь так мягонько, тепленько, уютно, воробушек ты мой, у меня и глоточек рому припасен, пошли, голубка моя.

Тело у Отто жутко болит в разных местах, когда он попеременно выставляет вперед то костыли, то свою единственную ногу, вновь костыли, вновь ногу, однако он старается виду

не подавать. Былая сила его авторитета тянет жену за ним вслед.

— Я теперь все время какой-то разбитый, надо бы обследоваться.

— Ах ты, бедняжка, конечно, сходи!

И вместо того чтобы задать Гретель хорошую взбучку, ведь она совсем рядом, он тычетя поседевшей головой в ее грудь и начинает всхлипывать. Она очень расстроена, потому что не знает истинную причину и ошибочно полагает, что он это из-за нее.

— Бедный мой муженек, ну ничего, как-нибудь обойдется, — утешает она тихим голосом, что ему утешения никак не приносит. Расхлюпался здоровенный мужик, со столькими смог справиться, столькох прикончил, а теперь ни с чем толком справиться не может. Вот незадача.

— Я вот плачу, но надеюсь, что дети не увидят меня в таком состоянии. Они домой не скоро еще вернутся, в последнее время их постоянно где-то носит, я и не знаю, где. Твердая рука им нужна, а она у меня есть, даже целых две, хоть нога у меня лишь в одном-единственном экземпляре.

— Бедненький, бедный мой Отти, — говорит Маргарета и гладит, и треплет, и пришепывает, и подергивает.

— Ладно, готово, давай уже, — скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип.

— Ну вот, а теперь выпьем по глоточку, потом заварим кофейку получше, а вечером сядем, послушаем викторину по радио, с Макси Бемом. Там ценные призы дают, если правильно ответить на все вопросы, и когда-нибудь мы непременно выиграем. А если чего не будем знать, спросим у Райнера или у Анны, нынче вон дети сколько всего в школе проходят. Только мы и сами догадаться сможем, ведь мы же родители. Ну, вот мой Отти и улыбнулся, вот и славно.

Он говорит, чтобы она наливала полнее, не так скупно, как в прошлый раз, ведь, в конце концов, чаевые он получает приличные. Хотя, вообще-то, унижительно это все. Что поделаешь, обстоятельства переменились, и ничтожества верховодят везде и всюду. Питие дарует нам полное забвение и благотворно влияет на желудок, ведь мясо на столе так редко увидишь. Успокоившись, господин Витковски потягивает носом воздух в радостном предвкушении чашки хорошего, настоящего кофе, куда он положит много-много сахара. Как ни крути, а у жизни есть свои прекрасные моменты, если не предъявлять к ней чересчур высоких требований, которые он, если по справедливости, мог бы и предъявить, потому что имеет на это право.

Сегодня ему даже добавка полагается, он ведь так горько плакал.

Следующее место событий — кафе «Спорт». Здесь занимают места, чтобы стать свидетелем того, как какой-нибудь известный представитель художественной или интеллектуальной элиты усаживается на свое место за столиком, тут важно, так сказать, участие, а не победа. Прямо как в спорте, в честь которого и названо заведение. Многие из них утратили всякое доверие к искусству, хотя лишь они одни и никто иной созданы для него. Они занялись искусством потому, что оно не приносит им дохода и тем самым не может замарать их подозрением в корыстном интересе. Если бы искусство им хоть что-нибудь приносило, они бы с удовольствием дали себя замарать. Они ни за что не посвятят себя обычной профессии, и не потому вовсе, что не владеют ею, но оттого, что в таком случае обычная профессия завладела бы ими и для искусства не осталось бы времени. Невозможно выразить свое «я» в эстетических формах, если твой шеф за счет человека искусства самовыражается в покупке спортивных кабриолетов и вилл. Если кто-нибудь из

завсегдатаев кафе открывает пачку сигарет хоть на йоту получше вонючей «Трешки» ^[9], их у него сию же секунду безжалостно расстреливают.

За столом, где восседает сегодня наша святая четверица, двое посторонних лиц занимаются чисто графическим доказательством теоремы Пифагора, что у них никак не вытанцовывается. В понимании Райнера математика есть составная часть грубой реальности, поэтому она несколько его не интересует. Шла бы речь о литературе, он бы давным-давно вмешался и раскритиковал всех в пух и прах, на что имеет полное право.

За столиком поодаль плотной компанией сидят греки, почти касаясь друг друга темными головами, шушукаются насчет женщин, время от времени пытаюсь заговорить то с одной, то с другой. Столик расположен неподалеку от двери дамского туалета, так что недостатка в объектах внимания нет.

Когда в разговоре возникает поворот, в чем-то не устраивающий Райнера, а иногда и без всякого повода, он резко вскакивает и, погруженный в свои мысли, забивается в угол, где и пребывает, уставившись мрачным взором в пустоту, пока Софи или Анна торжественно не возвращают его назад.

— Что это вдруг на тебя нашло? Скажи, ну пожалуйста, скажи.

— Вы мне на нервы действуете, дурищи. У меня иные заботы, совсем другого уровня, и я сам совсем на другом уровне. Вы только тоску нагоняете.

— Райнер, вернись, ну садись же к нам, пожалуйста.

— Вы действительно вообще ничего не замечаете, с такими людьми, как вы, ни в коем случае нельзя переходить к действию, ведь такие люди всего боятся, потому что представляют собой трусливую посредственность.

Райнеру хотелось бы, чтобы за него марали руки другие, а сам он оставался бы чистеньким. За него пусть действуют остальные, он будет держаться в стороне от дела, но других в него втривит. От денег он, конечно, не откажется, заберет свою долю, она требуется ему на покупку книг. Райнер уверен, что, как паук, будет сидеть и держать в руках свою паучью сеть, но ему придется действовать без спасительной сетки безопасности, состоящей из маленьких обывательских условностей, правда, он выдернет эту самую сетку и у других из-под задницы, чтобы они оказались один на один с собой и в полной зависимости от него.

Райнер сидит, уставившись на валяющиеся на полу окурки, бумажки, на лужицы красного вина и скомканные бумажные салфетки в чьих-то засохших соплях, и ждет, когда же наступит неминуемое омерзение, которое иногда настает, а иногда нет. В данный момент наконец-то подкатывает тошнота, да так, что он даже авторучку выронил, при помощи которой хотел записать в блокнот строчку стихотворения, чернила разбрызгиваются без пользы. Было ли вот это сейчас настоящей тошнотой или нет? Нет, скорее, все-таки не было. Помещение выглядит таким же обывательским, как и всегда. Нет, вряд ли оно ему показалось более тяжеловесным, дородным или компактным. Однако он, как и Сартр, постиг, что прошлое не существует. И кости убитых, погибших или умерших в своей постели существуют исключительно лишь сами по себе, в абсолютной независимости, ничего, кроме толики фосфата, извести, солей да воды. Лица их суть лишь отображения внутри самого Райнера, сплошной вымысел. Как раз сейчас он ощущает это очень остро, ощущает как утрату. Он никому не говорит, что до него эту утрату точно так же ощущал Жан-Поль Сартр. Он выдает ее за свою собственную утрату.

Ханс, который утратил отца, не задумывается о фосфате, извести, солях и тому подобном, во что превратился теперь его отец, он напевает про себя шлягер Элвиса,

понятное дело, без слов, потому что слова на английском, которым Ханс не владеет. Да он и вообще мало чем владеет. Владеть Софи было бы для него уже вполне достаточным.

Другое место действия — джазовый подвальчик. Райнеру хочется, чтобы преступления совершали другие. Когда музыканты уходят на перерыв, он вразвалку идет к саксофону, хлопает пальцами по клапанам, изображая аккорды, которые кажутся ему правильными, только вряд ли он извлечет хоть один звук, если дунет в инструмент. Впрочем, вполне достаточно и того, чтобы все, кто его видит, подумали, что он умеет играть на саксофоне. Музыканты возвращаются, и он быстренько кладет дуделку на место, чтобы не схлопотать по физиономии за порчу музыкального инструмента. Он заказывает содовую с малиновым сиропом, самый дешевый напиток (кошелек-то еще не добыли!), и записывает начало стихотворения (завтра напишет концовку), отрешенный от окружающего мира. И не важно, каким предстает этот мир перед ним. Даже Софи придется смириться с этим, хотя с ней он обходится не так строго, потому что она — женщина, которую любят. Любовь занимает лишь малое место в жизни Райнера, ибо он знает, что любовь должна занимать лишь малое место, остальное же предназначено для искусства. В своем стихотворении Райнер демонстрирует презрение ко всем заплывшим жиром, увешанным кольцами людям, у которых в голове ничего нет, кроме мыслей о наживе. По правде сказать, таких людей он никогда еще вблизи не видел. Отец Софи, к примеру, стройный и поджарый. И любит спорт. Райнеру не хотелось бы обливать презрением отца той женщины, которую он любит, как здорово, что для этого нет повода. Образ толстых колец, которыми унижены жирные пальцы, он позаимствовал у экспрессионизма, давно прощенного и забытого. Он презирает их всех, презирает праздное сало, кариатид во фраках, не ради такого мать вытолкнула его из чрева на свет, пишет он, весьма остро переживая эти чувства. Мать его, однако, стала бы возражать, узнай она, что вывела его из себя на свет ради всех этих стильных тунеядцев, ошивающихся в «Спорте» или в «Хавелке»^[10]. Нет, единственно лишь солидного образования ради, на которое ему в данный момент начхать.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

И здесь, внутри, в постоянном полумраке Райнер не снимает стильных темных очков из плексигласа квадратного фасона, да еще и волосы зачесывает низко, на самые глаза. Эта стрижка, как у Цезаря, не делает его похожим на древнего римлянина, он смахивает скорее на нового венца, а Вена непрестанно ему нашептывает, убеждая, что он должен участвовать в возрождении своего родного города, придавая ему все более и более прекрасные формы. Подобное не входит в его намерения. Вена в убранстве из цветов — излюбленная тема ежегодного конкурса школьных сочинений, в котором Райнер уже дважды удостоивался наград: один раз вручили фикус в кадке, а в другой — красивый папоротник, который давно уже загнулся, потому что любвеобильная матушка заполивала его до смерти, папоротники же любят сухую почву, как доверительно сообщил юному лауреату один садовник-цветовод. (Свое третье место Райнер должен был разделить с девятью другими юными питомцами средней школы.) Советом садовника пренебрегли. Его школа всегда принимает участие в таких вот делах, а потом кичится успехами. Множество разноцветных весенних и прочих цветов распускаются повсюду, на всех углах и перекрестках, и решительно разнообразят облик города, свежая зелень заменила цвета иностранных мундиров, которые покинули Австрию в соответствии с Государственным договором. Наконец-то дождались. И русские, самые худшие из них, тоже исчезли, а ведь они ничего по доброй воле не делают, наоборот, больше любят принуждать других, в особенности женщин, к чему-нибудь невыразимо

ужасному. И получают от этого удовольствие. И вот они исчезли, а новые нацисты, как и нацисты старых добрых времен, снова полезли вверх, как цветы в серых балконных ящиках. Добро пожаловать.

Кстати сказать, уж коли завели речь о цветочках и листочках, то Райнер среди всех победителей конкурса в Венском городском управлении народного образования (во время чествования) видел одних лишь гимназистов, потому что только гимназисты обладают способностью излагать свои мысли, только они в состоянии описать те ощущения, которыми они преисполняются при виде тюльпана или куста сирени. А именно — радостью и надеждой на будущее. Кто-нибудь другой тоже может ощущать радость, но это еще не значит, что он сможет и описать ее без ошибок. Он пользуется не языком высокой культуры, а местным наречием, которое не очень в цене. В австрийском варианте немецкого языка между этими двумя уровнями зияет глубокая трещина, возникшая из-за неравенства людей, что будет всегда. Стоит одному употребить ученое слово, как другой его уже не понимает. Так все время у Ханса с Райнером выходит. Ханс косноязычен, Райнер ловок в словах.

Еще тогда школьные сочинения приносили Райнеру признание, а теперь он хочет сделать сочинительство своей профессией. Его профессия будет одновременно и хобби, что является идеальным сочетанием, как о том многие говорят. В большинстве случаев это не соответствует действительности. Когда водопроводчик или мясник говорят, что профессия для них в то же время еще и хобби, то это наверняка не так. Вагоновожатому трамвая или каменщику тоже едва ли поверят. Если врач скажет, что его хобби — помогать и исцелять, то ему верить можно. Лечить и помогать можно и для собственного удовольствия, и одновременно это может быть профессией. Хобби — новое иностранное слово, которое очень быстро получило право гражданства. Американцы ушли, а язык их остался, ура.

Скрепя сердце Райнер вынужден отметить, что болван этот, Ханс, в настоящий момент является не его орудием, а орудием джазовых музыкантов. Он снует туда-сюда, услужливо складывает пюпитры, засовывает контрабасы в парусиновые чехлы, попеременно то открывает, то закрывает рояль, в зависимости от того, что ему велят, протирает трубы, приводит в порядок стопки нотной бумаги с расписанной на ней аранжировкой и по команде снова рассыпает их, поднимает и опускает стулья, расставляет их, снова сметает в кучу все, что так старательно расставил, и все потому, что кто-то из музыкантов сердится, что он что-то не так сделал, спрашивает, сколько нужно времени, чтобы выучиться играть на флейте, на саксе, на тромбоне, на контрабасе и так далее. Выучиться играть на фортепьяно наверняка труднее и дольше всего, потребуется вся честная жизнь, та самая долгая честная жизнь, которой Райнер хочет положить конец. «Вот бы и мне когда-нибудь тоже этим заняться! Поди, здорово вот так играть на инструменте. Может, даже лучше, чем быть учителем физкультуры или иметь высшее образование». Сейчас он, как только закончится последний номер, как отыграют «Чатанугу-чу-чу», вместе с другими кретинами-добровольцами примется таскать многочисленные тяжелые предметы к выходу, где еще один прихвостень уже машину свою подкатил, чтобы ее употребили для перевозки инструментов, только бы ему хоть разок поприсутствовать, потому что самое важное — это участие, а не только победа (см. выше). Без ответа осталось еще столько вопросов: А это трудно? Сколько времени пройдет, пока научишься ноты читать? Как правильно настраивать скрипку? Куда нужно подавать заявление, если серьезно намерен овладеть инструментом? «Я завтра же добровольно явлюсь туда». Что делают с душой, то делают по доброй воле. Одна лишь работа на силовых установках есть подневольная повинность, от которой нужно

отделаться.

«Все, хватит с меня!» Райнер сбрасывает с себя глубокомысленный вид и набрасывается на Ханса. В мыслях только что прозвучало: я плюю на вас, на ваши полдники в бумажных пакетах, на жирные телеса, я велик и хожу от ярости по потолку, все вы меня видите необыкновенно отчетливо, вот именно: это я и есть! Он выхватывает из лап Ханса, этого лакея, футляр с кларнетом, который тот суетливо нес к выходу, и со всего размаху опускает на Хансову башку громыхающий ящик, внутри которого взывает духовой инструмент. Музыкант, которому принадлежит инструмент, вопит, что-де, того-этого, совсем рехнулся, что ли?!

Выражение лица Райнера (непроницаемое, безо всякого выражения) кларнетисту-любителю, студенту юридического факультета, ни за что не постичь, и поэтому он никак больше не реагирует. Если бы он только мог представить себе, что Райнер в данный момент о нем думает! Райнер думает, что подвесил бы я тебя сейчас за глотку на мясницком крюке. Об этом сынок состоятельного аптекаря даже и не догадывается, а потому и нет в нем страха, но Райнер все равно горд, что в голову ему пришла такая жестокая идея. Ведь скоро они ее воплотят в жизнь, так что за столиком Райнер и компания серьезно приступают к разработке плана, продумывают мелочи, выверяют детали.

— Что мне, по четыре раза все повторять? Анна, это и тебя касается, хотя тебе в общих чертах все известно как моей сестре.

«Софи будет поставлена в известность как женщина, которую я люблю, а Ханс — как исполнитель, который выполняет грязную работу, при условии что он вообще сообразит, о чем идет речь. В чем я далеко не уверен».

— Анни, иди сюда, сколько тебя ждать?

Она не идет, потому что как раз сейчас, сидя за роялем, почувствовав небывалый шанс, будто играючи, рассыпает жемчуг шопеновского этюда с небрежной легкостью, за которой стоят долгие часы упражнений, чтобы получалось вот так, и лишь только она хочет без перехода начать кое-что из «Хорошо темперированного клавира», как к ней подходит пианист джаза (студент медицины):

— Эй, девулька, ты ошиблась адресом, валяй-ка домой к мамочке под крыло и играй там свои гаммы. У нас тут крутой джаз, а не музыкальная школа, сюда приходят, когда уже школу окончат с отличием или когда самостоятельно научатся. Хочешь, могу и я тебя кое-чему научить, если настаиваешь, так что заходи, куколка, когда сиськи вырастут.

У Анниной мамы такое не заведено, чтобы кто-то чему бы то ни было самостоятельно обучался, тут должны быть привлечены квалифицированные специалисты, иначе это не в счет.

Внутри у Анны все сжимается, потому что ей доходчиво объяснили: она не вполне еще сложилась, не созрела и должна развиваться дальше, а это для нее неприемлемо. Она достигла уже конечной точки, и терять ей больше нечего. Ее сводит с ума мысль о том, что еще что-то подобное может ждать ее впереди, ведь для нее все уже завершилось, и в ней закипает жажда убийства. Впереди не будет ничего, разве лишь абсолютное Ничто, и в нем не существует никаких нравственных мерок, которые этот студентик отринул еще не полностью, хотя он и грубо обращается с женщиной. Проходя мимо его стола, она словно невзначай слегка задевает пальцами полупустой пивной бокал, и плюх — содержимое уже растекается по новеньким, с иголки, фирменным джинсам университетского всезнайки, теперь стирать придется, от чего джинсы хоть чуть-чуть, да обветшают, так что урон

студенческим карманным денежкам нанесен. Вот и отлично.

Райнер с жаром внушает Софи, потягивающей лимонад, чтобы та не болтала глупостей, а слушала, хотя она вообще молчит. Ханс думает, что если она слушать не хочет, так пусть уж лучше его чувствует. Софи не хочет слушать, ей нравится смотреть. Смотреть, как Ханс с необыкновенной легкостью поднимает и выжимает на руках самые тяжелые предметы, даже самые тяжеленные. На его торсе нет ни единого размякшей мышцы, такие местечки, будем надеяться, располагаются в душе. А вот Райнер телосложением скорее похож на курицу. Причем такую, которая вообще не видела солнечных лучей и получала в корм лишь малую толику зернышек. Хотя наговорить он может куда больше, чем просто кудах-тах-тах, что правда, то правда.

Ханс шмякается на стул и в общих чертах — более подробные черточки проявятся и приложатся потом сами собой — обрисовывает, как станет учиться музыке, которая несет людям радость и успокоение, а исполнителю — славу и успех.

— Заткнись, — говорит Райнер.

А Хансу не терпится рассказать, как мать достает его своими дурацкими конвертами, вечным нытьем о работе в молодежной ячейке:

— В этом причина, почему я... в смысле музыки... хочу от этих дел отгородиться.

Райнер говорит, что сейчас ему в морду заедет. Софи негромко, растягивая слова, просит его отставить Ханса в покое.

Анна: — Слушай, Ханс, ты своим занудством доведешь кого угодно, даже памятник Гете на Ринге^[11].

Софи: — Сама-то не выпендривайся.

Ханс: — Вот видишь, Анна? Если женщина любит мужчину и не может этого показать, да и не хочет показывать, она принимается его защищать от всех. При этом она против воли начинает осознавать свои чувства. Я это в кино тыщу раз видел.

Анна сует руку ему промеж ног, там так уютно.

— Что, опять вам приспичило? — насмешничает Софи.

Ханс отстраняет нелюбимую руку, которой все же пока время от времени пользуется. Ему становится неловко. Софи не должна про это знать, однако ей следует догадываться об этом и хотеть того же. Анна хочет наказать его за такое желание, но одновременно боится, что он перестанет с ней заниматься этим делом, а ведь ему с ней было хорошо, совершенно точно.

— Ханс — это моя проблема, тоже мне защитница нашлась, отстань, он сам себя защитит сможет, а я ему подскажу — как. К тому же мне вообще все равно (разумеется, ей не все равно).

Хансу известно, что женщина, которая защищает мужчину от других, часто выглядит так, будто делает это против воли, но это сильнее ее воли. Мягкость одерживает верх над твердостью. Никак не похоже, чтобы в Софи бушевала какая-то внутренняя борьба, она заказывает себе колу с ромом. Близнецам такое не по карману, они безучастно отводят глаза в сторонку, когда к их столику приближается официант, но в этом заведении к такому привыкли. Ханс заказывает напиток еще дороже, мать перевернулась бы в стареньком кресле, если бы только представила себе это. Он тратит заначку, заработанную на сверхурочных.

Анна говорит, что в природе слабый склоняется перед сильным, как, например, тростник перед северным ветром. Или как безмолвие перед лесом.

Райнер: — Так вот, значит, нападение с целью ограбления...

Ханс: — Ищи дурака. Вы вообще без понятия, о чем треплетесь, это сплошное помешательство.

Райнер: — Помешательство? Такие категории в моем понимании не существуют, ибо нормально и полезно для здоровья все, за исключением овощей и фруктов. И в искусстве такое помешательство получает все большее признание, оно обнаруживается в живописи сумасшедших, а скоро наверняка появятся художники, которые сами станут наносить себе раны, и это будут наиболее современные модернисты из всех, какие только есть. Например, весь окровавленный, переходишь улицу и демонстрируешь свои глубокие раны полицейскому — как произведение искусства, естественно, тот ничего не понимает, и пропасть между ним и художником, который в то же время есть свое собственное произведение искусства, становится непреодолимой. Преклонение перед чем бы то ни было, что провозглашено не тобою самим, никуда не годится, не в счет, это я цитирую. Все дело в том, что человек должен вырваться из этих смехотворных оков, выкованных из якобы нынешней реальности и из перспективы некой будущей реальности, которая едва ли более ценна, чем теперешняя. Цитирую: «Каждая истекшая минута несет в самой себе отрицание столетий хромоногой, изломанной истории».

— Гырг, — выдает Ханс, полоща глотку напитком. — Вот уж кем не хотелось бы работать, так это полицейским или художником. Разве что, может быть, музыкантом-инструменталистом.

Женщину, которую он любит (Софи, ясное дело), он станет тщательно оберегать от всего некрасивого; Бетховена и Моцарта разрешит только после тщательной проверки.

Анна держит ушки на макушке, ведь имя Софи Ханс произносит таким теплым тоном, который ей ох как не нравится. Дерьмово, что, в полном соответствии с законами природы, тебя не привлекает так сильно то, что уже имеешь, а все больше тянет к недостижимому, а ведь как бы ей хотелось самой лично олицетворять все недостижимое, но Софи прибрала его к рукам. Дрянь дело. Полное дерьмо. Чтоб ей сдохнуть, Софи этой, которая тут же все просекает и поднимает брови.

Райнер спрашивает Софи, не думает ли она, что Хансу больше всех хочется быть необыкновенным, так как по части интеллекта он из них самый заурядный. Она так не считает? Анна говорит, что каждая фраза Ханса звучит так, словно любой другой человек уже произносил ее самое меньшее тысячу раз. Кто Анна в этой любви, штурман или штурвал? Потом выяснится. Быть может, выяснится уже в ближайшие десятки доли секунды, потому что она опять начинает ощупью пробираться в сторону Хансовых ляжек, явно имея определенные интересы, касающиеся владения кое-какими участками его тела. Ханс отодвигается от Анны, ведь на людях так не поступают, да к тому же в присутствии Софи, и несмелая рука женщины, ведомая любовью, вляпывается в обсосанный комок жвачки, приклеенный кем-то к стулу. Жвачка прилипает к пальцам, и назойливо липнет любовь, засевшая вдруг в самой глубине.

Ханс в принципе против насилия, и в это можно поверить, ведь он обладает большой физической силой и не нуждается в ее применении. Он купил себе книгу, написанную Стефаном Цвейгом, известным писателем, которая ему очень понравилась, и тем не менее надо расспросить кое о чем, потому что литература всегда такая сложная.

— Софи, я хотел тебя спросить по поводу одной книги.

Райнер говорит, что Софи могла бы ответить, но отвечать станет он сам, потому что

литература— его епархия, а не Софи; дело Софи — литература его собственного сочинения, именно ей она должна внимать двадцать четыре часа в сутки. Хорошо, что Ханс начинает с чего попроще. Ханс говорит, что Стефан Цвейг — самое трудное, что только есть. Райнер говорит, что духовное единение между ним и Софи несравнимо интенсивнее и прочнее, чем могли бы быть любые телесные связи, которых пока нет. Интеллектуальная связь сохраняется всю жизнь, плотская же — в лучшем случае пару недель.

— Сейчас я вместе с Софи читаю «Постороннего» Камю. Там герою на все плевать, ему ни до чего дела нет, точно так же как и мне. Ему известно, что ничто не имеет смысла и рассчитывать он может лишь на собственную смерть, которая его поджидает. Вот настолько далеко тебе сначала нужно будет зайти, Ханс, чтобы тебе ни до чего не было дела, на все было наплевать. Пока же для тебя должно быть важным все, чтобы создалась какая-то основа.

Налеты наверняка будут связаны с острыми ощущениями, о чем впоследствии можно будет порассуждать.

Ханс намерен спасти Софи от нее самой, он станет ей опорой. Софи ни в какой опоре не нуждается. Райнер говорит, что он сознательно отказался от опоры, потому и стал таким сильным, что его ничто уже не волнует. Ханс говорит, что для него профессиональная карьера все же имеет значение.

Анна: — Проще всего делать так: представь себе, что никого на свете больше нет, кроме тебя. Тогда тебя ни с кем не будут сравнивать, ты сам станешь мерой всех вещей. Как я, например.

Липкая от жвачки рука Анны совершает третий заход, и польщенный настойчивостью Ханс не отталкивает ее. Лучше воробей в руке Анны, чем Софи в далеком небе.

Райнер размышляет, как бы ему втравить в это дело остальных, не замарав собственных рук. Прежде всего, необходимо расположиться где-нибудь в удобном для наблюдения местечке, на холме Хоэ Варте^[12] находиться, к примеру, лучше, чем у памятника Элизабет в Народном саду. Поскольку существуют натуры лидерские, а рядом с вожаками — все остальные прочие, то ему больше хочется быть вожаком бараньего стада, а не жертвенным агнцем, это точно.

Ханс вертит головой, рожденной в Бургенланде, озираясь вокруг, не окажется ли поблизости смазливая бабенка, ему еще незнакомая. Таковых в наличии не обнаруживается, а если какая и появляется, то знакомиться с ним она явно не желает. «Ну, погодите, вот надену свой новый джемпер, тогда все вы кучей ко мне сбежитесь». Он в этом уверен. Одной брюнетке, сидящей возле хлипкого шатена, он подмигивает так настойчиво, что кажется, будто у него неладно с глазами. Однако глаз у него алмаз, когда мимо него шествует очередная красotka. Хансу кажется, что и она принадлежит ему. Любой мужчина хочет обладать всеми женщинами сразу, а вот женщина, наоборот, желает лишь того мужчину, которого она любит и которому остается верной. Анна ловит момент и волочет Ханса прочь, чтобы побыть с ним наедине. Она заметила, что этот парень для нее кое-что значит. Ханс видит, что он в своей девственной беспечности что-то для этой девушки значит, оттого, вероятно, что читает в последнее время много хороших книг, вот она его и признала. Анна — предварительное упражнение, готовящее его к Софи. Анна виснет на нем потому, что книг он читал меньше, чем остальные, и потому плотское начало в нем сильнее, она вся так растворилась в чувстве, что вконец потеряла голову. Оба они погружены в сумятицу чувств, что характерно для молодых людей, не обретших еще себя, не нашедших пока своего места в

современном деловом мире. Ханс, однако, уже довольно продолжительное время занимает одно такое местечко. Оно опутано электропроводкой, настала пора его сменить.

На улице, в прохладном и ярком свете солнца, который вскоре уступит место нездоровому полумраку помещения, Ханс, резвясь, поддевает ногой и гонит перед собой скомканные бумажки и прочий уличный мусор, обводя ловкими финтами то одного, то сразу нескольких игроков противника. Анна пытается проворно и легко порхать с ним рядом, не отставая ни на шаг, но получается это неуклюже и неповоротливо. Ни солнечный свет, ни природа не являются ее средой обитания, для нее характерна одна лишь деланная искусственность. Как раз там она расцветает, здесь же, на улице, есть лишь холодный весенний свет, пылица, выхлопные газы и тот самый пресловутый венский воздух.

Ханс распространяется по поводу здорового цвета лица Софи, с которого никогда не сходит загар, сразу видно, что она ведет подвижный образ жизни на свежем воздухе. Ветер и солнце делают свое дело. «Она чиста и свежа, и золотистые локоны ее тоже чисты и шелковисты, а немые, жирные на ощупь лохмы Анны свисают на слабо обозначенные плечи, на тощий, обтянутый кожей скелет. Укутанная тряпьем платяная вешалка. И все же что-то такое в ней есть, можно найти, если хорошенько поискать. В самый раз для мужчины, обладающего талантами в смысле спорта и предпринимающего теперь шаги в смысле раскрытия своих интеллектуальных возможностей».

— Почему бы тебе тоже теннисом не заняться? Ведь у тебя вполне хватило бы чувственности, чтобы развить в себе особое чувство мяча.

— Нет, лучше я начну разучивать сонату Берга, что гораздо больше прельщает молодую пианистку.

— Тебе бы лучше в горы пойти, чем разучивать сонату Берга. Хе-хе. Что, отбило охоту нос задирать?

«Слава богу, предков дома нет. Даже за такие мелочи благодарным быть приходится». Анна расстегивает на Хансе рубашку, чтобы посмотреть, что там под ней такое. Нового под ней ничего, все то же самое, мускулистая безволосая грудь и гладкая шелковистая кожа, приятная на ощупь. «Эк тебе сегодня не терпится, детка, такое дело нам по вкусу». Анна вонзает в Ханса острые вампирьи зубки, проходясь по его телу в разных местах.

— Ай, больно, осторожней, — реагирует он, — знаешь, обеденный перерыв у меня — всего ничего, так что кончай эту прелюдию, или как это там называется, и пусти-ка его сразу внутрь порезвиться.

Скоро дело сделается. С Софи это происходило бы на цветущем лугу, благоухающем сеном, или на нагретом солнцем пляже у теплого моря, или в устланной мягкими шкурами хижине высоко-высоко в горах, а сейчас он всего-навсего рядом с Анной в квартирке обветшалого дома. Софи — блондинка, Анна — шатенка, один — ноль в пользу Софи. И в конечном итоге счет останется тот же: один — ноль в пользу Софи.

— Я так хочу тебя, так хочу тебя, мне так хорошо, когда ты это со мной делаешь, — шепчет Анна.

— Еще бы тебе не нравилось, — цедит Ханс сквозь зубы, — я, кстати, сейчас кончу, знаешь, э-э, самое главное — быть наготове, сейчас кончаю, сейчас-сейчас. Ну же, еще, еще, да!

Анна издает громкий крик и закашливается, перехватывает дыхание, любовь сдавливает ее с ужасающей, невероятной силой, каждый раз с ней такое делается, никак не избавиться от этой скверной привычки, она кончает, хочешь не хочешь, а приходится биться в оргазме.

Анна не хочет, но, к сожалению, вынуждена.

Анна предостерегает Ханса, что ему отнюдь не скоро удастся найти такую женщину, которая была бы столь же теоретически подкована, как она, потому что подобное и вообще-то встречается не часто, а при ограниченном кругозоре Ханса и совсем недостижимо.

— Ни одна другая не поняла бы, что происходит с ней, когда она с тобой, а я все понимаю, в этом мое неоспоримое преимущество, поэтому обходиться со мной надо бережно, ведь я предельно впечатлительна и скверные стороны этого мира приносят мне гораздо больше страданий, чем всем остальным. Люби меня, Ханс, ты же будешь любить меня, будешь, прошу тебя, пожалуйста. Такая женщина, как я, просит не часто, но уж если она просит о чем-то, надо обязательно дать ей то, чего она хочет, ведь для этого ей пришлось перешагнуть через свою гордость.

— Ну что, напряжение в сети упало, пора возвращаться на рабочее место, а то запишут прогул.

Анна покрывает Ханса смачными поцелуями. Слишком уж громко разносится ее чмокание, и Хансу от этого неловко. Он отодвигается от Анны, натягивает рабочие штаны и ковбойку. На столе еще один бутерброд с сыром и бутылка пива, необходимые, чтобы восстановить силы. Рядом на постели женщина, которая поднимет в тебе силы тут же, на месте, сразу после приема пищи. Нужно очень любить человека, чтобы позволить ему съесть бутерброд с сыром до того, как заняться этим делом. Анна любит Ханса, и первый бутерброд она вовсе не заметила, так же точно, как мать не замечает испачканную попку своего младенца.

Ханс говорит, что не думает, будто это дело зовется любовью, потому что любовь у него еще впереди, и, кажется, у нее, у любви, лицо Софи, да это она сама и есть. И после того как его шаги уже отзвучали на лестнице, Анна все еще таращится вслед, как корова, мимо которой пронесся курьерский поезд, зная, что любовь внешнею схожа на Ханса, что прекрасно, спору нет, но что и бесспорно неприятно. Он ведь не догадывается, что обрел в ее лице, ведь она — самое лучшее из того, чего он достоин, да, собственно, и не достоин вовсе. Жаль, он стремится к далекому счастью, а ведь в действительности оно совсем рядом, рукой подать, как и до всего хорошего в жизни. Однако он неудержимо рвется в дали. Для нее это большая неприятность, для него — вряд ли.

Деревья смешанных пород содрогаются под порывами ветра, упираясь в ночное небо. Кажется, будто невидимая рука трясет их одновременно, ухватившись за железные скобы, но такая иллюзия кажущегося беспорядка была когда-то намеренно создана садовником, в действительности это строжайший порядок, потому что садовник специально подобрал и посадил деревья именно таким образом. Они стонут и плачут, будто кто-то напал на них, но никто их не трогает, кроме разве что ветра. Ведь в саду у Софи они надежнейшим образом защищены от каких-либо сторонних посягательств. Впечатление непринужденное и в высшей степени художественное, как раз такого впечатления хочет добиться Райнер, который скорчился у подножия наобум выбранного дерева и терзает ни в чем не повинный немецкий язык, как изволит выражаться в его адрес учительница немецкого, и все же сочинения его скорее необычны и зачастую бросают вызов общепринятым нормам и условностям. Это способна оценить его сестра, да еще, пожалуй, Софи, вот и все. Он в бешенстве наносит несколько ударов по стволу голубой ели, потому что ему никак не приходит на ум нужное слово, ну совсем никак, но когда он в пятый раз обрушивает свой гнев на безвинное дерево, то вот оно, слово, тут как тут, — конечно же, это слово — смерть, и от него расходится кругами мрачное настроение. Райнеру необходимо все время думать о смерти и делать подходящее выражение лица. По-французски смерть — женщина и встречается в книгах Кокто, в немецком же — это мужчина и встречается в его сочинениях. Стихотворение находится в состоянии возникновения, которое мучительно и зачастую кончается ничем, потому что поэт малодушно и преждевременно капитулирует. А терпения у него слишком мало, ведь возникновение стиха сопряжено с муками и, к сожалению, требует времени, которым поэт по большей части не располагает, ведь он призван сотворить кое-что еще, а не только одно это стихотворение, а потому он должен постоянно стремиться вперед.

Софи не несется, как ветер, она скользит, словно лезвие конька по зеркальной ледяной поверхности. Она прочно стоит на земле, которой по праву владеет, и Софи не нужно особых прав, чтобы передвигаться по ней, укрытой английским газоном, орошенной дождевальными установками, украшенной редкими сортами садовых цветов. Внезапно из ниоткуда выныривает белый призрак, неожиданно оборачивающийся самой Софи, и остается лишь надеяться, что она не слишком быстро возвратится в это никуда и Райнер надеется, потому что она требуется ему для вдохновения. Он как раз теперь застрял на том месте, где смерть в пруду закрывает мертвому ребенку лицо матросской бескозыркой. Получается как у Тракля, но сходство весьма отдаленное. Он пытается быть грубым, чтобы скрыть собственную мягкость по отношению к Софи, и приказывает ей опуститься на траву газона, составляющую ее собственность. Вообще-то он играет не по правилам, она могла бы ему сказать: кто чем владеет, тот тем и командует. И все же она подчиняется.

В доме располагается общество — в воздушных и парчовых платьях, в вечерних костюмах — и предпринимает попытки общения. Это все люди предприимчивые, и предпринимают они весьма многое, как говорит само их наименование. Иногда они в состоянии понять шутку. Они любят партию в гольф или верховые прогулки в Криау. Из дома доносятся едва слышные звуки фокстрота, под который движутся вперед-назад пастельные цветочные пятна — женские фигуры. Они то шмыгают торопливо, то ползут

напролом, подобно бульдозерам, сметая все в стороны, и слуги с подносами бросаются от них врассыпную; если они будут работать честно и добросовестно, то в этом доме им гарантировано надежное место, им не грозит увольнение.

Платья прекрасны, смотреть на них — одна радость, даже с расстояния, на котором в данный момент находится Райнер, и он говорит, что ему совершенно не хочется идти внутрь, потому что снаружи лучше постигаешь общественные формы, ведь при этом воспринимаешь больший фрагмент картины. И все же подобным формам в литературе не место, потому что они уже существуют и их не нужно придумывать, а поэтическое искусство живет исключительно за счет фантазии. Разноцветные пятна, увенчанные женскими головками, есть всего лишь огромные разноцветные пятна, — ни на что иное они не похожи, — пятна выделяются на хрустальном фоне, сверкают украшения, переливаясь, как пена на волне. Райнер глаза на них со своей позиции, которая, естественно, располагается не на улице, а в парке. Однако и это расположение относительно неестественно, так как данный человек пребывает большей частью во внутренних помещениях, тщательно оберегаемых от улицы и суеты. Там не встретишь плебеев, и стильная обстановка царит у Софи в ее девичьей комнате. «Когда я говорю о девичестве, то именно это и имею в виду, потому что ты еще не стала женщиной, Софи, однако необыкновенная острота ощущений возрастет непомерно, когда ты наконец-то станешь ею, при прямом моем содействии, разумеется. Это будет подобно вспышке, взрыву, но не станет осквернением, что, к сожалению, нередко имеет место среди заурядных людей, когда мужчина дурак дураком, а женщина не так красива, как ты».

Софи никогда не приходило в голову, что тело ее пригодно для занятий чем-либо иным, кроме спорта, такого она никак не предполагала. «Быть может, существует что-то иное, мне пока неизвестное, но что это может быть? Никак не догадаюсь, но уверена, что это что-то ненужное, я не ощущаю, чтобы мне этого не доставало, а значит, и заниматься ничем таким не собираюсь». Впрочем, Софи достаточно часто занимается вещами совершенно ненужными. В комнате ее висят фотографии в рамках: Софи в трехлетнем возрасте, а здесь ей уже четыре, она в красивых, сшитых с большим вкусом платьицах на собственном земельном участке или на фоне огромных отелей в Сент-Морице. Впечатление безумно эстетическое, она любит рассматривать эти фотографии, ведь от них веет гармонией, которая куда-то ушла, Софи не знает куда, но и не пытается ее вернуть, потому что в последнее время ощущает некоторую потребность в грязи и скверне, что является полной противоположностью гармонии. Грязь должна заявить о себе с большим размахом, ибо все, что предпринимает Софи, должно быть стильным и впечатлять. Уж делать — так делать. Никакого сравнения с мелкотравчатым Райнером-подсвинком, который грязь производит мелкими катышками, да и ту сводит на нет, треща без умолку, покуда распоследняя кучка дерьма не превратится у него в золото, и тогда все это только на помойку годится, кому такая грязь нужна. В виде золота — что от нее проку? Почему бы не вывалиться в ней досыта, пока не затошнит, осознанно отказавшись от пресуществления ее в литературу? Достаточно самому знать, что вывалился в дерьме, разве обязательно сообщать об этом всем и каждому? Может быть, описание грязи для Райнера важнее, чем сама грязь? Скучища какая.

Перед огромными железными воротами, ведущими к огромному унаследованному владению, словно из-под земли, как вспыхнувшее пламя свечи, возникает мать Софи, и к ней бросается толпа народу, царапаясь хилыми коготками в ворота ее капитала, однако нет

толпе никакого ответа, так что приходится ей, не солоно хлебавши, убираться прочь. Мать, как могло бы показаться на первый взгляд, вовсе не мучается от абсолютного безделья, она — талантливая ученая-естественница и несказанная красавица, которая реализует себя в своих действиях, что одному удастся больше, другому меньше, ей — явно больше, это несомненно. Сидеть дома без дела — этого мало, нужно еще быть ученой женщиной. Ее появление пробуждает в памяти полотно Климта, которое локомотивом курьерского поезда выныривает из темноты на свет. Голубоватый ее силуэт ни в коем случае не задуман как мемориальный памятник, напоминающий о всех тех, кто при нацистах был обречен подохнуть за принадлежащие ей сталелитейные заводы, напротив, задумана она как художественный объект, прекрасное зрелище для непредвзятого наблюдателя; если и возникнет у кого-либо предубеждение, красоту ее все же нельзя не признать, где бы с ней ни столкнулся. Она увещевает Софи вернуться в дом, чтобы та ненароком не простудилась, да и гости хотели бы ее видеть.

— Твоему приятелю можно полакомиться домашним мороженым на кухне, даже если он съест очень много, не беда, приготовлено достаточно.

— Мою любовь тебе купить не удастся, мама.

И матушка с шипением убегает в дом, бросается на кровать и орет в приступе истерики, орет громко, словно животное, которое режут. Самые сведущие люди не в состоянии смягчить припадок, так что присутствующий среди гостей профессор, медицинское светило, дает ей лекарство, чтобы она заснула. Наплевать ей, что полон дом гостей, она немедленно, на этом самом месте убьет себя, раз ее не любит единственная дочь. Супругу достаются плевки и поношения, стоило ему сунуться с вопросом, как она себя чувствует, дело в том, что происходит он из относительно бедной семьи и изучал машиностроение, ради чего его родителям пришлось пойти на ощутимые жертвы. Однако жертвы давно позабыты, родители тоже, осталась только эта всхлипывающая женщина.

Софи приседает, сгибая ноги в коленях, и кругом павлиньего хвоста раскидывает вокруг себя тюлевую юбку. Тюль шуршит тихонько, как будто сгорают крохотные деревянные стружки. При малейшем движении ветерка низ юбки слегка вздымается, потому что ветру есть куда приложить силы, а вот Софи никому такой возможности не предоставляет. Ткань парит в воздухе, обнажая стройные ноги Софи в тончайшей паутинке чулок, очень дорогих, если подумать, как легко они рвутся. Думать о носкости, долговечности чулок, имея перед глазами это матовое мерцание, было бы извращением, и Райнер изо всех сил старается не думать, с него хватает размышлений о недолговечности его лирики. Радости в этом мало, ведь еще многим будущим поколениям предстоит с вниманием читать его строки. Возможно, однако, что они, грядущие поколения, вовсе не станут этого делать, потому и знать их не будут. Софи в задумчивости (неужели она подумала о его стихах, но нет, очевидно, нет) поднимает с земли маленькую острую веточку и проделывает ею дырку в нейлоне, тянет дальше края дыры, и — вж-ж-ик — трещат петли, чулок такой тонкий, почти невидимый для глаза, но понятно, что там, где раньше был чулок, уже вообще ничего нет, он уничтожен. Прекратил свое существование. Ее волосы так блестят, это результат многих сотен прикосновений специальной щетки. Без этих прикосновений не обойтись, как без масла на бутерброде, правда, при условии что не придется вместо масла обойтись дешевым маргарином. Софи полностью разодрала правый чулок, может, под это дело выпросить у нее пару для Анны, думает Райнер, ведь она портит их намеренно, так что починить невозможно, нет, лучше не надо, только не просить.

— Ладно, я пойду в дом, к гостям, тем более что мама снова на весь вечер выбыла из строя. Если они захотят вдруг послушать мои стихи (Софи тоже пишет, но без особого желания), то прочту им по-французски какое-нибудь похабное место из де Сада или из Батая, их это, правда, не шокирует, но позабавить позабавит. Вот Шварценфельс, тот на днях в клубе обложил последними словами своих карточных партнеров и разбил вдребезги кучу бокалов. Он при полном параде бросился прямо на накрытый стол, только осколки полетели. Стерпели, все сошло с рук, хотя это и дурной тон. Шварценфельс — отъявленный *enfant terrible*, все это признают, ничего не поделаешь. Свинья он. Ездит на «порше», вот бы Райнеру такой, но только не интеллект владельца, цена которого явно невысока.

И сам Райнер далеко не блистает умом, пытаюсь засунуть свою немытую голову Софи между ног. Попытка обречена на неудачу: девушка, уже стоящая на прямых ногах, тренированным движением бедра (*сайд-степ*) отбрасывает его голову, та ударяется о ствол ничего не подозревающей о происходящем ели, сделано все не без умысла, и оттого глухой удар раздается громче, чем надо бы.

— Я люблю тебя, Софи, я хочу сказать, что мне совершенно безразлично все, кроме тебя. Мои лицевые мышцы вздрагивают сейчас самым многострадальным образом лишь для тебя одной. Страданье, однако, есть лишь прелюдия, ибо сейчас я поцелую тебя самым пылким образом, это будет кульминацией. Ты сейчас мягка и податлива, Софи, и мне надо быть грубым и твердым, потому что противоположности притягивают друг друга. Мы очень сильно притягиваем друг друга, и невозможно справиться с этим притяжением.

При очередном порыве ветра купа берез отчаянно стонет, и стон подхватывают две ивы, расположенные на тщательно выверенном расстоянии неподалеку. С пронзительным криком взлетает потревоженная в своем ночном покое птица. В открытом для публики парке покоя не найдешь, а теперь и здесь покой утрачен. Луна, как помешанная, бешено мчится по низкому небу, но на самом-то деле мчатся только облака. Райнер испытующе глядит на луну и что-то произносит на ее счет, ему следует создать такой образ, который еще никому и никогда не приходил в голову, иначе можно было бы просто сказать, что луна серебристым диском повисла на небосводе или что-нибудь в том же духе. Софи говорит, что любовный экстаз есть не что иное, как удовлетворенное тщеславие (цитата из Музиля). Райнер заявляет, что его тщеславие касается лишь искусства, и здесь оно весьма остро проявляется, а в жизни он покончил со всем сразу, и жизнь эта — пропащая потому, что он находится вне общества и его условностей. Его любовь абсолютно свободна от всего, за исключением самой любви. Когда он распахивает лиф ее платья с глубоким вырезом и рассматривает ее грудь, то ощущает, что, увы, все это время стоит в сырой траве и завтра наверняка схватит насморк. Слишком часто подошвы его американских полуботинок укрывали вырезанными из картона стельками, а картон размокает быстро, да и сами подошвы эти не очень прочные; непрочны и подошвы Райнеровых желаний, алчных и постоянно отдирающихся по шву, чтобы выпустить лишний пар.

Софи поправляет вырез, снова прикрывая лифом то, что лифу положено прикрывать, и отталкивает прочь руку этого чудика, чересчур жадную: он не получит то, чего ему хочется. Она повторяет, что Райнеру, будь у него другое материальное положение, не пришлось бы заниматься искусством, а так ведь за искусством люди признают хоть какую-то ценность, хотя оно и нематериально. Райнер отвергает данное определение искусства, потому что плевать ему на людей, он производит искусство исключительно для себя самого, а если этим интересуется еще кто-то — пожалуйста! Может, когда-нибудь его даже напечатают и

издадут! Он зарывается головой в живот Софи, плоский и очень теплый, не набитый камнями; если его сейчас увидит кто-нибудь из ее заносчивых приятелей, сразу ему позавидует, потому что им-то так поступать не дозволено. Для них двоих, для мужчины и женщины, время замирает на мгновение, и это хорошее мгновение, потому что чаще всего время наносит один вред, люди победнее в нем старятся, люди состоятельные могут задержать его ненадолго, но не насовсем, оно вечно наверстывает свое и настигает каждого. Время, в конечном счете, демократично, а сам Райнер таковым не является. Он ненавидит толпу и явственно возвышается над нею. Во впадинке у Софи он чувствует себя, как звериный детеныш, который, не найдя больше пищи на материнском теле, вынужден вернуться в суровую и враждебную ему природу и искать пропитание, и кто знает, может быть, впоследствии ему самому придется давать питательное молоко, если не произойдет чуда и он не окажется избавленным от необходимости продолжать род. Райнера пугает будущее, он боится взросления. Софи теперь действительно надо идти, эту фразу она произносит постоянно, как нам уже известно. Он отвечает, что по лицу ее видно, с какой силой она борется с обуревающими ее чувствами к нему, что ей все равно не удастся с ними справиться, лучше бы эту энергию она употребила на то, чтобы внутри, в доме, хорошенько отхлестать по мордасам всех этих буржуа. Его руки проделывают долгий путь по ее ногам, все выше и выше, пока ноги не кончаются, и руки его тоже, потому что их, к сожалению, отталкивают прочь.

— Тоже мне, анархист, тебе бы только мстить.

— Я вовсе не хочу мстить, с чего бы вдруг, я хочу бессмысленности, возведенной в принцип. Де Сад говорит, что всюду, где права человека будут распределены равным образом, с тем чтобы каждый смог лично отомстить за любую причиненную ему несправедливость, там не сможет возвыситься ни один тиран. Его тут же заставят замолчать. Лишь масса законов становится причиной преступления. Такие законы — не для меня, они что-то значат лишь для тех, кому требуется направляющая рука. А я как раз и способен направить, я хочу повести тебя за собой в будущее, любимая моя. Во мне накопилось столько ненависти, что на двоих хватит.

— И кто же этот второй, для кого ты бережешь свою ненависть? Мне, например, никакой ненависти вообще не требуется, я смогу участвовать в этом и без всякой цели, интересно знать, кого же мне, собственно, следовало бы ненавидеть?

Райнер снова распахнул ее платье сверху и впивается Софи в правую грудь, крохотную и бледно-розовую, как у ребенка, вызывая в ответ сдавленный вскрик, похожий на один из бесчисленных птичьих вскриков, которые часто раздаются в этом парке. Крик тут же обрывается.

— Ой, больно, — так вскрикнула она. — Ты с ума сошел. Наверное, стоило бы поостудить тебя, распалился чересчур. Подожди, принесу тебе мороженого, сейчас принесу.

Газон поднимается и стеной встает навстречу Райнеру, что вызвано приступающей к горлу дурнотой, а дурнота вызвана агрессивностью, агрессивность же происходит от страстного желания, страстное желание вызвано тем, что Софи такая милостивая девушка. Действительность захлестывает Райнера, будто на него выплеснули воду из бассейна. Он погружен в абсолютно непрозрачную влагу, которая проникает во все поры, хотя их отчаянно пытаются закупорить. Когда кто-то начинает его облизывать, он поднимает глаза, но это всего лишь Сельма, охотничья собака Софи, названная так в честь поэтессы Сельмы Лагерлеф, детского литературного кумира Софи, понятное дело, лишенного какой-либо

гениальности, что неудивительно, ведь Райнера Софи в ту пору еще не знала. Райнер обхватывает руками бесчувственное животное, которое, лапясь, жметя к нему. Иногда звери лучше, чем люди, и у них есть чему поучиться. Например, нежности и ласке. Софи недостает и того и другого. Райнер принимает мороженое из рук слуги и неуклюже тащится прочь, давно покинутый Софи и недавно оставленный Сельмой, которая резвыми прыжками на холеных лапах (в настоящий момент она не на службе) несется по газону, преследуя воображаемого неприятеля. Райнер ввинчивается в темноту, навстречу неприятелю, который слишком реален, вероятно, этот враг — он сам, потому что подростковая особь мужского пола — всегда злейший враг самому себе, что является следствием буйства гормонов. Он открывает ворота парка и движется по улице, становящейся все более убогой по мере его дальнейшего продвижения. Фигура его все уменьшается, не оттого, что он отодвигается вдаль, а потому, что он мельчает вместе с окружающей его средой и умалется ею. Только что, в парке, он еще был кем-то, теперь же, в трамвае, он — Никто. Ужасно сознавать это, ибо возникает опасность полного исчезновения. Мрак поглощает парковую решетку, словно ее никогда и не было. Парк исчез, Райнер — пока еще нет, но он уже находится в другом месте.

Позади него исчезает все, что есть светлого, имя этому Софи — и никогда не задержится надолго. Райнер вечно вынужден оставаться там, где он есть, потому что из собственной своей шкуры выпрыгнуть невозможно, здесь он — в виде исключения — похож на остальных людей, которым такое тоже не дано.

— Теперь, когда я побывал в больших домах, тесные помещения, такие вот, как это, кажутся мне еще теснее, — раздраженно говорит Ханс и в досаде пинает ногой стену квартирнки, выстроенной городскими властями для малоимущих. Квартирка не виновата, что маленькая, ведь для жилья она пригодна, потому что в ней имеется все, что нужно человеку для жизни. Немного, так как человек может обойтись малым, если надо. Оттого и квартира эта может предложить немногое.

И сюда врывается ветер, но это ветер городской, несущий грязь и пыль со строек, которые возникают на месте последних развалин и скоро сделают Вену еще прекраснее. Струится мягкий свет, и нетрудно заметить, что весна нынче уже в самом своем начале мягкая. Такой свет характерен для старого венского района, он ничего не оставляет без внимания, не высвечивая, однако, ничего, достойного особого внимания. Воздух сух, в нем время от времени обитают осколки стекла, насекомые, вирусы гриппа. Девушки с прическами «конский хвост» и в юбках колоколом проплывают в этом воздухе; их главное достоинство — молодость, которую они скоро утратят. Им доставляют радость танцы и музыка, этажом выше обретается радость от будущей профессии, тут есть широкий выбор, потому что нынче господствует конъюнктура. Вовсе не обязательно, что выбранная профессия вознесет тебя на этаж выше. Бывает и так, что она просто давит на тебя сверху.

Одно воспоминание о молодости, засевшее в Хансе, выглядит следующим образом.

В кино «Альберт» за пять шиллингов можно сесть в первом или во втором ряду и посмотреть, как выглядит эта самая конъюнктура рынка, в которую скоро надо будет окунуться самому, пока же она существует лишь для других, и рассматриваешь ее пока что извне. На ней элегантные костюмы, пошитые хорошими портными, туго облегающий корсет, на ней платья в народном духе с глубоким вырезом, а еще она одаряет поцелуем Рудольфа Прана, Адриана Ховена или Карлхайнца Бема^[13]. Все изменилось к лучшему, а если пока не изменилось, то наверняка скоро изменится. В 1937 году на 100 предпринимателей приходилось 100 рабочих. В 1949 году предпринимателей 115, рабочих — 85. Ежели конъюнктура рынка предстает в облике мужчины, то одаряет поцелуем Марианну Хольд или славную Конни, девчонку что надо, правда, для людей помоложе. Иногда конъюнктура даже поет! Поет она в мужском обличье, исполняет шлягеры, и зовут ее Петер Краус. Нередко имеют место смешные недоразумения, в результате которых обнаруживается, что Кристиан Вольф в действительности — сын генерального директора, хотя на него нисколько не похож, зрители его вообще ни на что не похожи, да они это самое ничто и есть. Конни — озорная девчонка не робкого десятка и с лету в него влюбляется, еще когда он не был ни на что не похож. Это говорит в пользу ее сердца и характера, а в них-то все и дело. Набриолиненные коки зрителей раскачиваются в такт, наподобие петушиных хвостов, в радостном предвкушении того, что вскорости, вот-вот, прямо сейчас, под ласкающими девичьими руками, принадлежащими начинающим парикмахершам или будущим секретаршам, станет ясно, кто и что они есть на самом деле, а именно — набриолиненные коки стажеров, учеников на производстве и молодых служащих. Нельзя казаться большим, чем ты есть на самом деле, вот какой урок можно извлечь отсюда. Герои в кино порою даже намеренно хотят казаться меньше, чем они есть на самом деле. Вот что совершенно непостижимо. Порою девичьи руки в темном зале опускаются этажом ниже, хватаясь за

бледный инструмент, который никогда не видит дневного света, только лишь собственные плавки изнутри, но часто прибор этот, изнуренный сидячей деятельностью, вообще не шевельнется, не шелохнется. Порою он сразу вскакивает, тут как тут, не очень-то спрашивая о чувствах обслуживающего прибор персонала. Ему бы только брызнуть, и он уже доволен, но не в кулачок, конечно. Вот так вот.

Порою и Эдит Эльмай, обладающая непомерным бюстом, являет себя именно той, кто она есть на самом деле — дочерью фабриканта, а ведь по виду никак не скажешь. Но зритель знает это с самого начала и радуется восхитительным сценам недоразумений, когда один вешает другому лапшу на уши из побуждений высокой, но неправильно понятой любви, которой все равно уготована победа. Мы бы никогда не допустили, чтобы путаница стала угрозой для зарождающейся любви, потому что кто знает, когда придет следующая любовь; уже большая удача, что и эта-то нашлась.

Многие подростки из публики, которые мнят себя средоточием мира, потому что в этом кино главная героиня — такая же простая девчонка из дома напротив, ничего особенного, мечтают уже о собственном авто или хотя бы о мотороллере, стоило только их родителям в установленном законом порядке получить назад свою изувеченную войной жизнь и чего-то такого добиться в затхлой, безвыходной тесноте. Способна ли их жизнь хоть как-то функционировать или уже насквозь проржавела и мхом поросла? Нет, заржаветь она никак не может, ведь у родителей ни минутки нет свободной для праздной неподвижности, не залежишься, суетиться надо, возрождать отечество из руин. Тут уж эгоистическим устремлениям придется помолчать, а нос высовывать позволено лишь желаниям: хотим новый пылесос, новый холодильник или новую радиолу — чтобы оживленной раскручивалась торговля и двигала бы, в свою очередь, общественный прогресс. Торговля зашевелилась и идет вовсю, а вот прогресса-то никакого не видать. Совсем недавно одна газетенка социалистической партии в Граце призвала устранить зачинщиков и главарей забастовки, задушив тем самым всяческое движение к переменам, так что одна лишь реклама теперь оживленно движется вперед, благодаря ей изменился облик улиц, которые стали пестрее и радостнее.

Рут Лойверик со слезами на глазах целует О. В. Фишера. Мария Шелл со слезами на глазах целует О. В. Фишера.

Со слезами на глазах родная матушка-голубушка разглядывает подгоревшее воскресное жаркое, которое по незначительности перестояло у нее в духовке. Мясо нынче дорого и в некотором роде роскошь. Все чаще в кадр протискиваются Альпы, все явственнее доносится звучание народной музыки. Близнецы заселяют долину Вахау, романтическую благодаря множеству старинных замков, или богатую романтическими пещерами гору Дахштайн, они без передышки поют, пока каждой из девушек не достается подходящий супруг, рука об руку с которым они и уединяются в приватной жизни. Их зрителей тревожит то, что и у этих ослепительно глянцевого людей всего-навсего одна частная жизнь, так же как и у них самих, и стоит ее потерять, новой взамен уже никто не даст. Главное дело — чтобы прожить свою частную жизнь в добром здравии. И сделать все возможное, чтобы хорошо заполнить эту самую частную жизнь, чего одни пытаются достичь на собственной вилле на берегу озера Вольфгангзее, а другие — в муниципальной квартирке с общим водопроводным краном в коридоре, ведь самое главное — воля, а путь найдется. Но даже у киношных сестер-близняшек Кесслер, роскошных блондинок с умопомрачительными (как можно предположить) ножками, нет в распоряжении двух жизней, то есть, конечно, их у них две, но

на каждую приходится только по одной. Петер Векк подруливает на новеньком «спорткабрио» с откидывающимся верхом, чтобы тут же умчаться прочь — с ветерком, что тоже можно предположить. Только что он был одинок, а теперь рядом с ним в авто сидит очаровательная Карни Коллинз с ямочками на щеках, которая, прильнув к нему, так и пышет обаянием. Она никогда не покинет его в течение ближайшего часа, а может быть, и вообще никогда. И любая другая на ее месте тоже не сделала бы такого, потому что слишком долго искать надо, пока найдешь настоящую, большую любовь, а коли уж вот она, то сразу с места не срываються, от добра добра не ищут. И сидящие в кинозале девушки тоже бы такого никогда не сделали. Они каждый раз остаются с милыми настолько долго, насколько это возможно, а когда их все-таки грубо прогоняют, они льют слезы от любовной тоски, даже самой Марии Шелл частенько приходится этим заниматься. Иногда, в самый решительный момент, какой-нибудь молокосос начинает мешать всему залу, звучно сплевывая пивную слюну, задирая кого-нибудь из близсидящих, а потом плетется домой, и там ему задают выволочку, что создает некое равновесие, залог стабильности. По дороге многие бросают обидные реплики, придираясь к его неопрятной верхней одежде из кожи, которая ему именно по этой причине и нравится и на которую он долго копил. Он и так знает, что никакой Карни Коллинз ему никогда не заполучить, потому что она уже принадлежит Петеру Векку, но все равно очень старается, прямо из кожи вон лезет. Даже Хайнц Конраде, звезда местной величины, хотя и в годах уже, целует наконец-то девушку; он популярен у зрителей постарше, потому что располагает к себе человеческими качествами; нынче эти люди постарше уже не в фаворе, потому что не столь активно участвуют в процессе производства общественного продукта, поэтому могут и обойтись чем попроще, хватит с них и доморощенной знаменитости, не надо приглашать зарубежную звезду. Хайнц Конраде служит доказательством того, что у людей пожилых сохранились ценности, а молодые только за показным, за внешностью гонятся. Молодежь оплевывает стариков заодно с их ценностями, но пройдет несколько лет, и она, став постарше, перебесившись и остепенившись, сама к этим ценностям обратится. Ханс теперь тоже постарше стал, но все никак не утихомирится. Став постарше, молодежь себе даже квартиру в собственность покупает, если может себе такое позволить. Солнце закатывается, как это с ним уже не раз случалось, и Мария Андергаст поет дуэтом с кем-то там, имя его я уж и не помню, то ли с Атилой Хербигером, а может, с его братом Паулем. Петер Александер поет дуэтом с Катариной Валенте. Катарина поет дуэтом с Сильвио Франческо, который приходится ей родным братом, она поет что-то смешное и корчит рожицы, по гримасам сразу видно, как ей сегодня весело, настолько весело, что даже у самой в голове не укладывается. Лолита поет сперва про моряка, а потом — дуэтом с Вико, который тоже веселится вовсю, да так, что за ослепительным оскалом зубов почти не видно его лица. Моряк делает прощальный жест, расставаясь с мечтой, а туристические фирмы делают большую прибыль, продолжающую расти неуклонно. Вико вращает глазами так, что одни белки видно, тут и до эпилептического припадка рукой подать. Если дальше будет продолжаться в том же духе, придется ему между зубов вставлять деревянную распорку и язык вытаскивать, чтобы талантливый швейцарский певец не задохнулся, чего доброго. А не то его многообещающее будущее досрочно закончится. Крохотные оленятки Бэмби пугливо шастают по экрану, их тоненькие оленьи ножки так милы, что оленят отрывают от земли и прижимают к высокой груди, затянутой корсажем, у оленят от этого свешивается на плечо язык и глаза на лоб лезут. Ни одна исполнительница хоть какой-нибудь главной роли не может просто так

оставить Бэмби, это лесное животное, в покое, не может позволить ему спокойно стоять на земле. Все очарованы, все без ума, такой он славный, нежный, и силуэт его вдаль, у опушки безмятежной. А вот поднимает его на руки не кто иной, как сама Вальтрауд Хаас, прозванная Зайчиком Хази, она играет златокудрую круглую сиротку, которая попадает в хорошие хозяйские руки пастора из Кирхфельда. Ее хотят соблазнить, но она успевает удрать. Юные продавщицы в зрительном зале со слезами на глазах стискивают свои бедра, так что пробирающаяся меж ними рука токаря или сварщика оказывается заземленной и не имеет больше пространства для маневра, рука стремится проникнуть внутрь, в глубину, но ее пускают лишь в глубину пакетика с поп-корном, только что изобретенного в Америке и чуть не лопающегося от изобилия — до того плотно он этим поп-корном набит. Испытанный прием из бусидо на сей раз задушен в зародыше, потому что Конни, играющей задорную и смешливую Мариандль, как раз предстоит сдавать экзамены в консерваторию. Зрители с охотой потеют в кинозале, наблюдая, как Конни в поте лица своего трудится, готовясь к экзаменам, ведь пот, пролитый в часы досуга, намного приятнее трудового пота, поскольку выделяется он в добровольном порядке. Конни обучается классической, серьезной музыке, но гораздо больше ей нравится петь веселые эстрадные песенки в ночном баре, где ее выслеживает директор консерватории, который потом от всего сердца хохочет над прегрешением лучшей своей ученицы, которая скоро выйдет замуж за состоятельного молодого человека, даже если сейчас пока противится этому. Иногда Конни в фильме громко вздыхает, что вообще-то не в ее характере, который легок и беспечен, как и подобает юности (серьезность и так достаточно рано приходит), но дела сердечные и ее порою печалят, прямо даже не верится. Однако всем понятно, что любовные огорчения вскоре будут преодолены. Биби Джонс и Петер Александер дуэтом поют о любви, о джазе и о мечтах, им хочется иметь утопающий в цветах домик у моря, у синего моря. Эрстик наш, к сожалению, возвращается домой все позже и позже, хочет, чтобы ему купили «фольксваген», но лучше бы ему жениться. В конце концов и четыре девушки из Вахау находят путь под венец. Не под местный венец, не под венец из Вахау, потому что выходят они за городских, которые, будем надеяться, не слишком прагматичны, что среди городских не редкость, лучше бы им выйти за кого-нибудь из своих, из деревенских, он-то знает, что имеет ценность, а что — нет, сколько она, эта ценность, стоит и откуда ее взять, а именно — у той же природы.

Хансова мамаша-конвертщица прерывает мыслительные полеты своего сына, потому что ей хочется улучшить его умственные способности. Это ей не удастся, потому что он прислушивается к одному только рок-н-роллу, смысл которого ему часто растолковывает друг его, Райнер. В данный момент перед Райнером стоит бокал кампари с содовой, и он объясняет принципы воздействия современной музыки, Ханс бы в это время с большим удовольствием подвергся бы воздействию этого самого принципа воздействия, чему Райнер своей пустопорожней болтовней только мешает. К тому же Райнер уже трепался, что лично знаком с одним музыкантом, но все это вранье. Он вообще ни одного музыканта не знает, а только так, выпендривается. Райнер всякий раз и на любую тему читает целые обзорные лекции, которые не интересуют ни одну свинью. И мать сейчас тоже раздражается целой лекцией, чтобы расширить кругозор сына и привить ему дальновидность, только впустую все это. Сегодня, как и всегда, лекция по истории, что Ханс уже проходил и усвоил. Мать раскрывает какую-то книжку и читает безо всякого чувства и выражения: В пятницу, шестого октября 1950 года, шиллинг девальвировали по отношению к доллару — вместо

четырнадцать шиллингов за доллар давали двадцать один шестьдесят, что якобы лишний раз доказало, что соглашение по тарифам заработной платы и динамике роста цен, заключенное в том же году, предусматривавшее будто бы полную компенсацию растущих цен, было явным жульничеством и обманом народа. (И что с того? Шиллинги нужны, чтобы кутнуть в кафе «Хавелка» или в Пикассо-баре.) Мамуля докладывает далее, что многие из профсоюзных функционеров от социал-демократии вышли из старой своей партии, которую они успели уже полюбить, потому что не могли вынести — в душе не могли — ее сближения с реакционной Народной партией в совместных действиях против борющихся рабочих. И если тебя, члена социалистической партии, секретарь профсоюза, тоже член социалистической партии, обзывает подонком, то из такой партии нужно выходить. И так далее, и тому подобное, продолжает нудить матушка, не отрываясь от своих конвертных трудов, будто ей за них хоть что-то платят, ведь так оно и есть. Однако ей это необходимо. Хотелось бы, конечно, заняться чем-нибудь поинтереснее, для чего она, однако, уже слишком стара. Ибо будущее принадлежит молодой рабочей силе, да и настоящее тоже. И в недавнем прошлом молодости тоже была предоставлена возможность, в первую очередь — возможность околевать. Никогда ее не обделяют вниманием, всегда она впереди. Если старое дело стало невыносимым, нужно начинать новое. Ханс находит невыносимой свою прежнюю жизнь и стремится начать новую. «Если невозможно дольше выдерживать ставший невыносимым брак, то нужно уйти», — размышляет Ханс, видевший это в одном американском кино, где тоже показывали семейные проблемы. Вообще-то ему больше нравится смотреть немецкие фильмы, не то чтобы он любил все отечественное, а потому просто, что они всеми этими проблемами на мозги не давят. У Джеймса Дина действие разворачивается так быстро, что часто за ним и не уследишь, не успел в одну проблему вникнуть, как уже новая появляется. Лучше уж один раз быстро и окончательно все разорвать, пусть будет больно, но поболит и перестанет, чем ужас без конца. Ханс думает об Анне, о ее дыре, о том, что старое должно уступать место новому, ведь лучшая жизнь уже стоит наготове и дожидается, в ином случае вполне можно оставаться при старых обстоятельствах, которые, однако, оставляешь ради чего-нибудь получше и поновее. Тут все дело в том, чтобы правильно выбрать момент, когда осуществить этот разрыв. Сердце подскажет, оно и без того все время подсказывает, чего тебе хочется. Хансово сердце громко произносит имя Софи и прыгает так, что приземляется в яме с песком для прыжков, преодолев четыре с лишним метра, браво! У Ханса трудности частного характера, у матери его — проблемы общественные, которые ему не интересны, потому что не приносят очевидных преимуществ и только время отнимают. Работа, к сожалению, тоже отнимает время, а именно то время, в течение которого ее делаешь, но зато хоть деньги несешь в дом; на эти деньги можно потом добраться и до настоящего качества, когда разовьешь в себе чутье на него. Ханс начинает яснее осознавать свои чувства к Софи, на что в кино часто уходит сперва уйма времени, а потом, ни с того, ни с сего, все начинает развиваться стремглав, обретая огромную пробивную силу.

Софи, она же Вера Чехова, она же Карин Бааль, — все они такие классные и крутые девчонки; на мокром асфальте городов они совершают преступления, крупные и помельче, и все ради какого-нибудь мужчины, идут, так сказать, неверной дорожкой. Но стоит Хансу сказать им: «Нет, вступи на иной путь, откажись от бесчестья!» — и они тут же признают его правоту, а на завтра уходят вместе с ним и начинают жизнь заново, тратя ее на кое-что получше, чем нарушение закона. Это Ханс наставил их на путь истинный, потому что он их

любит. Отважный сотрудник отдела социального призрения помогает ему в этом, хотя в данном случае помощь Хансу и не потребуется, силы воли у него на нескольких хватит. Порою то тут, то там кого-нибудь убивают, и он мертвый лежит на мостовой. Нельзя доводить до того, чтобы хватались за огнестрельное оружие, на путь исправления нужно вступать заблаговременно. Преступление вовсе не обязательно должно быть составной частью счастья и удачной карьеры, напротив, оно полностью исключает и то и другое. Для того чтобы сделать карьеру, нужно стать достойным доверия, этот первый шаг Ханс уже сделал, потому что Софи ему доверяет. И немедленно, сию же минуту последует второй. Иногда Райнер хвастается пистолетом, который, как он говорит, принадлежит его отцу, но который ему разрешено брать, когда захочется, опять врет и задается, что неудивительно, уж Хансу ли этого Райнера не знать. Хотя иногда отец разрешает ему вести машину, даже без прав, что опять же правда, Ханс сам видел. Другое дело, что это может плохо кончиться, а именно — Райнер может погибнуть, может ранить себя, может оказаться под судом.

Карин Бааль стремглав вбегает в луч света от автомобильных фар. Ханс стремглав гонится за Софи, настигает ее, сбивает с ног и растолковывает ей, что именно честная жизнь — самая долгая, равно как и самая надежная. Она ему без колебаний верит. Плащ Веры Чеховой элегантен, он из переливающейся материи; пожалуй, при случае в таком вот плаще и мужчине показаться можно.

Мать просит Ханса принести ей с плиты суп, который она себе разогревала. Она уложила на подушку больную ногу. Вокруг нее ворох бумаг: во вторник, двадцать шестого сентября 1950 года, почти 200 предприятий в Вене начинают забастовку, 8000 демонстрантов продвигаются к оцепленной полицией Бальхаусплатц и проводят манифестацию перед резиденцией федерального канцлера.

Среда, семнадцатое сентября: в Вене, Линце, Штайре и других промышленных центрах, прежде всего в Винер-Нойшгадте и Санкт-Пельтене, проводятся мощные акции протеста и митинги. Забастовочное движение достигает своей высшей точки.

Ханс идет за супом, тайком отправляет в тарелку смачный плевок, тщательно перемешивает и отдает матери, как будто он и вовсе туда не плевал.

Суббота, тридцатое сентября 1950 года: в монтажном цехе Флоридсдорфского локомотивного завода созвана всеавстрийская конференция представителей заводских рабочих комитетов. Она насчитывает 2417 участников, не менее 90 % из них — председатели комитетов. Выдвигаются следующие требования: первое — отмена повышения цен, второе — отмена девальвации шиллинга. Правительство отвечает призывом защитить свободу, угрозу которой несут безрассудные действия рабочих представителей; оно не позволит запугать себя, не пойдет на поводу у насильников, которыми являются коммунисты. Необходимо разрушить противозаконно возведенные на улицах баррикады и изгнать самонадеянных наглецов, захвативших промышленные предприятия, ибо эта забастовка подрывает самые основы будущего рабочего класса, а именно — всеобщее благосостояние, наиболее лакомый кусок которого, как широко известно, достается самим рабочим, несмотря на то что, говоря по сути, те его даже не заслужили. Мать проговаривает еще несколько текстов в том же духе.

Ханс встает и уходит. По пути он как бы ненароком смахивает высоченную кипу газет и книжек с кухонного стола сознательной и образованной пролетарской семьи. Не удостоив взглядом весь этот мусор, он быстро выскакивает за дверь.

Хотя у Райнера нет еще водительских прав, отец иногда разрешает ему пользоваться своей машиной, которая, вообще-то, для них слишком дорогое удовольствие. У отца нет материальной основы, есть лишь основополагающие принципы, однажды он уже был осужден по причине злонамеренного банкротства. Ему трудно смириться со своим неудержимым падением, и любой пустяк вселяет надежду. Однако он вполне может смириться с тем, что его несовершеннолетний сын водит машину, не имея водительских прав. Главное дело — машина есть, в чем Райнер полностью с ним согласен. Однако разрешается ему садиться за руль только тогда, когда он везет отца, и лишь в самых исключительных случаях по своей надобности. Инвалид с трудом втискивается в легковое транспортное средство и снова выкарабкивается из него, занятие тяжелое, требующее больших усилий, так что потом едва дух переводить. Сегодня выдался такой вот день, когда он неожиданно принимает решение ехать в городок Цветль, что в Вальдфиртеле. Места там красивые. Едва решение принято, он тут же, прямо в супружеской спальне, где мужчина и женщина вступают, как правило, в интимные отношения, охаживает свою супругу Гретель нагайкой, одним из многочисленных сувениров, сохраняемых в память о прошедших временах. Среди сувениров есть и штык-нож. До слуха сына и дочери почти ничего не донеслось, кроме едва слышного «ой!», но и этого достаточно, чтобы понять, что мать опять бьют за супружеские прегрешения, выразившиеся в акте измены.

— Ах ты, шлюха, грязная шлюха, сразу с другим мужиком в постель норовишь, стоит мне за дверь выйти. И я знаю с кем, с тем самым лавочником снизу, уж я за вами наблюдаю, будь спокойна. Долго я на это дело смотреть просто так не буду, хватит.

— Да нет же, Отти, в постели я только с тобой бываю, и никого мне больше не надо.

— Не оправдывайся, ты только и ждешь, когда останешься наедине с этим импотентом!

— Нет, я не жду ничего подобного, я всю жизнь посвятила только детям и их образованию.

— Ага, сама созналась!

— В чем же я созналась, Отти?

— Как бы там ни было, я тебя все равно сейчас проучу, чтобы запомнила надолго и чтобы впредь nepовадно было заниматься такими вещами, а если даже и не занималась, задам трепку, чтобы такое тебе и в голову не могло прийти.

— Но ведь я таким вообще никогда не занималась, пожалуйста, не бей, Отти, ой!

Это и было то самое «ой», которое донеслось до брата с сестрой из-за закрытой двери. Райнер говорит.

— Анни, опять этот старый хряк за свое, надо как-то вмешаться.

Анна отвечает:

— Что мы тут можем сделать? Плюнь на предков, нужно о самих себе позаботиться.

— Ведь он же ее ужокошит.

— Ну и пусть, одним меньше станет, а второй тут же в тюрьму сядет, где наверняка сдохнет в одиночестве. Тогда бы мы наконец-то освободились.

— Да у него же там пистолет.

— Ну и что? Он ведь жуткий трус.

И мать, не получив от своих детей защиты, покрытая синяками и источенная червями,

как всегда, торопится в кухню, чтобы приготовить завтрак посытнее, потому что воскресенье. Анни собирается сегодня подольше поупражняться на фортепиано, а потом пойти погулять с Хансом, а вот Райнеру предстоит везти отца в Цветтль, куда того вдруг потянуло, чтобы развеяться и успокоить нервы. Он предпримет попытку изменить своей жене, которая не увенчается успехом, однако в любом случае дело стоит того, чтобы надеть ради него свежую сорочку. Всегда он таким франтом разрядится, как на картинке, папа-то наш. Он найдет себе женщину помоложе, чем мама, которая намного моложе его; для этого он даже освоил элегантный и чистый немецкий выговор, что привлекает внимание и вызывает интерес.

— Давай поторапливайся, пошли живей, а то нынче вообще с места не сдвинемся, мне же ужасно не терпится попасть в Вальдфиртель. Ты машину поведешь, парень, ты ведь мой сын, а так ведь, кроме тебя, у меня всего-навсего дочка.

А еще папа разрешит вечером поиграть с ним в шахматы, чего он Анне не разрешает ввиду отсутствия у нее логического мышления. Как жаль, что придется оставить на время философские книги Канта, Гегеля и Сартра: коли уж папочке приспичило ехать в Вальдфиртель, то это неизбежно.

— Если я вернусь и снова застану тебя в постели с тем самым лавочником, тебе конец. Сегодня я не кричу об этом во весь голос, как раньше, ибо ты, Гретель, уже неоднократно игнорировала мои предостережения, о нет, сегодня я объявляю это хладнокровно и с присущей мне решительной жесткостью, я убью тебя из моего «штейера» и буду абсолютно прав.

— Христос с тобой, Отти, нет же, нет, я ведь его и не знаю вовсе, он хороший семьянин, в лавку к нему захожу, только когда что-нибудь в дом купить нужно, да и тогда тороплюсь, слова лишнего с ним не скажу.

— Знаю я, как ты торопишься, — всегда чистые трусы надеваешь, перед тем как в лавку идти, вот тут-то я тебя и раскусил.

— Я для чистоты, чтобы не пахло, когда на люди выходишь, только и всего, Отти. У меня ведь, правда, никого другого нет, кроме тебя и детей, которым я хочу дать достойное гимназическое образование, потому что сама родом из уважаемой учительской семьи.

Анну трясет от отвращения, и она направляется к фортепьяно, чтобы найти забвение в царстве звуков, каковое она и находит, потому что, музицируя, необходимо полностью сосредоточиться на музыке. Отец ворчит: «Что за мерзкие звуки...» Анни — любимица матери, потому что тоже чувствует все по-женски, и та, проходя мимо, ласково похлопывает ее ладонью по спине, чем доводит дочь до белого каления.

Отец и сын, один скучая, другой натужась, усаживаются в легковой автомобиль, в котором всего четыре места (но сегодня заняты только два), и едут по северной магистрали, удаляясь от дома и приближаясь к живописной природе и к стоящему посреди ее великолепия загородному ресторану, где есть возможность познакомиться с дамами, которые располагаются там сперва в одиночестве, а потом частенько уходят из него в компании. По обеим сторонам шоссе высятся поросшие лесом пологие вершины и горные луга, вжимаются в низины искусственные водохранилища, что характерно для этой местности, чуть в отдалении граничащей с Чехословакией, здесь уже ощущается суровый ветер соседского коммунизма. Воздух становится холоднее, потому что к северу направляемся. В эти места весна еще не совсем добралась. Пахнет еловой хвоей, как от аэрозоля, который продают в магазине, домишки становятся скуднее, беднее, дворы в

запустении, как и полагается для находящейся в бедственном положении области. Птицы предостерегающе кричат, нужно быть внимательным на дороге, чтобы не попасть в аварию, олени появляются на горизонте, но тут же с испугом и отвращением исчезают в исконной своей природе, потому что автомобили чадят выхлопными газами, и это не замедлит обернуться большой бедой, если они и дальше будут размножаться с такой скоростью. Пока еще автомобилем обзавелся далеко не каждый.

— Жалко, что приходится мириться со всеми этими машинами, ведь природа сама по себе радуется своей чистотой, — весело говорит отец, как будто он только что не грозился кого-то убить.

Сейчас он просто ноль без палочки и полностью во власти своего крутящего баранку сына.

— Ты ведь мой мальчуган, второго она, моя Гретель, так и не смогла смастерить. А еще эти мужики твою мать все время на порнографию снимают, я тебе при случае карточки покажу, самое грязное свинство, какое ты только в своей жизни видел. Если бы эта похабщина не была сделана чужими мужиками, я бы сказал, что некоторые снимки получились не так уж и нехудожественно, но похотливые и развратные намерения их, к сожалению, сводят на нет все эстетическое воздействие. Тьфу, гадость какая.

Сын играет желваками и молчит, бессмысленно защищать маму, потому что тогда папуля примется нападать на нее еще сильнее, взбесится совсем. А так — сам по себе отойдет. Костяшки Райнеровых пальцев белыми пятнами выделяются на руле, как будто еще чуть-чуть — и прорвут кожу. Тут может помочь только одно — думать о Софи, которую он сегодня не сможет увидеть из-за папочки и его охоты постранствовать. Будем надеяться, она не станет смотреть ни на кого другого. Им так хотелось поговорить о Камю, об «Абсурдном рассуждении», а теперь им поговорить вообще не удастся, потому что Вальдфиртель тянет и манит, соблазняет и вопрошает: Откуда ты? Городской? Тогда тебе сюда, в самую точку, у нас тут все деревенское.

Отца злит молчание сына, и он высказывает подозрение в кровосмешении:

— Ты уж, поди, тоже перепихнулся с мамочкой, пока меня дома не было, когда я горбатил на вас, надрывался?

Одинокие деревеньки возникают у шоссе и разочарованно пропадают сразу же после того, как авто проносится мимо, к сожалению, ими пренебрегли, в них никто не остановился пообедать, для этого выберут другую деревню. Цветтль не слишком отличается от других мест, хотя он побольше и располагается на берегу искусственного водоема. Наконец-то он показывается впереди и производит приятное впечатление, ему не привыкать, частенько он в этом упражнялся, здесь есть даже монастырь, осматривать который отец и сын не собираются: требовать такого от инвалида войны было бы слишком. В воскресенье городская жизнь стихает, и в Цветтле царит уютная безмятежность. Отец и сын съедают по славному шницелю с салатом из огурцов и выпивают по кружке пива. Они уютно сидят в старом трактире, сохранившем все обаяние сельской простоты. Отец уже вовсю подмигивает ядреной брюнетке не старше двадцати пяти лет, одиноко восседающей за соседним столиком, что же так — в полном одиночестве, такая симпатичная девушка, а скучает, и отец заказывает для нее порцию шоколадного торта, да взбитых сливок, пожалуйста, побольше и бокал вина впридачу. А потом еще и кофейку. Девушка визгливо хихикает.

— Ну что, красавица, как бы нам познакомиться поближе, все лучше, чем сироткой сидеть! Не смотри, что инвалид, я еще хоть куда, и в скачках толк знаю, не смотри, что на

одной-то ноге.

— Хи-хи-хи, гы-гы-гы.

Она пересаживается за их стол, поближе к папе, который угощает ее «Поцелуем любви» — яичным ликером с малиновым сиропом и взбитыми сливками. Это жутко дорого и на вкус противно. Вот сколько папуля на нее уже потратил. Сына вот-вот наизнанку вывернет. Отец разрушает толстухе ее высокую прическу, обе руки погружая в это птичье гнездо.

— А позвольте осмелиться, хо-хо-хо.

— Позволяю, командир, хи-хи-хи.

Девушка инспектирует сына с головы до ног, тот похож на господина студиозуса. Сын остановившимся взглядом инспектирует пестрый рисунок оконной занавески из искусственного материала. Инвалид производит смотр тому, что скрывается под юбкой с передничком и лишь его одного и ждало все эти годы. Его рука подтягивается вверх, к покрытым мраком высотам, тогда как сын воспаряет к высотам лучезарным, где он слагает стихотворение:

«Вас, словно выцветшие клочки бумаги, носит по самому дну ущелья. Я — великое, несказанное подспорье, возопившее о себе самом. Я пребываю во всех образах послезавтрашнего дня».

Отец запустил руку девушке в глубокий вырез на груди, да так, что того и гляди все выплеснется сейчас через край; еще немного и их троих выставят отсюда за дверь. Но трактирщик, тоже ветеран войны, как отец, и член партии еще с тех времен, когда она была под запретом, вдруг возникает перед ними в отличном расположении духа и угощает всех по рюмке за счет заведения. Когда что-нибудь предлагают задарма, отец ни за что не откажется. Он уже под хмельком и отпускает пошлую шуточку, хватая ли у девушки годков, чтобы промышлять на панели, слишком уж по-девически она застенчива, как первоклашка.

— Ха-ха-ха, ги-ги-ги. Может, вы чему такому меня научите, мужчина.

— Вас уже едва ли чему нужно учить, но коли хотите кое-чему взаправду научиться, то это только у меня.

— Хо-хо-хо. Хи-хи-хи.

Потом веселенькая компания все-таки распадается, после того как задан был уже вопрос, были ли у мальчика какие-нибудь амуры или еще нет и разрешают ли ему вообще, гордый отец отвечает утвердительно и добавляет, что сам его и учил. Но у Райнера ничего такого никогда и не было, что позволено знать только сестре, потому что разглагольствования его свидетельствуют об обратном. По его словам, бывало это часто, со множеством самых разных девушек, и всех их Райнеру пришлось покинуть, к сожалению, слишком рано. Такие вещи указывают на недостаточную социальную приспособленность. Не поперхнувшись, он чешет, как по книге, ведь книг он из рук не выпускает.

Весь обман от книг. Лучше честный сын, обучающийся ремеслу, чем враль-гимназист.

— Пока-пока, — прощально машет ладошкой девушка, звать которую Фрида, а работает она на сахарозаводе. Худой конец делу венец.

— Я бы в два счета ее расстелил, делать нечего, одним пальцем и еще кое-чем, — брызжет слюной папочка, засовывая руку в карман воскресных брюк, которые недавно отутюжены, но долго таковыми оставаться не будут. Там, в брюках, без устали двигаются и шевелятся прилежные пальцы, которые давненько уже не выполняли никакой ручной работы, последний раз — на войне, занимаясь ремеслом убийцы. Сейчас на очереди как раз обратное. Отец трет свой член с намерением вызвать семяизвержение. Это доставит

облегчение после сытного обеда, затем он наверняка умолкнет и заснет. Но в настоящий момент у него наличествует еще потребность порассуждать о свойствах и качествах бабьих дырок, которые иногда бывают скользкие и широкие, а бывают, опять же, сухие и узкие, так что их надо сперва подрастянуть.

— Слушай внимательно, парень. Болт у тебя должен стоять, как следует, а то все насмарку пойдет, вот — как у меня, например, посмотри, ну разве не роскошный экземпляр?

Из открытой ширинки с любопытством выглядывает лиловый гриб, сейчас ка-ак брызнет на лобовое стекло, вытирай потом все это дело.

Райнер сглатывает собственную блевотину, вкус которой еще отвратительней, чем когда шницель был еще не прожеван и не пропитан желудочным соком. «И такой человек все это проделывает с моей матерью, — думает он. — А ей приходится сносить супружескую обязанность. И все-таки мне хочется заниматься этим самым с Софи, но с ней-то у меня все будет совсем по-другому».

Отец ускоряет темп и тяжело сопит. Через довольно регулярные промежутки времени в кабине их ржавой консервной банки раздается пивная отрыжка, а то и звуки выпускаемых газов, чего Райнер особенно опасался. По объездным дорожкам он ведет машину к водоему, и вот уже природа угрожающе близка, разверзла всасывающее жерло, чтобы втянуть Райнера в себя. Зелень становится кричащей и чреватой опасностью, так ее много. Похоже на огромную пещеру из шпината. Запястье отца работает безостановочно, на всю железку, самая верхняя пуговица была расстегнута еще у трактирщика, теперь за ней следуют остальные. Движению необходим простор. Полным ходом отец приближается к высшей точке, а сын — к водохранилищу, которое одиноко раскинулось перед ними в слабеньком послеполуденном тепле. Еще слишком холодно для купания, надо лета дожждаться. Отец поднимает на сына глаза, выражение которых говорит, что-де мужик мужика всегда поймет. Сын не смотрит на него, неподвижно уставившись прямо перед собой. Свет отражается от зыбкой поверхности. Вода в изумлении вопрошает: И в такую холодину ты хочешь сюда, ко мне? Пара диких уток поднимается с поверхности воды, хлопая крыльями, рассыпая брызги. Спасайся, кто может, такое мы уже видали, знаем и не хотим составлять компанию, если какому-то дураку пришла охота лишиться себя жизни. Деревья шумят в один голос.

«Вот сейчас мы оба вместе и гробанемся, — думает Райнер, — жуть какая». Он жмет на газ, в ответ ему ревет мотор, вообще-то он слабоват, но на это мощности хватит.

— Ты что, сынок, спятил?

Поверхность воды приветственно машет им и радостно бросается навстречу, раскрывая свои объятия, ну хоть какое-то разнообразие в это скучное время года. Здесь очень глубоко прямо у берега, потому что озеро искусственное. Такие опасные места природа не всегда может создавать одна, без посторонней помощи. Галька на берегу измученно взвизгивает от боли. С воплем поперек дороги встает весенний ландшафт, размахивая табличкой стоп-знака. Остановись! Дальше нельзя, потому что дальше опасно. Колесами раздавлены миллионы крохотных тварей, стихают их едва слышные предостережения. Где-то заливаются лаем дворовый пес, который лишен свободы, но даже и не знает, что это такое, потому что всегда сидел на цепи. Чего не знаешь, о том не горюешь. Он и не тоскует по неведомому. Крестьянка выпялилась, в подоле зажат куриный корм. Трава начинает наливаться соком, потому что чувствует приближение лета. Кромка воды бросается навстречу, чтобы приветствовать их, вот радость-то, кто бы мог подумать, как раз сегодня, когда уж и не ждали, что хоть что-нибудь случится, так весь день и прошел бы впустую. Крылатая

живность с визгом уносится прочь на брющем полете, но ее не слышно, потому что мотор все заглушает.

В последнее мгновение дается отбой, отцеубийство, комбинированное с самоубийством, отменяется, так как исполнитель чересчур труслив, чтобы до времени положить конец своей собственной жизни, ему еще слишком многое предстоит, и хотя это явное заблуждение, он верит, а это главное. Райнера, белого, как полотно, трясет в ознобе, он присаживается на берегу, получает от отца затрещину и говорит:

— Это я так, только напугать тебя хотел, я ведь точно знаю, когда затормозить, я хорошо вожу, папа. Что, ты испугался?

— А если бы тормоза отказали, что тогда, а?

Еще пара оплеух, одна слева, другая справа.

Папочка чуть было в штаны не наложил, хорошо, что удержался. Но отлить надо срочно, такая срочность происходит от пива. Райнер, совершенно ослабевший от своих убийственных намерений, должен теперь волочь налившегося пивом папочку к опушке, где тот хочет побрызгать. Чтобы отомстить за пережитое и наказать сыночка, отец все время, пока справляет нужду, заставляет парня поддерживать себя за локоток и выставляет на обозрение свой мощный насос. Вот он какой огромный, а только что он еще больше был, Райнер ведь видел.

— Та-а-ак, это дело мы пережили.

Потихоньку и осторожно разворачиваются (на сегодня кризис преодолен) и едут назад, в город. Вальдфиртель отчаянно протестует, ему хотелось побольше получить от тех двоих, еще чуть-чуть, и ему было бы позволено вообще оставить их у себя. А так папе остается Райнер, а Райнеру — его папа.

Йоргеровские купальни представляют собою резкий контраст. С одной стороны, контраст с Вальдфиртелем, где Райнер побывал совсем недавно и где человек в борьбе с природой еще не вышел победителем, — «темная, сочная зелень могучего леса и влажные массивы твердого гранита составляют особенность этих краев, придавая им неповторимое очарование, суровая красота разлита над глубокими ущельями и просторами плоскогорий. Эта сумрачная лесистая местность оказала плодотворное влияние на многих, кому посчастливилось понять ее угрюмую и величественную красоту». Совсем другое дело — родительская квартира, с которой Йоргеровские купальни контрастируют совсем по-другому. Здесь нет таких вольных, открытых пространств, как в Вальдфиртеле, здесь в полном мраке постепенно срастаются стены, не видно ни голубого неба, ни таинственно-темной глади озер, где-то там раскинувшихся. Этот мрак берет свое начало в бесчисленных коробках из-под стирального порошка, старых чемоданах, картонках и ящиках, которые нагромождаются в штабели до потолка, вбирая в себя весь многолетний ужас обывательского домашнего хозяйства (слишком тесного для четырех человек), откуда этот ужас щедро изливается на подростков. Стоит поднять любую крышку, как начинает распространяться затхлая вонь, исполняющая главное свое предназначение — вонять. Не выбрасывается ничего, все должно оставаться тут, на месте, представляя собой свидетельство грязи — своей собственной и своих хозяев. Пожелтевшие предметы одежды, битая посуда, детские игрушки, спортивный инвентарь, сувениры из путешествий в отдаленные края внутри страны, какие-то бумажки, предметы, доставшиеся по наследству, всевозможные приборы для всевозможных видов деятельности и среди всего этого — пожухлая и разбитая жизнь четырех человек, двух взрослых и двух подростков. Райнер хочет подняться к свету, все равно где, на открытой местности или в более светлой квартире, в которой, по возможности, вообще ничего быть не должно, кроме стальных трубок и стекла; чтобы пробиться к этому свету, нужно вырваться из дому, потому что здесь, внутри, света нет. Нельзя даже ни вдохнуть, ни выдохнуть свободно, потому что и воздуха не хватает. А подрастающему человеку воздух нужен в особой степени, чтобы достичь нужного роста. Если вокруг нет света, можно и самому его для себя зажечь. В этих целях Райнер часто рассказывает в школе историю о том, что отец его ездит на «ягуаре» элитного класса и уже не раз летал за границу: сплошная ложь от начала и до конца. В свою очередь его отец утверждал при свидетелях, что известный эстрадный певец Фредди Куинн — якобы его внебрачный сын, на которого ему долго пришлось платить алименты. Это также не соответствует действительности. И как бы часто Райнер выдумку свою ни пересказывал, правдой она от этого не станет.

Что находится там, на дне, на бесконечном белом кафеле, над которым свет скользит мерцающими бликами? Там не находится всеобщая истина в последней инстанции, которой на досуге взыскует подросток в период полового созревания, если ему нечем больше заняться, — на холодном том дне есть лишь одна вода. По своему обыкновению она кажется синей и прозрачной, это общее впечатление изредка замутняется обилием волн, что порою случается и с истиной. Гладь повсюду, не чувствуется никакой шероховатости. И Софи тоже такая же гладкая, и гладь эта распространяется среди людей. Гладь с одного конца глубока, на другом намного мельче и предназначена для неумеющих плавать, над водой разносятся

резкие свистки инструктора, доска для прыжков пружинит, поскрипывая. Слышатся глухие восклицания, непонятно, откуда они доносятся и куда улетают, в гулком помещении это определить невозможно, мешает эхо. Над бассейном на довольно большой высоте вздымается изгиб стеклянного купола. Там, в выси, хотелось бы находиться Райнеру и свысока посматривать на резвящуюся молодежь, которая брызгается друг на друга. Только где же пребывает он в действительности? Внизу, в качестве никудышного пловца, каковым он, к сожалению, и является.

Однако нужно скрывать, что плаваешь плохо, боишься большой глубины и предпочитаешь держаться на мелководье. А это не подобает человеку, который с таким постоянством спускается в несказанные глубины, как он. Здесь он не отваживается спускаться ни в какие глубины. Данная стихия чужда ему, в отличие от других стихий. Анна и Райнер совершают множество судорожных движений, которые должны вызвать впечатление, что плавать они умеют хорошо. Но они не умеют. Производя громкий всплеск и брызги, они движутся у края бассейна, где глубина не больше метра, где стоять можно, но выглядеть это должно как опасное предприятие. Зеленая таинственность четырехметровой глубины там, на другой стороне, приводит их в почти такой же ужас, в какой бы они пришли, будь они в состоянии прямо заглянуть вглубь самих себя. Наслаждение доставляет чистота, она еще и усиливается интенсивным запахом хлорки, который говорит: я умерщвляю собою абсолютно все бактерии и микробы. Только мочу или отдельные сгустки спермы я, к сожалению, должен перепоручить фильтру. И еще — я не в состоянии проникнуть под поверхность кожи, чтобы там, внутри, вытравить ненависть или отвращение, что испытывают молодые люди. Вода колышется, плещет в предназначенной для нее кафельной четырехугольной рамке, только вот вырваться не может из своих границ. Точно так же, как и из шкуры своей ведь не выскочишь. Хихиканье, гогот, вопли, взвизги, физическая культура. Иной прыгает в позе, которую считает смешной, сверху на какого-нибудь ничего не подозревающего пловца, другие дельфинируют элегантно и умеючи. В их число Анна и Райнер не входят. Самое страшно для них — это если приходится заниматься чем-то, что они не умеют делать лучше всех остальных. Делать нечего, приходится делать вид. Однако слишком часто приходится освобождать дорожку, когда снизу кто-то ловкий, как угорь, проскальзывает под ними или когда сверху кто-нибудь прыгает на голову. Дорогу усердным — гласит пословица и повторяют отважные пловцы и отважно проплывают мимо, так что близнецы безнадежно остаются в хвосте, потому что их область — мир книг, до которого здесь никому дела нет и которому здесь делать нечего, права голоса он не имеет и место здесь не ему, а только спортсмену, к примеру, тренированному легкоатлету, упражняющемуся в плавании. Это несправедливо, потому что подобного рода ценности, в действительности, лишь последнего разбора. И еще тут неоправданно высоко ценится соответствующее телосложение. Как сверху, так и снизу. У женщин скорее сверху, у мужчин скорее снизу. И то и другое развито соразмерно возрасту, то есть в большинстве случаев еще недоразвито. В случае с Райнером и Анной речь идет о первичных и вторичных половых признаках, которые в бассейне обозначаются явственнее, чем под повседневной одеждой. И с той и с другой стороны зрелище довольно убогое.

Словно спасаясь от урагана, брат и сестра держатся друг друга и поливают желчью какого-то мускулистого задаваку, который даже понятия не имеет, кто такие Сартр и Камю и откуда они родом (из Франции, разумеется).

На противоположном, глубоком конце бассейна, к великой досаде Райнера, плывет

кролем Софи в безукоризненно белом бикини, которое многое скрывает, но и демонстрирует окружающим кое-что из того, что принадлежит одному лишь Райнеру. У нее и в плавании хороший стиль, резиновая шапочка прикрывает волосы, она тренируется просто так, для себя, безо всякого желания произвести впечатление, а этого и не нужно, если умеешь делать что-то хорошо. Просто она здесь и это ее личное дело. Она явно позабыла о присутствии Райнера, его присутствие ей следовало бы воспринимать как постоянную угрозу и в то же время — как стимул, побуждающий не тратить все силы на спорт, но посвятить себя личной жизни, работать над их отношениями, улучшать их. Дугой выныривает ее тело и вновь погружается в холодную зеленую влагу, называемую водной стихией. Если что-нибудь предстает в напряжении, это сравнивают с натянутым луком, но Софи напрягает свое тело, как это делает только Софи, а никакой не лук. Ее рука вздымается из воды, пронзает поверхность и вновь исчезает без следа. Следы Софи оставляет лишь в сердце Райнера и в мозгу Анны; она невесома, одной только лошади известен ее истинный вес, ведь той нередко приходится нести на спине свою всадницу. Но чтобы ее лошадь, Терчи, стонала под весом наездницы — такого пока никто не слышал.

Купол гудит от воплей целого школьного класса, который в полном составе выстроился на урок плавания. Райнер и Анна подглядывают украдкой, чтобы чему-нибудь такому научиться и попробовать, потом, когда Софи посмотрит в их сторону. Но для таких дел они слишком трусливы и не любят опускать голову в воду, где ты беспомощен, где трудно дышать и ты заведомо слабее любого здесь, ведь все они такие тренированные. Брат и сестра больше любят смотреть на всех свысока. Молодой парень, судя по телосложению, слесарь или токарь, подныривает промеж ног Анны, которая, взвизгнув, исчезает в столбе брызг. Райнер с опаской шарит руками под водой, чтобы вытащить сестру на поверхность. Вспенивая воду, Софи форелью устремляется к ним, хочет помочь, но с Анной уже все в порядке. Райнер боится, что Софи заметит сейчас, как он плохо плавает, но та вообще не считает нужным обращать внимание на такие вещи, она наслаждается ощущением, которое предоставляет человеку его тело, когда оно приватным образом действует в своем качестве — как тело, ничего более. Потом она вскакивает под душ, потому что торопится. За ней следуют бледные Райнер и Анна. Софи пружинит под струей душа, Райнер занимает место рядом, чтобы подробно вещать ей о своей любви. Так, в частности, он останавливается на том, что абстрактное понятие счастья надлежит отождествлять с абстрактным понятием любви, и еще раз подчеркивает теперь это, потому что уже неоднократно уверял ее в подобном. Любовь есть счастье, счастье без любви просто невысказано. Истинное чувство счастья (по его заверениям) пронзает трепетом твое потрясенное сердце лишь тогда, когда ты осознаешь, когда постигнешь, что человек принадлежит тебе полностью, что он любит тебя всеми фибрами своей души, что он всегда останется верен тебе, что бы ни случилось, тогда, лишь тогда ты сможешь сказать: я счастлива. Утверждать нечто подобное, когда получаешь хорошую отметку за контрольную, было бы просто смешно.

— Не слышу ни звука, — реагирует Софи на этот крик души, подставляя всю себя, равно как и свои ушные раковины, под шумящие струи, чтобы смыть запах хлорки. Она вьется змейкой, ввинчивается в душевую струю, будто дрель, на которую надето белое бикини. Счастлив может быть лишь тот, кто любит и знает, что любим уже только за то, что он есть, и ощущение телесного соединения несет это счастье в гораздо меньшей степени, чем личное совместное бытие, да, именно так он, Райнер, тебе, Софи, уже однажды имел честь разъяснить, что половой акт как таковой, в своей целокупности, способен принести,

вероятно, меньшее ощущение счастья, чем самый обычный поцелуй или даже самое простое слово в устах той, которую любишь. Мысль о каком-то там половом акте Витковски-младший отстраняет от себя далеко прочь, но обычный поцелуй получить ему, конечно же, хочется, просто он не решается ее об этом попросить. Мысль о половом акте Софи еще никогда не приходила в голову. Лицо ее под струей воды такое далекое, будто между ними пролегает автомагистраль. Улица, запруженная воскресным потоком машин. Даже ничтожного поцелуя, такой малости, и то не добьешься. Еще не так давно Райнер вырезал фотографии красоток из журналов, однако груди и прочие части тела удалялись при помощи ножниц, и только остаток, лицо, мог быть прикноплен на самое почетное место, к двери шкафа.

Огромное световое пятно выплескивается на кафельную стену, какой-то балбес забавляется с зеркальцем. Узенькие мостки, лесенки и галереи переходов раскачиваются и прогибаются под мокрыми ступнями пловцов. Здесь беспощадно светло. Анна сидит на полу, прикрываясь обеими руками, потому что бюстом она небогата. Сейчас ее вновь охватила немота, что бывает с ней в продолжение вот уже долгого времени и довольно нерегулярно. В четырнадцать лет как-то раз в школе она вдруг перестала разговаривать. Как хорошей ученице ей тогда разрешили давать ответы на экзаменах в письменной форме. Со временем наступило улучшение, только вот сегодня что-то совсем худо, она вообще ничего не может произнести, ни слова, даже когда очень хочет. Зато Райнер болтает за двоих и говорит, что он очень хочет Софи когда-нибудь потом, намного позже, когда оба они наконец-то полностью созреют для этого. Сейчас пока еще нет, потому что нужно набраться терпения. Потом.

— Знаешь, Софи, стоит тебе поставить себя над человеческой природой и, быть может, попытаться насильно добиться счастья и любви в так называемом свободном браке, то тогда ничего не добьешься, совершенно точно.

Вышеупомянутая Софи выходит из-под душа, искрится во все стороны брызгами, словно она родилась и выросла в этой влажной стихии, и такое впечатление складывается, когда видишь ее в любой стихии, все равно, на земле или в воздухе, — она уклоняется от затронутой темы, шлепает Райнера по плечу и идет одеваться. Райнер следует за нею повсюду, отсюда туда и оттуда сюда, что ее раздражает, как будто он не может один, сам по себе идти туда, куда ему хочется. Она шлепает его еще раз, как предмет мебелировки или собачку, убирайся, не торчи у меня на пути, потому что это мой личный путь, да, я его купила, а ты ищи себе свой.

Райнер говорит, что, как в «Фаусте», — труд не сможет сделать тебя счастливой, самое большее, он принесет удовлетворение. Труд есть инструмент любящего, чтобы отвести или частично нейтрализовать скопившееся напряжение.

— Объясняю: думаю, не ошибусь в предположении, что ты любила, любишь или, по крайней мере, сможешь вжиться в чувства любящего человека. Лишь при этом условии ты узнаешь чувство, постигнешь, ощутишь его и проникнешься им, и в момент наивысшей сосредоточенности труд в состоянии освободить тебя от гнетущей тяжести, охватившей твое юное сердце. Но стоит тебе оказаться поблизости от любимого человека, как тобой овладевает ощущение глубочайшего покоя, чтобы тут же уступить место чувству сильнейшей тревоги, тревоги настолько сильной, что бледнеют руки и начинают подрагивать пальцы. Именно это происходит со мной.

Райнер вцепляется в перила, которые поставлены здесь, чтобы уберечь его от падения,

так как он не является тренированным пловцом. Таким образом живешь, как бы одновременно пребывая в двух агрегатных состояниях, в двух постоянно сменяющих друг друга стадиях, они и есть счастье. Агрегатное состояние воды — текучее, агрегатное состояние Райнера — студенистое ни то ни се.

У ног его скорчилась сестра, пребывающая в скверном настроении, она ничего не говорит, ни о чем не спрашивает, лишь внутри себя, в своем мертвом безмолвии она принимает решение, что не так скоро теперь снова пойдет в бассейн, потому что ее стихия — не вода, но волны музыкальных звуков, которые то накатываются, то откатываются, то душат бурлением, то дают отдушину, но никогда не укатывают прочь и никогда не окатываются под душем. Она раскрывает рот, но ничего не пробивается наружу, ни слова, ни музыкального тона. Молчанье.

Вода не принимает, а отторгает ее. Пронзительно свистит тренер, один из спортсменов совершил слишком опасный прыжок, прямо в середину стоящей в воде группы, он всех свалил с ног, но те только смеются. Мокрые ступни близнецов ступают по немислимо скользкой глади, по которой змейкой струится вода. Нет ничего, на чем эти ступни могли бы удержаться. А искусство, которое везде служит им поддержкой и опорой, вероятно, кто-то коварный предательски убрал отсюда и увез в неизвестное место.

Анна вновь открывает рот, но ничего, опять ничего не выходит. Если снова до того дойдет, что ей слова писать придется, она наложит на себя руки.

Райнер полагает, что счастье и любовь, которые идентичны друг другу, суть чувства или, лучше сказать, суть чувство того рода, что не поддается описанию.

— Любое изображение данного феномена обязательно будет неполным и никогда не сможет заместить истинное ощущение, дорогая моя Софи.

Анна хочет ответить на это выражением любви к брату, но у нее не выходит, хотя ответ пришел ей в голову. Она плетется за братом к шкафчикам в раздевалку. Софи уже выскальзывает из своей кабинки, полностью одетая и причесанная, и так мило выглядят ее влажные пряди, прилипшие к вискам, что Райнеру хочется провести по ним пальцами, однако и этот ничтожный жест, вероятно, запятнал бы ее. Так мило она выглядит, эта Софи. Она на ходу говорит:

— Ну, ладно, до завтра, сегодня я тороплюсь.

— Завтра нам о многом нужно поговорить, я тут поразмыслил по поводу налетов.

Слова омрачают общее светлое впечатление, которое произвели сегодня Йоргеровские купальни; там, где сиял яркий свет, теперь кромешная темень, все оттого, что Софи ушла, быть может, ушла навсегда, но вероятнее — лишь до завтрашнего утра в школе.

Комнатки Райнера и Анны разделены тонкой самодельной перегородкой, сквозь которую проникает любой шум, совсем никакой личной жизни подросткам. Невозможно расти и взрослеть так, чтобы другой сразу же не заметил и тоже не принялся расти и взрослеть. Сегодня, к примеру, в Анне растет и зреет телесный аппетит к Хансу — и ухо Райнера тут как тут, уже прильнуло к отделяющей его от сестры перегородке, чтобы поучиться чему-нибудь такому, что он потом сможет применить к Софи. При этом важно не дать никому заметить, что Райнеру еще надо чему-то учиться. Дело в том, что в подростковом возрасте всегда так: молодые люди уверены, что учиться им больше нечему и не у кого. Само собой, Софи — это не сестра, это кое-что другое, Софи должна стать возлюбленной, которая по достижении определенного возраста заменит брату сестру. Будем надеяться, смена произойдет вовремя и молодой человек покинет родительский дом без особого ущерба.

— Сними с себя все, я хочу тебя сейчас же (Анна).

— Ладно, но потом обязательно послушаем новую пластинку (Ханс).

Теперь, после того как они несколько раз поупражнялись, дело идет куда лучше, чем в самом начале. Сперва осуществляется некое скудное подобие прелюдии, прежде чем Ханс оказывается в Анне и начинает шарить в ней, как в ящике со старыми носками, чтобы найти недостающий к паре.

— Не надо молотить во всю мочь без разбора, двигайся с умом, с фантазией, доставая повсюду. Ярость сделала меня немой, но все, что я не смогу произнести губами, я выскажу своим сердцем, произнесу всем своим телом (Анна, нервно).

Губы немые, шепчут скрипки: полюби. И Ханс тоже шепчет:

— Слушай, просто здорово, первый сорт, а станет еще лучше, коли вспомнить, как долго я этого дождался, сейчас ты закричишь от страсти, завоеешь, как корабельная сирена.

Райнер рассеянно смотрит на свое отражение в замызганном настенном зеркальце; как бывает с ним часто, сегодня он тоже упражняется в придании лицевым мышцам полной неподвижности, чтобы никто не смог ничего прочесть на его лице. Он придает лицу застывшую окаменелость, чтобы ни одного эмоционального движения нельзя было распознать и соответственно приспособиться к данному изменению. Его тетка говорит, что он вечно всем недоволен, недоволен он и родителями, которые приносят себя в жертву, имитация как раз он недоволен больше всего, несмотря на то что те чересчур нянчатся со своими детьми и постоянно демонстрируют это перед посторонними. Ему только самые новейшие джазовые грампластинки подавай, он не может довольствоваться малым и вообще нескромен. Вы думаете, он согласился бы ходить в обычной обуви? Нет, ничего подобного, исключительно наимоднейшие туфли с острыми носами, которые только ногу портят. И не желает донашивать старые брюки от воскресного костюма, который ему на конфирмацию купили и который еще вполне прилично выглядит, как бы не так — только синие джинсы. Карманные деньги приходится экономить (в противном случае родители могли бы просто оставлять их себе), вот и выклянчиваешь на джинсы у бабушки или у вышеупомянутой тетки и за это служишь им на посылках, что унижает тебя как личность и прямо-таки подталкивает к разбойным нападениям с целью ограбления, потому что никакой иной возможности нет. И сейчас у Райнера нет иной возможности, ему приходится все снова и

снова слушать, как Анна кричит «еще-еще-еще-еще, о, да, вот так, хорошо» и как Ханс тоже рычит «Анна, твоя пизда высший класс, как всегда», даже в рифму получается. Ханс считает, что этим делом надо бы заниматься все время, и жалко, что это так редко у них бывает. Что до него, он всегда готов, а вот ее родители к этому не готовы. «Неужели это моя сестра, которую я знаю, как свои пять пальцев, издает сейчас такие звуки?» — задается вопросом брат, и ни один мускул не дрогнул у него на лице, отражающемся в зеркале: «свет мой, зеркальце, скажи...».

Он не медля садится за письменный стол и записывает на листке бумаги экспромт, очередной хвастливый вымысел, который завтра распространит в своем классе. Его родители совсем недавно летали на Карибские острова отдыхать, где они здорово загорели и познакомились с очень интересными попутчиками. Они купались вволю и гуляли по белому пляжу вдоль синего моря, занимались серфингом в волнах прибоя. Путь туда и обратно они проделали на самолете. «Я сообщаю вам об этом в письменном виде, поскольку такова глубинная форма моего самовыражения, я ощущаю непреодолимо стремление сообщить вам об этих вещах, даже если они и должны оставаться в секрете». К сожалению, у Райнера нет друзей, одни приятели. И все же приятелям тоже будет позволено узнать о Карибских островах.

Рядом за перегородкой кричит Анна, впечатление омерзительное; хотя ментально брат разделяет ее отношение к происходящему, телесно он с ней не согласен, ее нечленораздельный вопль сладострастия липнет как смола, Анна кричит: «Даааа! Сейчас! Да!» По всей видимости, этот хвастливый амбал в данный момент изливается в ее нутро. И она тоже хороша, принимает в себя такую гадость, дерьмо, что закачивается ей внутрь, и органически перерабатывает то, что другим приходится тайком выплескивать из сжатой в кулак ладони, а потом крадучись отмывать запятнанную простыню в холодной воде. Никогда не привести одноклассника домой, потому что дом выглядит тошнотворно, да такой он и есть на самом деле. стыдно за дом свой отчий. Райнер снова записывает на листке очередную ложь, теперь это любовное стихотворение, обращенное к Софи, процесс, понятное дело, весьма деликатный. Стихотворение называется «Любовь», и возникающие строчки столь же беспомощны, как и само название, потому что Райнер замкнут в себе самом. Стало быть, «Любовь».

«Облик твой денно и ночью витает пред взором моим, carissima... так начиналось письмо — в любви к тебе признаваясь... Зардевшись... внимала ты моей любви увереньям. Поцелуй... Я лобзал твои алые губы, свечи мерцали пред нами, и взоры мы погружали в ясное пламя, в хрустальные грани бокалов». Какие там хрустальные грани, здесь разве что какую-нибудь линзу от очков разыщешь, ничегошеньки нет, кроме выщербленных чашек. Райнер по-прежнему сохраняет контроль над своей мимикой.

За перегородкой, в маленькой каморке, Ханс, похрюкивая, лепечет всякий вздор. Ханс круглый болван, и больше ничего. Сестру, вероятно, его тупость достала, вот она и молчит в ответ. Сестра читает Батая в оригинале. Сейчас она, кажется, и думать об этом забыла. Стенка Райнерова закутка, именуемого молодежной комнатой, как и почти все стены этой убогой квартиры, сплошь уставлена всяческим громоздким хламом, потому что здесь никогда ничего не выбрасывают, — сплошь ненужные более вещи, которые все же имеют хоть какую-то ценность либо когда-нибудь — кто знает, через сколько лет — вновь могут пригодиться. В непосредственном поле его зрения старый холодильник, дверцу которого какой-то жестокосердый человек сорвал много лет тому назад. Внутри холодильника —

яблоки, свинья-копилка, отслужившие свое часы с одной стрелкой, несколько (сломанных) оправ очков, цветочный горшок, различные моющие средства, вилки и ложки в пластиковой коробке, станок для безопасной бритвы, разнородные туалетные принадлежности в пестреньком целлофановом мешочке, пепельница, пустой кошелек, пара растрепанных книжек, несколько карт с маршрутами пеших прогулок, фаянсовая миска, в которой хранятся иголки и нитки. В голове Райнера шумит море, набегающие волны омывают загорелые щиколотки, продолжающиеся выше парой стройных ног, хозяйка которых — Софи, еще одна пара ног, тоже загорелых, попадает в поле зрения, это ноги Райнера, и они тоже направляются вглубь соленой влаги. Перед морем все равны, и бедные, и богатые. Плавание есть самый естественный и непринужденный процесс, ведь на водную стихию в этом Райнеровом сне наяву можно положиться так же точно, как и на сушу, на которой он обычно пребывает.

— О-о-о-о-о, — стонут Ханс и Анна на два голоса; не сказать, чтобы это было особо интеллигентное замечание по поводу сложившейся ситуации, считает Райнер. Сейчас Ханс наверняка заглядывает ей в лицо и убеждается, что оно полностью размягчилось. В старом фибровом чемодане хранится не менее старый штык времен Первой мировой войны. Вещь дорога как память, длина лезвия составляет двадцать пять сантиметров. Вполне достаточно, длиннее и не надо. Райнеру очень хотелось бы, чтобы Анна сфотографировала его со штыком в руках, просто так, для смеху. Он бы держал штык как шпагу в фехтовальной позитуре, но, увы, выглядеть он будет нескладно, тут можно ручаться, он выглядит неуклюже всегда, когда не рассуждает на философские темы. Сейчас штык мирно покоится в предназначенной для него коробке, в чемодане. А еще там — сломанные игрушки, диапроектор, предназначенный для просмотра отснятых во время отпуска диапозитивов, но самих диапозитивов нет, потому что отпуска не бывает, и еще — целая куча войлока. Внутренне Райнер уже совершенно отрешился от семьи, внешне же он еще только будет отдаляться от нее, участвуя в разбойных нападениях на людей, ни в чем не повинных, с целью ограбления.

— А-а-а-а, — раздается из-за стены, что оказывается вариацией на ту же тему и не содержит ничего нового. Райнер продолжает упражняться, сохраняя неподвижное лицо (несмотря на ненависть), свободно расслабляя мускулы руки (несмотря на крайнюю враждебность) и не закусывая губы (несмотря на алчность и гнев).

— И-и-и-и-и, — неистовствует Анна, снова достигнув оргазма, кто знает, которого уже по счету, вот диво какое. Сегодня ночью Райнер наверняка прибегнет к онанированию, чтобы снять возникшую в нем напряженность, но делать он это будет исключительно против воли и в полной темноте, ведь именно так он, собственно, и привык жить.

Райнер является — и это объединяет его с бесчисленными юнцами его поколения — подростком, которому никогда не достается того, чего хочется, и оттого хочется все сильнее и больше, чем он может достать, быть может, удастся добиться этого, когда он не будет уже больше подростком, а совсем повзрослеет. Положение безвыходное. Так он сам его оценивает. Однажды он доверился своему учителю физкультуры, дав ему для прочтения несколько стихотворений собственного сочинения, что представляло собой робкую попытку сближения с ДРУГИМ, которая время от времени имеет место между людьми. Но учитель физкультуры с громким смехом продекламировал эти короткие и, надо признаться, совсем незрелые опусы в учительской, и остальные учителя после этого не раз выводили юного творца из себя, цитируя поэтические строчки, произвольно и безо всякой связи выхваченные

из контекста.

За стеной вопит Анна, как будто у нее что-то сильно болит. Наверняка она это от совершенно непереносимой страсти, оттого ее крики напоминают о боли. И Ханс принимается вопить за компанию. Как будто два волка воют. Совсем по-звериному, забыв о человеческом достоинстве. Уж теперь-то, надо надеяться, они это дело закончили, у Ханс внутри ничего больше не осталось, стало быть, прекратят кувыркаться и сменят наконец пластинку.

Райнер неподвижно таращится в зеркало, и такой же Райнер неподвижно таращится на него из зеркала, только правое и левое поменялись местами. Райнер всегда становится на сторону правого, то есть самого себя. Он никого не представляет, и никому не охота, чтобы Райнер его представлял, даже его собственные одноклассники выбрали другого соученика своим представителем в совете школы, хотя наш Витковски очень настойчиво предлагал себя. Они считают, что он хвастун и воображала, который всегда хочет казаться больше, чем он есть на самом деле, и постоянно врет. Это не по-товарищески по отношению к другим, потому что нужно говорить правду, как бы трудно ни было, даже если тебя могут побить за это. Такими побоями нужно только гордиться, ведь ты все-таки не соврал, не испугался кулаков.

«Сам бы я с огнем играть не стал, все это очень сомнительно», — соображает Райнер. В воображаемых мирах творятся многие события, и человек становится от этого богаче, однако кое-что приходится делать на самом деле.

В футляре у отца, в коробке высотой 7–8 см, длиной 30 см и шириной 15 см, лежит пистолет. Под ним откровенные фотографии матери Райнера. На некоторых ее гениталии, снятые крупным планом. Ключ отец всегда носит при себе. В школьном сочинении по пьесе «Атласный башмачок» Поля Клоделя Райнер излагает принципиальную точку зрения: раскаяние не спасет от возмездия, и свободу можно обрести только через наказание.

Тем временем Анна и Ханс в несколько растрепанном виде выходят из Анниной комнаты и утверждают, что было здорово. «Слышно было достаточно громко», — отвечает Райнер. Сестра всем телом прижимается к брату, словно готова совершить инцест. На самом-то деле ничего такого она не хочет, она ведь свое уже получила. Ханс заводит разговор на спортивную тему. Его недавние завывания за стеной были гораздо приятнее.

На кухне в раковине громоздятся горы загаженной посуды, затянутой снизу, словно меховым покровом, зеленоватым и пушистым слоем плесени, когда-то бывшим яичницей с ветчиной. Юное растущее создание нередко путается у себя под ногами, создает для самого себя непреодолимые препятствия. На мебели толстым слоем лежит пыль, вытирать которую — обязанность матери. Ее нет дома, ушла. Сюда в самом деле стыдно кого-нибудь привести. Подросток оказывается для себя самым большим препятствием, чем даже взрослые, а с другой стороны, препятствием для него являются жизненные условия. Обоим, и брату, и сестре, к примеру, взять бы сейчас по тряпке и навести порядок.

— Давайте обсудим толком наши преступные планы, — напоминает Райнер.

— Ну ты загнул, дай передохнуть после таких сильных ощущений, — Ханс с трудом переводит свое легкоатлетическое дыхание и строит многозначительную мину. — Тебе бы кого-нибудь трахнуть, сразу такие мысли исчезнут.

И хотя забеременеть могла только Анна, тошнить начинает почему-то именно Райнера, что с биологической точки зрения в высшей степени странно. Сейчас папаша с мамашей домой заявятся, чего доброго, застанут здесь нежелательного приятеля.

А вот и мамаша собственной персоной, а за ней и папаша вприпрыжку ковыляет.

— Ну, поцелуй своего родного папочку, — призывает отец любимого сынка. Тот краснеет и говорит, что не хочет, что ты-де сам знаешь, почему.

— Ну, и почему же? — дивится отец.

— Потому что тетушка на днях говорила, что только гомосексуалисты целуются с людьми своего пола.

— Откуда что берется у этого парня, такие вещи говорит, мы в его возрасте и слов-то таких не знали!

— От твоей родной сестрички, разве ты не слышал?

И потолок нахлобучивается на Райнера и на его сокровенные желания, давит сверху вместе с люстрой, в которой не хватает двух стеклянных рожков. Убить его желания не удастся, их просто загоняют в темницу, из которой нет выхода.

Вот уже несколько лет улица Кохгассе дает Хансу пристанище, помогая забыть о деревенском детстве. Длинные вереницы мужчин в рабочих комбинезонах, застиранных брюках или халатах, ничто в них не напоминает ни о зеленых лугах, ни о веселых ручейках. Город слезам не верит, лишь с большим трудом здесь можно выделиться настолько, чтобы другие увидели тебя и признали, спорт в этом большое подспорье, там что есть силы стараешься для своей команды и можно даже выиграть! Суглинистые большаки с отпечатанным следом шин, сельская местность, населяющие ее люди и животные — все вернулось туда, где ему место. На Кохгассе царит городской воздух, улица втягивает его в свои легкие и выдыхает в парадное правильно устроенного дома, функционально оборудованного настолько, чтобы рабочий человек чувствовал себя в нем хорошо и не обнаружил бы там ничего излишнего, чему взгляд мог бы порадоваться, а то, глядишь, он пожелает иметь эти излишества в житейском пользовании.

Ничего декоративного, никаких фронтонов, эркеров, башенок или рельефной лепнины, все это — для безнадежно почившего буржуа, которого, собственно говоря, больше не существует. Трезвость — следствие трезвой строгости, которая присуща эпохе восстановления страны, осуществляемого в течение уже долгого времени теми самыми рабочими, которые ютятся здесь. Поэзию создают ажурные салфеточки, семейные фотографии, картинки с оленями и стильная мебель фабрики «Зюдверке», из которой раздаются временами диковинные звуки нового времени, при том, однако, условии, что это модная ныне мебель со встроенными радиолками. Приобретают ее в кредит. Каждому обитателю позволено производить поэзию самому для себя, для чего архитектор оставил место на стенах и потолках для картин и статуй, все зависит от самих людей и степени их личной зрелости, в каком виде им хочется иметь эту самую поэзию, сверху, сбоку или снизу.

Ханс входит в дом, где его сразу встречает неприхотливость в чистом виде. Она совершенно безлика, отпечаток на ней оставляет одна только работа, которую мать берет на дом; повсюду громоздятся кипы бумажных конвертов, похабящие все впечатление. Хансу уже знакомы дома, на которых не лежит позорное пятно пользы, дома, из глубины которых, словно льдины, выплывают острова мебелировки, Софи владеет таким вот домом, Ханс не раз в нем бывал, всякий раз отвлекая Софи от чего-то важного, чем она как раз намеревалась заняться. Она охотно жертвует этим ради него, потому что что-то такое между ними намечается, растет не по дням, а по часам. Софи отличается от других девушек, с которыми он знаком, не только благодаря своей домашней обстановке, она и сама есть нечто особенное, он узнал бы ее среди тысяч других, будь она даже в рабочем халате, все равно бы между ними тотчас искорка проскочила, как говорится в модной песенке.

Ханс хочет сказать: если бы и она была одета в рабочий халат, а не только он один. В квартире Ханс застаёт двух товарищей из союза рабочей молодежи, к которой и он сам относится, хочется ли ему того или нет, с собой у них плакаты и ведерко с клеем, который они как раз разводят. Ханса такие вещи не заводят ни капельки. С недавнего времени он каждый раз переодевается на работе перед тем, как пойти домой. На улице показывается исключительно в брюках и джемпере. Раньше он катил домой на велосипеде, не снимая спецовки, нынче его мускулатура обтянута подаренными Софи одежками. Вещи уже слегка растянулись и заметно помялись на сгибах, хотя Ханс очень бережно с ними обходится и то

и дело гоняет мать к гладильной доске, и с каждым разом вещи все больше теряют форму, приспособиваясь к Хансу.

Их прежний владелец учится теперь в Оксфорде и наверняка купил себе что-нибудь новое. Есть разница в том, откуда мускулы происходят и к чему их прилагают.

Ханс прилагает мускулы к электрическому току, и они распадаются там, превращаясь в чистую энергию. Ханс частенько жуёт снежно-белую четырехугольную таблетку глюкозы, чтобы восполнить израсходованную энергию, последнее время он, можно сказать, только этим и жив, таблетки чисты и совершенны, как его Софи, их повсюду рекламируют спортсмены, они называются «Декстро Энерген». Горнолыжники и теннисисты знают их предназначение и пользуются ими.

Ханс входит в дом и мгновенно катапультируется в свою каморку, чтобы снять парадные вещи и, аккуратно сложив, убрать их; в обычной домашней одежде он появляется в общей с матерью комнате, где по углам жмутся его товарищи, хотя, по всей вероятности, самое позднее через полчаса он снова покинет дом, облачившись в кашемировые одежды. Вот уже несколько недель, как, благодаря новому кругу знакомых, он обрел большую уверенность в общении с людьми всех рас, классов и наций, не то что раньше, когда он не знал ничего, кроме собственной расы и собственного класса. Присутствие молодых рабочих парней в его доме означает шаг назад, в прошлую жизнь, потому что происходят они из его же собственного класса, да так в нем навсегда и останутся, сразу видно, в люди они выйти не смогут. Мать сварила им кофе, на столе лежат густо намазанные ломти хлеба, сын ее тоже получает такой ломоть. Молодые люди с ведерком для клея сохраняют энтузиазм и веру в социализм, у Ханса осталось одно тщеславие, такое сильное, что на нем одном можно плыть против течения, справиться с любым стремительным потоком, даже с электрическим током можно справиться, а это противник невидимый; Ханс готов сразиться с любым, кто захочет преградить ему путь в будущее. Ханс ставит новую пластинку, чтобы не слушать музыку старую и обрыдлую — про компартию, например, — ведь эта старая пластинка давно треснула и звучит фальшиво, оба парня твердят одно и то же, хотя они и разные люди, собственной личной жизни у них нет, нет индивидуальности. Они не замечают, что Ханс исключил себя из длинной живой цепочки, передающей ведра с водой все дальше вперед, к полыхающему пожаром дому (дома этого не видать, но он есть, совершенно точно, ведь иначе не было бы и ведра), Ханс отделился и запросто ушел прочь, теперь тому, кто стоял в цепочке за ним, придется делать замах пошире, чтобы перекрыть пустующее место, всего-то и делов. Парни говорят, что настала пора сделать правильный выбор и объединиться с правильными союзниками.

Ханс хочет когда-нибудь, когда он созреет для этого, объединиться в брачном союзе с Софи.

Руки Ханса совершенно изношены работой, он трудится с четырнадцатилетнего возраста. Под ногтями у него грязь и пот, составляющие единое целое, как составляют единое целое тело и душа; Ханс жаждет познакомиться с этой двойцей с тех пор, как он познакомился с Софи. На ногтях у нее нет лака, он не нужен, скрывать под ногтями нечего, и они ничего не скрывают.

Мать знакома с родителями обеих парней по совместной автобусной экскурсии и хочет, чтобы и Ханс познакомился с ними, так как они обнаруживают благоразумие, каковое ее сын не проявляет. Необходимо сплотиться в группу, лишь объединившись, мы станем сильны, Ханс говорит, что уже нашел такую группу и в ней добился признания благодаря

своим необыкновенным способностям, которые нигде больше признания не находят, только там. В группе этой никто его не заменит и ни с кем не перепутает.

«В баскетболе я незаменим и как нападающий, и как защитник, а вот работу мою может выполнять любой другой точно так же, как и я, и в жизни все так же, — это пример из жизни вообще, где работа есть зло, и меня со всех сторон убеждают, что это неизбежное и необходимое зло, а я бы и без работы вполне мог прожить. Необходима мне только одна Софи. Когда она меня полюбит, мне даже на работу наплевать будет».

Выразившись так, он с презрением отвергает несчастный бутерброд с маргарином, специально для него потолще намазанный, опять этот маргарин, колбасы, что ли, нет, тьфу, тошнилловка, и бросает обоим коллегам в лицо, что добиваться свободы должна индивидуальность, а никакая не группа, бесчувственная и безымянная, в которую погружаются, чтобы никогда уже больше не выплыть, разве что если стать ее предводителем, или если эта группа скроена специально для тебя, каковой и является его собственная группа, он тоже приложил руку к ее формированию.

Все это время к хлебу он так и не притрагивается.

— Я ведь достаточно денег тебе приношу, могла бы уж купить и приличного масла или колбасы. Нужно, в конце-то концов, стать отдельным, единичным, это и есть новый тип рабочего, которым я все равно скоро уже перестану быть. Рабочий старого типа навеки останется рабочим. Обособленному рабочему-одиночке требуется много света, воздуха, солнца и места, где произрастают цветы, травы и деревья, которые такой рабочий тогда наконец научится ценить. Всем этим он раньше пренебрегал в своей политической борьбе. Опять же спорт для современного человека пишется с заглавной буквы.

Мать в этот момент совершает решающий промах, а именно она — как и всякий раз, когда разъяряется и не может больше сдерживаться по отношению к своему сыну, — принимается рассказывать о концлагере, о евшем яблоко ребенку, которого били головой о стену до тех пор, пока он не умер, после чего яблоко доел его убийца. О детях, которых сбрасывали с третьего этажа, просто так, чтоб помучились. О молодой матери, ее вместе с ребенком, которому только два дня исполнилась, отправили в газовую камеру, потому что раньше она упросила врача дать ей родить. И врач ей позволил.

— Многим моим товарищам и товарищам твоего отца отрубили головы в казематах окружного суда. Я помню о них постоянно.

«Э-э-ы-ых», — притворно зеваает Ханс во весь рот, он слышал это достаточно часто и полагает, что времена изменились, а вместе с ними и люди, у которых теперь другие заботы. И прежде всего — у молодежи, которой принадлежит будущее, ведь его она, в конце-то концов, тоже созидает своими руками.

Оба товарища с заскоком в мозгах на этом деле смущенно помешивают в ведерке, чтобы клей оставался жидким и не затвердевал. Для этого клею необходимо тепло, на улице ведь холодно, а здесь его согревает духовка кухонной плиты. Они никак не поймут, с какой стороны подступиться к Хансу, он кажется таким уверенным в себе, по всей вероятности, к нему уже подступились другие и используют в своих целях. Снаружи холодный ветер как плетью хлещет по улицам холодными потоками ливня. Гнутся деревья, свиваясь в мокрые петли. Бушует природная стихия. Бесчисленные невидимые руки, берущие начало в рабочем движении, хватают двух молодых парней с ведерком клея и выталкивают их вперед, чтобы они выложили перед Хансом свои весомые аргументы. Наконец-то они начинают открывать рот. Он, однако, прислушивается не к ним, а к внутреннему голосу, который говорит, что

нужно достичь корней бытия, чтобы понять самого себя, тогда сможешь понять и остальных. «Если вам кажется, что вы можете сделать что-то для других, не познав сперва по-настоящему самих себя, то оба вы болваны набитые. Ведь это и есть первейшее условие. Иногда при этом совершаются поступки, которые на первый взгляд могут даже показаться нелепыми и бессмысленными, но это вовсе не так, поскольку они для тебя необычайно важны. Моего нового друга зовут Райнер и он будет почище, чем все здесь». Говоря объективно, последнее не соответствует действительности, потому что квартира у Витковски невероятно запущена, однако ослепленный молодой человек этого не замечает.

— Кто он, этот Райнер? — хочет знать мать, она уже и раньше спрашивала о нем, но позабыла.

— Отец его служил прежде в СС, — отвечает Ханс, — а теперь он на пенсии и служит портье. Его дети в гимназию ходят, в ту же, что и Софи, а я запишусь в среднюю школу рабочей молодежи.

— Ты ведь хотел на преподавателя физкультуры учиться.

— Больше не хочу, я намерен окончательно вырваться наверх.

Парни с ведерком приумолкли, да им и уходить пора. Ливень снаружи уже стихает, но все же нет-нет, да и потрясает устои оконных стекол. Наверное, ливень, похожий на этот, хлещет по окнам Софи и треплет березы в саду, он мог бы прихватить для нее восточку любви. Софи, не иначе, сидит в свете настольной лампы и делает уроки, которые в школе заданы на дом, и Хансу так хочется решать школьные задачи, но в школу он не ходит и задачи настоящей у него тоже нет.

— Значит, не пойдешь, — говорят оба расклейщика плакатов, поднимаясь.

— Сходил бы с ними, — увещевает мать.

— В такую собачью погоду — нет уж, спасибо, я и по солнышку бы не пошел, потому что сухая погода — то что надо для тенниса.

— Тебе же работа всегда нравилась. Лишь благодаря ей ты стал частью рабочего класса, одним из тех, кто стоит за тобой и перед тобой в непрерывной людской цепочке, которая создаст новую эпоху.

— Рехнулась совсем? Шуточки, тоже мне. Физический труд — самая примитивная ступень трудовой деятельности, которая когда-нибудь вообще изживет себя, так Райнер говорит. Он, Анна и Софи говорят, что люди начали развивать культуру лишь тогда, когда научились отделять ручной труд от способа облегчить его при помощи инструментов и других подсобных средств. Без работы головой не было бы и культуры, которая вообще есть самое важное.

Мать говорит, что он ее с ума сведет, и оба расклейщика ей поддакивают.

— С ним сейчас бесполезно говорить, так мы считаем, госпожа Зепп. Ну, ладно, до свидания тогда. Мы пошли, оставляем этого заблудшего товарища. Может, он одумается еще, но что-то с трудом верится. В последнее время такие случаи происходят все чаще.

Мать говорит: — Заходите еще, потом, когда у вас времени побольше будет. Мы его все-таки убедим, вот увидите. Что ж, вам ведь идти надо.

На улице порывы ветра, словно поджидавшие этой ключевой реплики, раскрывают свои объятия и проглатывают обоих парней вместе с их ведерком. Будем надеяться, что ветер заодно не проглотит плакаты, они ведь из бумаги, а оттого беззащитны перед сыростью. Целлофановая оболочка их кое-как защищает. Снаружи уже поутихло, отсвечивают мокрые стены домов, и асфальт, тоже мокрый, снова блестит, как мокрый асфальт в каком-нибудь

фильме. Да, видно, и снимался в том фильме приятель этого асфальта.

Мать говорит: — Если бы знал об этом твой погибший отец, который пожертвовал собой ради нашего дела!

— Не жертвовал он собой, убили его и все. А то бы еще жил и жил себе. Что он теперь с этого имеет? Я вот себя ни в какую жертву приносить не собираюсь, это совершенно точно. Когда в книжках, которые Райнер дает, читаю про боль, причиняемую кому-то, то она для меня настоящая, более реальная, чем когда я думаю о боли, которую причиняли моему отцу там, на Лестнице смерти в Маутхаузене.

— Ты еще куда-то пойдешь, Ханс?

— По такой собачьей погоде? Даже оседлав мустанга, я и в пяти метрах ничего не разгляжу, а на окраине, на открытой местности, где вечерние туманы поднимаются, я вообще ничего не увижу. Открытая местность, когда ты на коне, совсем иная. Вечерком схожу, пожалуй, в джазовое кафе.

— Как посмотрю на тебя, так кажется, что напрасно жизнь прожила, и отец твой зазря погиб. А как гляну на тех парней, то понимаю, нет, недаром, был в этом все-таки смысл, которого я в собственном сыне не вижу.

— Смерть, она всегда даром дается, только за нее надо жизнью расплачиваться, — хихикает Ханс.

Чужие люди его принципиально не интересуют, потому что интересуется он самим собой, да еще Софи.

«Доешь меня, а то, как знать, снова наступят худые времена», — предостерегает его отвергнутый бутерброд с маргарином. Ханс, уверенный в лучшем будущем, доедать не собирается.

Совсем немного времени прошло с тех пор, как Райнер совершенно вышел из себя и сбился с предначертанной ему тропы богопослушного чада. Тогда католическая вера возмещала ему многое из того, что теперь он надеется вернуть себе, совершая насилие. На его сестру в последнее время все чаще нападает немота, иногда речь вдруг снова прорывается наружу, и ее поток сносит все, что попадает на пути. Сегодня они вдвоем лежат в кровати Анны, судорожно обхватив друг друга руками; жестокий ветер реальности они направили в обход, в кухню, одновременно служащую и столовой, а здесь, у них, веет ветер прошлых времен. Райнер силится преодолеть запрет кровосмешения, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но все-таки не решается, так что придется пасть иным преградам, подросток будет сметать их самолично, потому что в этом выморочном доме вольным нравам не место. Так говорят его предки.

Ребенком Райнер, наряду с другими проступками, прислуживал священнику во время богослужения, и это для него — неиссякаемый источник омерзения, каковое память до сих пор не может преодолеть. Папа сказал, что, дескать, будешь теперь ходить в церкви прислуживать, и он, конечно же, пошел, отцовские побои ведь сильнее, чем боль в коленях от стояния на холодном каменном полу. Пронизывающий холод зимой в шесть утра, карающая рука священника, который, и то хорошо, хоть не прибежал к вспомогательным средствам, ни к платяным вешалкам, ни к костылям, хлоп, опять затрещина, потому что снова перепутан латинский текст, да к тому же дерзость в ответ, и не одна, а ведь не было никаких вопросов, одни внятные распоряжения. На тебе белые, волочащиеся по полу одежды, отделанные кружевами, сверху черный воротник, так что становишься на девчонку похож. Всюду изображения, главным образом сюжеты про Бога и Деву Марию, изготовленные разными способами из разных материалов. Формы преимущественно округлые, так как делали их в эпоху барокко. Под ними хихикающая орава католического юношества, которое стадом с блянием прет в отроческую обитель поиграть в настольный теннис, серьезные песнопения, звучащие из студенческих глоток постарше, и гордость, когда ребенок вливается в целый отряд католического юношества. Недавно появилось телевидение, и его тоже основательно используют. У церкви всегда все самое новое, она применяет новшества и против своих чад. Золотые транспаранты, хоругви с изображением Св. Девы, девочки в темно-синих плиссированных юбочках, дело происходит в стенах нелюбимой церкви ордена пиаристов. Они часто повторяют хором, что Господь призывает юных, и вот молодежь уже тут как тут, не успели позвать. Ибо молодежь эта истово исповедует христианство, что требует мужества в мире, погрязшем в язычестве и безмыслии. И Райнер тоже составная часть юношества, к сожалению, самая худшая его часть, в которой наиболее очевидно проявился износ материала. Он направляется к Богу, но делает это неохотно, хотя именно его-то и призывали больше всего, ибо Богу известны и слабость его, и его неохота, и потому Он особенно громко кричит ему: Райнер! Райнер! — призывает его Сеятель на пажити Свои и на риги. Вот-вот Райнер срыгнет прямо на церковные плиты. Если бы он ходил в приличную гимназию при ордена пиаристов, то, конечно же, Бог высоко оценил бы это, но денег на учебу у родителей нет. Мальчикам-служкам из состоятельных семей пощечины никогда не доставались, что, разумеется, сразу же бросилось в глаза смышленому Райнеру, на такие вещи он обращает внимание немедленно, вместо того чтобы

сильнее и отрешеннее погружаться в молитву, забыв об окружающем мире. Церковь берет отовсюду, откуда только взять можно, не отдавая туда, где это требуется, и Райнеру требуются не затрешины и брюзжание, но любовь. Говорят, будто бы Господь любит его, чего он не ощущает, имея одни оплеухи.

Несмотря ни на что, отец каждое воскресенье снова и снова загоняет его в ризницу пинками остатней ноги, чтобы — расфуфыренный в пух и прах, среди хора свежего и радостного юношества, которое Бог любит особо, потому что звучит оно так невинно и трепетно, — ребенок продемонстрировал бы тете и бабушке, на что способен. Обе дамы очень набожны, в церковь таскаются постоянно, в мае и в Великий пост на дополнительную вахту встают, и за богоугодное служение в алтаре от них нет-нет, да и перепадает кое-что мальчугану, чтобы он купил себе пару модных туфель с острыми носами или джемперок. К сожалению, именно такие вещи — самое важное для этого продажного паренька, который, однако, окажется еще способен погружаться во внутренние ценности. В себя самого. Ко всему прочему — топот и шарканье ног внутри помещений, которые чересчур велики, что как раз подобающим образом соразмерно наличию Господа Бога, хотя лично Его не видеть, но места ему требуется ужасно много. Слева отроки, юные служители Господа, справа отроковицы, юные Его служительницы. Посередке слышна речь декана епархиального округа о том, что вот только что Боженка милосердный позвал приходить к нему малых сих, как будто у них в это время поинтересней занятий нет. Маленькие служки посиживают себе, отдыхают, пока идет проповедь, большинство размышляет о всяческих проделках, о всевозможном свинстве или о школьных пустяках, до чего Богу, в общем-то, особо и дела нет, помимо всего прочего он ведь отлично знает мелочные труды малых сих и относится к ним с пониманием. А вот Райнер мыслит именно о нем, о Боге лично, чтобы доверить ему свои заботы; какое-то время, совсем недолго. Бог становится даже его последней надеждой, потому что совсем худо дело, и, разумеется, тут уж Иисус должен все уладить и устроить, только вот на это нужно не только уповать в молитве, но еще и жертвовать, а отдавать что бы то ни было Райнеру не особо и хочется. Лучше не надо. Слишком ненадежно. Да и с чего это ему обязательно располагаться там, наверху, а не здесь, внизу, где член торчит, который, если верить Иисусу, ни трогать, ни сжимать, ни тереть нельзя, нельзя ни свой собственный, ни, разумеется, чужой. Теперь-то Райнер уже знает, что члена вообще не существует, потому что он есть у отца, а если чего-то не существует, то оно не может маму осквернить. Таким вот образом разрешилась довольно гнусная и больная проблема.

Один лишь образ некой гармонии остался в памяти у Райнера и пребывает там с давних пор. Девочка постарше отыскала для младшенькой нужное место в молитвеннике, после чего погладила малышку по голове, и все гладит и гладит, отчего у Райнера внутри покой разлился. Долгие годы он вспоминал об этом, лежа в ванне (импровизированной ванне, которая устанавливалась на кухне), пока мама, даже когда он был уже большой мальчик, намыливала все его тело, чтобы он везде чистый был, чадо Божье, изнутри и снаружи тоже, отчетливо различимое дитя Господне. И все же, хотя у такого вот дитяти Божьего все чисто, он всегда очень стеснялся. «Ведь я же твоя мать, которая тебя на свет произвела, и от папы тебе тоже вовсе не надо прятаться, у него точно то же самое, что и у тебя, и на том же самом месте». Это вызывает глухой вой глубоко в Райнеровой глотке, словно воет волк.

Уже давно ему разрешили самому намыливаться, но у Райнера осталось ощущение, что теперь ему уже никогда не отмыться. Осталась, скорее по недоразумению, тоска по гармонии и умиротворению, даже по красоте, о которой он часто противно порядку и

смыслу рассказывает своим одноклассникам; чтобы те поняли, об этой гармонии он повествует, рассказывая о дорогих автомобилях, авиаперелетах, целующихся родителях и сверкающем хрустале — обо всем том, что можно увидеть в их доме. Ведь это совершенно невозможно купить, оно либо есть в человеке, либо нет. Но одноклассники не верят.

— Да ладно тебе, сынок, ты везде должен быть чистый, вот Анни, видишь, не ломается нисколечко; когда родная мать моет, то это то же самое, как будто ты сам моешься. Ну, постыдись, постыдись, коли тебе так хочется, стыд-то в любом случае во вред не будет. Мы же ведь все одинаковые, то есть все — люди из плоти и крови.

«Но ты, мама, ты — нет, ты бесплотна, как Боженька, и только папа унижает тебя своей плотью, а потому я утверждаю, что плоти не существует вообще и даже хорошеньким девушкам на глянцевах журнальных фотографиях отрезаю все, что ниже подбородка, прежде чем прикрепить к шкафу. Дело в том, что плоть быстро начинает смердеть, если убить ее и оставить валяться на воздухе».

— Ох уж этот мне мальчишка, ну что ты скажешь! А теперь вытираться, да хорошенько, тут ты и сам справишься.

Исторгает звуки орган, Райнер трется полотенцем, нельзя смотреть на то, что у тебя внизу, взгляд должен быть направлен строго перед собой, все, что ты делаешь, совершается в честь высшего существа. Когда вырастешь, многое изменится, а иное окончательно уляжется на покой.

Анна почти все хочет выразить в музыке, сегодня она уже положила на пюпитр Шумана и Брамса, завтра это могут быть Шопен и Бетховен. Чего не могут сказать ее губы, то высказывает музыка, и даже то самое нечто, что берет свое начало от Бога, как уверяли, говоря о себе, многие композиторы (Брукнер, например). Райнер читает ей кое-что из ранних своих дневниковых записей, в которых говорится, что все великое может быть совершенно лишь тогда, когда оно заблаговременно распланировано и тщательно подготовлено. Фраза эта казалась ему тогда истиной в последней инстанции. И далее по тексту: «1. Что я наметил, в чем моя великая цель? 2. Что могло бы способствовать достижению данной цели?»

Тогда Райнеру хотелось еще изучать что-нибудь естественнонаучное, с уклоном в технику (химию), теперь он жаждет завладеть кошельками из чужих карманов, а впоследствии овладеть профессией германиста, который кроме того между делом сочиняет стихи. И да будет высочайшим принципом (тут прямо так и написано), что естествознание никогда не должно быть самоцелью и единственной сферой применения его мысли и действия, но чтобы оно заняло подобающее место в большей, более общей системе. Ибо он хочет, как здесь, в дневнике, написано, поставить себе пределы, стоящие гораздо выше обычного человеческого мышления, но пределы должны быть в любом случае. «Да послужит христианская вера во всей совокупности моей жизни некоей первоосновой моего существования. Отныне свою задачу как естествоиспытателя я вижу в том, чтобы пронизать светом христианской мысли ту область, что доступна мне благодаря химии, и обе эти сферы привести к синтезу (хотя бы отчасти, приписал он честно, скромности ради) — к вящей славе Господней».

— Ты только послушай, Анна! Ну, просто не верится.

«Результатом данного устремления должно стать то, чтобы химия послужила благу человека и возвысила его до более достойного человеческого бытия. В этом видится мне возможность осуществления христианской любви к ближнему через приложение всех моих

дарований, сил, способностей, всей моей жизни. И да благословит меня Господь на реализацию этого замысла».

— Ну, а как тебе это нравится, Анни? «Следующие предпосылки: 1. Оптимальные познания в химии, математике, физике, знание всей сокровищницы христианской мысли; 2. Оптимальные познания в немецком, английском, русском, французском языках. И да удастся мне при этом (ха-ха-ха!) постоянно проявлять смирение и скромность — не в том, однако, смысле (нет-нет, отнюдь не в том), чтобы заискивать перед теми людьми, которые смогли бы когда-нибудь чинить мне препятствия или которые могли бы быть мне полезны, хотя, по большому счету, действия их несовместимы с моими идеалами. Далее мне еще необходимо: 1. Самодисциплина...»

Брат с сестрой, не расцепляя объятий, катаются по полу с визгом и гоготом, брызгая друг на друга слюной.

«Вышеупомянутое должно являть собою процесс, которому надлежит совершаться в непрерывном размышлении о мире...»

— Ты можешь себе представить, что это я писал?

— Нет, — говорит Анна. Как-никак, ей удастся произнести целое слово, и это — большое достижение! И уж минуточку спустя она снова в состоянии говорить, тараторить, как попугай; о следах, оставшихся внутри Анны, правда, не известно никому.

С бесчисленных изображений и фресок на потолке Боженька поглядывает сверху вниз на неудавшихся своих чад и в толк взять не может, как это его угораздило сотворить подобное, да еще и учить их на уроках Закона Божьего. С верой у Райнера до сих пор трудности, если честно, он все еще не исключает того, что такой вот Бог все равно существует, даже если он, Райнер, вместе с Камю заменил Его на Ничто. Исчезнуть от этого Он еще не исчез, и множество священников водят дружбу лично с Его семьей.

— Дети, ужинать, — и тут же все усаживаются за любимый всеми семейный ужин. Райнер, как всегда, обращается к матери, если хочет сказать что-нибудь отцу.

— Скажи ему, я сейчас из-под него костыли выдерну, чтобы он покатился с катушек наземь, на холодный пол. Я стихотворение хочу написать, но в такой обстановке мне не на чем его построить.

— Ошибаешься, еще как есть: хочешь — половицы в крестьянской горнице, хочешь — пол из каменных плит, на выбор, — говорит Анна, что в ее положении прямо-таки речь народного трибуна. Отец немедленно начинает реветь, как разъяренный бык, что если сын смеет так непочтительно разговаривать, то сейчас он так двинет ему в копчик, что хребет только хрустнет. Тогда сын со сломанным хребтом будет червяком извиваться на полу, а вот отец хоть ковыляет медленно, но спина у него всегда прямая. Он также отмечает, что в любой момент может забрать сына из гимназии, потому что отец в семье кормилец. Мать приготовила пюре, ставит на стол компот и говорит, что в таком случае папуле пришлось бы перед людьми признать, что сын у него обычный ученик на производстве, а не гимназист.

— Что, Отти, разве не так?!

— Сейчас и тебе, Гретель, тоже достанется, да еще как, потому что я в его возрасте исполнял свой долг в подпольной организации. И теперь я все еще исполняю его за стойкой, где у меня видимо-невидимо ключей от всех номеров, к которым я в любое время имею доступ, когда захочу.

Райнер оскаливается, как бешеный пес. Спаситель с креста, сварганенного конвейерным способом для украшения крестьянских горниц, озабоченно тараторит на него.

Терновый венец давит невыносимо, так как барометр показывает бурю, и барометр семейного настроения — тоже.

— Жестокость и насилие будут сопровождать наши преступления, Анни, ты согласна? Но ни одно нельзя будет совершать в возбужденном состоянии, ведь оно замыслено не просто так, чтобы зло на ком сорвать, напротив, ему нужно будет отдаться хладнокровно, возбуждение здесь недопустимо.

— Ты совершенно прав, ибо в этом случае само преступление отошло бы на второй план, а ведь именно оно-то и должно оставаться самой сутью.

В огромном деревенском сундуке, куда целиком поместилась бы забитая свинья, валяется куча сломанных игрушек, еще с детских дней, которые, как и все в этой квартире, уцелело с давней поры, чтобы оказаться в свинцовой тоске дней отрочества, что никого особо и не радует. Еще в старом дневнике у Райнера записано, что задача, стоящая перед ним (какая бы она ни была), велика, но разве именно это не должно побудить к тому, чтобы браться за решение любых проблем — и в конечном итоге набраться силы? Что требует самодисциплины, внимания, терпимости и самоограничения. Сегодня Райнер врет всякому, кто только слушать его согласен, равно как и всем остальным, что ему-де с малолетства ограничивать себя ни в чем не надо было, ведь семья его владеет всем, чем только можно владеть. Здесь, правда, написано, что благодаря этому ограничению он станет богаче (просто в голове не укладывается!), он взберется к вершинам мысли, вот так прямо и написано, черным по белому, где будет веять суровый, свежий, очистительный ветер. Тьфу, черт, все очищенное ему теперь, как ледяной ветер в лицо. Открытка с образом Лурдской Богоматери скукоживается у ног Спасителя, где ей и место, не в головах же, и все из-за сквозняка. Четки, тоже привезенные из Лурда, подношение одной соседки, тихо раскачиваются на свежем ветру юности, туда-сюда. Свежий ветер происходит от жизни, которая только что так размашисто началась и, будем надеяться, преждевременно не оборвется.

Мать в религии находит утешение и поддержку в качестве родительницы и водительницы домашнего хозяйства, папа молча терпит, хотя Господь Бог тоже мужик, уже и имя говорит само за себя. Пусть он только не очень-то приближается к матери, этот самый Господь Бог. Несмотря на то, что она постоянно к нему льнет.

О тех похабных фотографиях с матерью, которые якобы существуют, Райнер никогда не задумывается, хотя, как он слышал, сделаны они чужими мужиками. Это исчезло из сознания Райнера так же быстро, как и вошло в него. Говорят также, будто есть снимки ее срамных органов крупным планом, однако чего не видишь, того, значит, и не существует вовсе.

Компот папа съедает почти весь, а ведь дети-то еще растут, папа же не только давно вырос, но и искалечиться успел. Мамочке даже попробовать не остается, — ведь она же этот компот готовила.

Снаружи сгущаются какие-то дурацкие облака, из них вот-вот ливанет через край. Прямо посреди вечера самого заурядного дня.

Тесно прижавшись друг к другу, близнецы покидают крестьянскую горницу, входя в мир музыки, доносящейся из проигрывателя, ведь артист — прямая противоположность крестьянину, у которого в доме такая комната. Анна погружается в молчание, а Райнер — в маниакальную болтливость, посредством которой он пытается завладеть миром и присвоить его себе.

Поэт царит в своих сферах, ему принадлежит царство фантазии, располагающее беспредельными пространствами.

Это типичное кафе, где собираются гимназисты, и поэтому много их там сейчас находится. Они ведут дискуссии на религиозные или философские темы. Гимназистки посещают джаз-фестивали, устраивают первые вечеринки, а за прекрасным церковным концертом следует и первый поцелуй. Один гимназист за мраморным столиком говорит своему подобию противоположного пола, что сейчас настала, по всей вероятности, пора, чтобы их отношения, их первое поверхностное знакомство, переросли в нечто иное, гимназистка все еще называет это товарищескими отношениями, что воспринимается гимназистом как необъяснимая холодность с ее стороны. Однако он некоторым образом ощущает, что именно это и придает их отношениям какую-то прочность, что он и высказывает. «И на вечеринке в прошлый четверг это вновь пришло мне в голову, — говорит школьник тихо и нежно, — и тем более отрадны символы, которые с такой восхитительной непосредственностью могут выразить то, что невозможно передать словами».

Ханс прислушивается к диалогу, звучащему для него, словно иностранная речь, скользит взглядом по различным сортам мороженого пастельных тонов, по выжатым чайным пакетикам и чашкам с шоколадом, но тут же испуганно забирает взгляд обратно, заметив, что взгляд этот никому не нужен.

В заключение школьник сообщает школьнице, кто кого поцеловал в тот памятный день 27 марта; до истины, вероятно, не под силу будет докопаться самому искушенному хронисту.

Ханс мысленно спрашивает себя, при чем тут какой-то такой искушенный и что значит слово хронист.

Школьница говорит о том, что радуется каникулам, и еще о том, что знаменательный день ее первого бала, бесспорно, прошел под счастливой звездой, потому что с самого начала и до последней своей минуты тот несказанно волнующий вечер оставил у нее лишь прекрасные воспоминания. «Мы танцевали друг с другом, и все мне казалось таким искрометным и радостным». Хотя оба учащиеся гимназии говорят только в прошедшем времени, но употребляют они его настолько оживленно, что в их устах прошедшее все равно предстает как живое настоящее.

Ханс слышит еще, что сосед, который, конечно же, не имеет никакого понятия о том, сколько всего может и должен уметь настоящий мужчина, был в Альпах, катался на лыжах в Этцтальской долине. Как и всегда, когда он бывает в горах, он беспрестанно думает о школьнице, которая сидит с ним рядом. «На первый взгляд может показаться странным: какая же здесь связь? Объясняется же это тем, что ввиду величия гор я погружаюсь в глубокомысленные раздумья, а разве дружба, любовь и верность — не суть проявления человеческой глубины?» — ставит вопрос школьник, школьница же сообщает в ответ, что тоже ездила кататься на горных лыжах, только в другое место. И вновь их связывали лишь слова на бумаге. «И телеграмма, которая до тебя так и не дошла: Счастливой Пасхи et basia mille^[14]. Бригитта».

Ханс хочет заказать пива, а потом еще повторить, но Софи уже заказала для него кофе и коньяк. Софи облачена в молчание, дополняющее темную плиссированную юбку и темный пуловер. Погружен в молчание и Ханс, но уже в дополнение к дорогостоящей одежде ее брата. Вокруг него точит лясы сама невинность, треплются сынки и дочки, как будто им за это деньги платят, чешут языком о таких же невинных вещах, делах и поступках. Ханс же не

сын и не дочка, потому что он сын того, кто был никем.

Пратер^[15] в первых лучах утреннего солнца, мокрая трава, мокрые листья, блаженство такого раннего вставания, кивающая лошадь, искрящаяся снежная пыль, звон стальной лыжной окантовки по вечному насту горного склона, веселый визг, когда кто-нибудь летит в снег, а потом — вечеринка в узком кругу, горная хижина, пунш или глинтвейн, альпийские песенки и танцы под гитару или гармонику, а после всего — тот самый шаг за дверь на скамеечку, когда все переглядываются вам вслед, взгляд на усеянное звездами зимнее небо, первый поцелуй и кто-то, срывающий для тебя звезду.

Хансу страсть как хочется попробовать такой вот настоящий бисквитный торт с целой горой сливочного крема, чего Софи ему не разрешает. А еще ему нельзя много пить, а потом горланить песни или сплевывать куда попало.

Увлекательные автомобильные прогулки, во время которых старшие братья или сестры попеременно берут на себя роль шофера: отец к окончанию школы подарил небольшое авто, и тебе потом тоже подарит. Домашние музыкальные вечера в гостиной, стены которой отделаны деревянными панелями, отец играет на виолончели, мама — на фортепьяно, по профессии она врач, сестрички и братья играют на флейте или на скрипке, обожаемые родителями сверху донизу, канун Нового года в вилле на респектабельном Земмеринге, хохот, хихиканье, поцелуи, молодежь тащит провиант, необходимый для развеселой вечеринки, в дом, наверх, что с работой имеет столько же общего, сколько, к примеру, мойка собственного автомобиля с загрузкой доменной печи, с каким удовольствием, с какой огромной радостью Ханс перетаскивал бы грузы и потяжелее, такие тяжелые, что все бы только диву давались, на него гляючи. Хлопотливое нетерпение перед отъездом к Троицыному дню в романтический старинный монастырь, чтобы в духовных упражнениях и созерцательном погружении в себя найти путь к самому себе, тому самому, которого утратил, чтобы потом, по окончании, говорить, что совершенно невозможно описать атмосферу этих дней Пятидесятницы. Они любят часто повторять, что невозможно выразить в словах какую-либо атмосферу, но используют для этого невероятное множество слов, не верится даже, что все их может знать один-единственный человек, но им они все известны. «Троица, — говорит школьник, который успел уже стать студентом, — Троицын день — напоминание о силе, о Святом Духе — или, быть может, за этим кроется что-то иное?»

Ханс наостряет уши, потому что уж наверняка за этим кроется что-то иное. Да не любовь ли к девушке? Сила излучения данного переживания, скорее всего, совершенно исключает что-либо иное! После завтрака ведутся дискуссии о верности и тому подобном, потом объединенными усилиями сооружается какой-нибудь обед, а после него — снова побеседовать о долге и страсти. Иные богослужения так прекрасны и глубоки и при этом настолько скромны — просто до костей пронимает.

Хансу позволили все-таки съесть еще и мороженое, и он взволнованно шлепает ложечкой по непривычной зелено-розово-коричневой жиже, поросенок этакий.

— Ну не свинья ли я чумазая? — задает вопрос Ханс, в ответ на что Софи улыбается.

— А теперь мне все-таки хочется кусок шоколадного торта.

— Да тебе плохо станет.

Никто и никогда еще не видел, чтобы Софи что-то ела, и все-таки она как-то питается, потому что ведь она сохраняет в себе жизнь, ходит повсюду, а значит, расходует калории.

Празднование дней рождения, когда все любят всех и ничтожно мелкие неурядицы лишь усиливают любовь вместо того, чтобы разъесть ее, подобно дымящейся азотной

кислоте; прохлада церкви, вольнолюбивые слова, но в меру, гитарные аккорды, единение и согласие сплоченной компании, после чего уже настала пора прощаться с отцом Клеменсом. Как жаль! Доклады с показом диапозитивов, веселые и в то же время интересные. Вечерние прогулки под звездами на приобретенной в собственность земле или неподалеку от нее. Нечто, обозначающее новое начало, новую почку, которая должна распуститься. «Вечное есть тишина — звук преходящ», — заносится в соответствующий дневник. Солнышко, родители, которые понимают друг друга, посещение древних замков, расставания, грусть, к которой примешивается радость, потому что новые встречи вполне вероятны, братья и сестры, помогающие пережить разлуку с помощью остроумных настольных игр, братья и сестры, которые даже ссорятся смеясь, фортепьяно, Дебюсси, полотна импрессионистов, озеро, овечки, мельница в лесу, золотистые облака, пешие походы с рюкзаками за спиной. Встречи накоротке, далеко идущие планы, концерты Хофбургской придворной капеллы, джаз-клубы, лимонад, бассейны, головокружительный спуск по склону Гемайндеальпе, жаль, снега маловато, травмы от падений на лыжах, которые, однако, быстро заживают, забавы, помогающие забыть про больничную постель. Чувства, которые захватывают, сюрпризы в дни рождения, певцы на домашних вечерах, когда слушали Фишера-Дескау, помнишь? Постель, в которой придется полежать пару деньков, температура, которая скоро проходит, посещения картинных галерей, похвальная оценка, полученная за классную контрольную по латыни, что надо обязательно отметить. В гостях у бабушки. Дождь, темное небо, уличные огни, заднее сиденье в машине, булочки с саями, морщинки от смеха, фото на память, шелковая косынка, интегральные уравнения, отрывок из Цицерона, размышления о том, можно ли ради истины делать других несчастными или нет. Что есть правда, что есть ложь и что есть лицемерие? Новые пластинки, тихие беседы при свечах. Красивые платья — и самое первое вечернее платье, надеваемое для посещения Бургтеатра, который очень понравился. «Дон Жуан» в Венской опере тоже очень понравился. Мальчик, которого знаешь только по теннисному корту и помнишь, что у него сильная резаная подача, вдруг помогает тебе снять пальто в гардеробе, его словно подменили, а потом он целует тебя в парке. Переходит тем самым границу, которая разделяет ребенка и взрослого. Серьезное событие, которое празднуется всей семьей. Момент, когда все представляется бессмысленным, когда лица оказываются пустыми масками, когда стоишь перед бездной, когда не видишь уже никакого выхода и т. п. и страдаешь, есть множество выражений, точно описывающих данное состояние. Проблема эта в тот же самый момент подвергается подробному обсуждению в узком кругу друзей, которое оканчивается общим взаимопониманием, чем автоматически заканчивается и сама проблема. Любовь. Лишь невежде подобает злиться, мудрый понимает, или еще одно изречение, где под конец человек ближе всего оказывается к любви Божественной. Что-то скрепляется длительным поцелуем и завершается миром. Разговоры на французском и на английском.

Верхние зубы Ханса впиваются в нижнюю губу, всю изгрыз, там сейчас дырка будет, что все-таки лучше, чем если бы перед тобой возникла принципиальная пропасть. Однако существует принципиальное взаимопонимание между ним и Софи, потягивающей через соломинку лимонад. У ее матери сегодня с утра снова был истерический припадок с воплями, после чего она поехала в свой банк, где ей что-то надо было сделать. Ханс, как всегда, играет мускулами, отнюдь не в прятки, он ерзает на стуле туда-сюда, как будто полные штаны наложил, доверительно подмигивает Софи и повествует, в свою очередь, о колоссальной попойке, во время которой один или несколько его приятелей ни с того, ни с

сего принялись выступать, стали дебоширить, да еще как, разбили что-то вдребезги. Говорит он слишком громко, все слышат, никто не понимает, но окружающие проявляют терпимость по отношению к тому, чего не понимают; там же, где терпимости недостает, ее создают посредством обмена мнениями.

Даже если здесь кто-то и расстается с кем-то, то все равно глаза блестят в ожидании новой встречи, которая, конечно же, состоится скоро, пока, чао-чао, серый фольксваген-«жук» ползет прочь и исчезает за поворотом, но многое остается с тобой: дружба и человечность. Девушка под добродушные подтрунивания своего семейства, которое как раз обедает, вдруг, как ужаленная, вскакивает из-за стола и бежит встречать своего молодого человека, которого она ждала так долго и который только что вернулся из альпинистского похода. После чего вся семья сообща предпринимает что-нибудь. Все эти ниточки общности, пронизывающие помещение, словно густой туман, приводят Ханса в бешенство. Он в ярости разрезает ложкой остатки мороженого в металлической чашке, срывая таким образом зло на невинных продуктах питания.

Рассказы о переходах через глетчеры, прощание с family. Sister-heart Кристина, посвященная в веселую проказу. Дорога на почту и полуторачасовая прогулка, уютные часы отдохновения, проводимые в баре у дядюшки Зеппа. Паренек, спускающийся к ней с горы после того, как он на эту гору взобрался. «Совершенно особенное чувство, исходящее от меня к тебе и от тебя ко мне. Старушка, приветливо кивающая нам». Погуляли, поболтали, пообедали. Гулянья под трели жаворонка. Кто-то больше всего на свете любит смотреть на траву и на небо.

Ханс улавливает токи, блуждающие во всех направлениях, струясь от одного к другому и от другого к одному. Что же это, что же там такое перетекает? Лица, к которым оно относится, не знают этому названия, во всяком случае, знают имя не прямое, но косвенное, с которым все это немедленно вступает в соединение: ТЫ! Трогаемся в сторону больницы, что на Земмеринге, эстакады, тоннели. Подъем на Йоккельгоф, приведение комнат в порядок, обед и сиеста, лень писать письма на каникулах, полоска тумана и голубое небо, которое смеется, что ему, собственно, совсем и не нужно. Множество тем, на которые можно поговорить. Взаимное понимание. Ханс поперхнулся, закашлялся, из него обратно в блюдце выливается полчашки кофе, который Софи ему заказала. Перемешанный со слюной кофе поднимается внутри него все выше и выше. В его мозгу зияет большая дыра, которую можно было бы обозначить в самом общем смысле как Ничто. Когда гимназисты разговаривают друг с другом, тогда они просто существуют друг для друга, и как раз в этой незамысловатости наружной формы находит свое выражение «беспредельная глубина содержания», говорят они на два голоса. Зачастую любопытно бывает понаблюдать за окружающими людьми, для этой надобности следует присесть на пенек. Цель совершенно очевидна и называется любовью.

Неистоимый запас, которым живут молодые люди, окружающие Ханса, иногда дает возможность заметить мимолетную встречу двух украдкой брошенных взглядов, а также то, как они ненадолго задерживаются друг на друге. Если сидишь на стволе поваленного дерева посреди хвойного леса и наслаждаешься солнышком, то тут можно про часы позабыть, не про золотые часы, конечно, но про часы, золотыми часами отмеряемые.

Ханс невольно бросает взгляд на свои старые наручные часы, не позабыл ли он их где-нибудь. Еще нет.

Софи молчит, и все в ней тоже молчит. При этом она ничего не лишается ни здесь, ни

где бы то ни было. Время от времени она приветствует кого-нибудь из знакомых. Когда она обменивается с ним парой слов, сразу же чувствуется некая необычная общность. Ханс полагает, что подобное, возникающее между ним и ней, является любовью. Она потрясает его, потому что она вообще всегда потрясает любящего человека, но Ханса она потрясает гораздо сильнее, потому что ему незнакомы такие вещи, с которыми ее можно было бы сравнить. Беспомощный, он брошен на произвол любви.

Теперь другой школьник сравнивает двух людей, понимающих друг друга, с двумя полусферами, которые точно подходят друг к другу и, соединяясь, вместе дают шар. Разговор, естественный, непринужденный, полный доверительности, идет о совершенстве этой пространственной геометрической фигуры.

Говорят о расставании, когда задумываешься, не следует ли при нем чувствовать себя так же, как и при встрече, лишь несравненно богаче одаренным, ведь встречу ты уже получил в дар. Ханса еще никто ничем не одаривал, кроме Софи (брюки и джемпер), мать время от времени покупала ему что-нибудь нужное. Софи спрашивает Ханса, какого он мнения о преступлениях. Райнер хочет пойти на преступление, и она думает, что теперь и ей этого тоже хочется.

— Эти детишки надоели мне до смерти, тебе — нет? Ты ведь привык к совсем другим вещам, чем такая вот школьная болтовня.

Ханс, который ничего не хочет так сильно, как быть школьником, говорит, что ему случалось уже взламывать сигаретные и другие автоматы, однако теперь хочется вести порядочную жизнь, чтобы добиться одной женщины, но он не говорит, какой, нет-нет, вслух признаться он не решается.

— Это Анна? — спрашивает Софи.

— Нет-нет, — говорит Ханс, — никакая не Анна, но я не проболтаюсь, кто это на самом деле, — и пялится на Софи телячьими глазами, чтобы она догадалась, что речь идет о ней. Софи не в состоянии понять, что могло бы значить такое дурацкое выражение лица, и спрашивает, полагает ли он, что противозаконное деяние помогает человеку избавиться от комплексов. Слово комплексы Ханс не понимает.

— Если еще коньяку выпить, я тут, пожалуй, спою что-нибудь веселое или отделаю парочку гимназистиков, каких ни попадя.

— Нет, серьезно, есть здесь своя привлекательность — вонзать пальцы во что-нибудь живое.

Ханс до сих пор вонзал пальцы только в сырой гипс — или в Анну в постели. Ханс говорит, что уже жарко стало от алкоголя, хотя к выпивке ему не привыкать, однажды он в одиночку три литра пива вылакал, ей-ей, вот когда он был в полном отрубе, клянусь честью.

Софи разглядывает Ханса, словно видит впервые, что неизбежно происходит однажды между мужчиной и женщиной, перед тем как последовать продолжению. Она осматривает его лицо и тело, чтобы составить общее впечатление. Бальный сезон прошел и не стоит больше на пороге, как это с ним часто бывает. На балу в Опере она танцевала со стразовой диадемой на голове, идиотство, но мама очень хотела, и все тут. Теперь есть свободное время, и можно подробнее разглядеть лицо этого самого Ханса. «Так значит, и это — тоже человеческое лицо, вот ведь как поразительно разнообразна природа», — думает Софи про себя. Есть крайнее слева и крайнее справа, и обе крайности настолько сильно сходятся, и есть даже нечто такое вот, как Ханс, что, по-видимому, никому не мешает и никого не расстраивает. В природе существует множество видов и форм, и к тому же два абсолютно

различных пола, два рода. Софи происходит из древнего дворянского рода.

Несколько месяцев назад в объятиях своего партнера по танцам Софи все забыла, прежде всего окружающих, теперь же она хочет вновь все забыть в поступке совсем другого рода. Вот так: у нее есть то, о чем другие лишь мечтают. А она хочет лишь одного — забывать.

— Тебе ведь нельзя на такое идти, ты же из семьи, у которой нет такой привычки, — говорит Ханс.

— Главное, чтобы я к этому привыкла, — говорит Софи, которой хотелось бы многое ниспровергнуть, этого же хотят и Анна с Райнером. Правда, ниспровергать им хотелось бы разные вещи, потому что у них в собственности находятся вещи, различающиеся по качеству.

Райнер, который вообще и зван-то не был, но хитроумными расспросами выведал, куда они собираются, заходит в кафе, небрежно кивая на все четыре стороны, ниоткуда не получая ответа, и тут же начинает говорить о преступлениях. Пожалуй, это заразно. Говорить о своей любви к Софи он не хочет, ведь тут Ханс сидит.

— Преступление приносит тебе подлинную зрелость, — заявляет он. У Камю в «Постороннем», которого они как раз сейчас читают с Софи и больше ни с кем, главного героя тоже сажают в тюрьму и приговаривают к смерти. Поскольку до его слуха доносятся снаружи нежные звуки, производимые природой, он начинает ощущать тонкие оттенки. Что весьма существенно, ведь обыденность скорее разрушает утонченную восприимчивость, нежели пробуждает ее. В ближайшем будущем Венские акционисты^[16] (это он предвидит уже теперь) приступят к разрушению своих собственных тел, мы же хотим разрушать чужие тела, что дает более сильное удовлетворение.

— Кто это вдруг по своей воле примется разрушать собственное тело, которое у него одно-единственное? — спрашивает Ханс.

— Человек искусства наверняка станет уродовать себя, и так только и должно быть. Мне самому тоже часто хочется разорвать себя на клочки и клочки эти выкинуть.

«Я хочу лечь на Софи в целостности и сохранности и войти в нее», — думает Ханс. Он хочет заняться с ней тем же, чем и с Анной, только гораздо лучше, потому что тогда ведь еще и любовь добавится.

Софи внимательно смотрит на Ханса. Райнер хочет, чтобы она на него, а не на Ханса, смотрела внимательно, и швыряет на пол только что принесенный стаканчик мороженого. Прежде чем он начинает топтать разноцветные шарики, потому что они ему пришлось не по вкусу, а деньги не имеют никакого значения, когда ты вне себя, Софи произносит:

— Ты что, рехнулся?

— Стоит тебе только пожелать, Софи, и я Хансу велю, чтобы он все это вылизал.

— Ты опять ведешь себя как дитя малое.

— Я те покажу сейчас, кто тут что вылизет, — реагирует Ханс.

Официантка в черно-белом одеянии, как гибкая ласка, снует между столиками, и недоросший высший слой обращается с ней на равных, причем черно-белое сливается в серое, потому что различие тонкое, и нужен наметанный глаз, чтобы воспринимать такие различия. Некоторые говорят с ней, как равные с равной, хотя у них есть вилла в двадцать комнат в презентабельном Хитцинге. Они приходят к ней со своими ничтожными горестями, главным образом школьными, которые она пытается разрешить. Любая профессия дает удовлетворение, если работать добросовестно, эта же — в особой степени, потому что здесь общаешься с людьми. А человеческий материал, с которым здесь

сталкиваешься, неплох.

— И ты, Ханс, тоже запомни хорошенько, — все зависит от того, как, а вовсе не от того, что.

Райнер говорит, что планируемое убийство или нападение суть не сумасшествие, но вполне разумный вывод, когда ты вынужден влечить существование, материальная база которого ненадежна.

Ханс говорит, что все-таки это глупость, нельзя намеренно наносить раны окружающим.

Софи отвечает, что если она поняла правильно, то делать это можно, однако исключительно лишь ради самого акта насилия как такового.

— Ну, ладно, деньги, конечно, дело второстепенное. Убийство есть не что иное, как горстка приведенной в беспорядок материи, — считает Райнер.

Софи возражает что-то, и Ханс присоединяется к ней. Он говорит, что разделяет мнение Софи.

Райнер говорит, что пусть он вообще заткнется, раз уж не имеет ни малейшего представления о диаметрально противоположных полюсах мышления — ни о его абсолютной автономности, ни о его полнейшей зависимости. Софи, желая его подразнить, говорит Райнеру, чтобы тот шел учить уроки, а потом разрешает поразмышлять над тем, что хорошего он себе купит на добытые деньги. Райнер орет, что плевать ему на деньги, так же точно, как и Софи на деньги плевать, он ничем не отличается от Софи, и восприятие его тоже ничем не отличается.

— Может быть, купишь себе велосипед, — продолжает Софи, — или полезные книжки, конструктор...

А теперь пускай он уходит, она сегодня с Хансом договорилась встретиться, а не с ним, так вот пусть он за ней и не шпионит.

Ханс говорит, что согласен с мнением Софи.

Райнер объясняет, что некто, контролирующий ситуацию, не шпионит вовсе, потому что все нити в его руках. А еще он написал стихотворение специально для Софи, в котором окончательно расправляется с христианским мышлением, так что теперь оно не в счет, раз и навсегда.

Софи говорит, что Райнер будет строчить свои стихи и тогда, когда станет угодливым чиновником на государственной службе. Ханс говорит, что он тоже так думает. Софи отчетливо чувствует, как Райнер доходит до предела, словно во время мастурбации, когда приближается оргазм. Ханс говорит, что он придерживается того же мнения, что и она. Он полностью под этим подписывается.

— Вахлак полуграмотный, — вопит Райнер, и багровые пятна мелькают у него перед глазами. А еще у него перед глазами Ханс и Софи, поющие в унисон, и спелись они, кажется, очень основательно. И он тут лишний. Нет, это все наносное, а вот между ним и Софи, напротив, — глубина. Глубина идет не вниз, она простирается внутрь. Он говорит, ему дела нет ни до Бога, ни до своих родителей, которых он ненавидит, вот именно! и Бога этого тоже ненавидит, и оттого-то он один более свободен, чем они оба! Он решил твердо, что ничто не имеет ровно никакого значения. Но сначала им следует узнать, что же есть это самое Ничто, которое есть ничто.

— Здесь я должен полностью согласиться с Софи, — говорит Ханс, а пока я наконец-то дам тебе в рыло, Райнер.

Однако Софи удерживает его. Райнер замечает, что Ханс является посторонним элементом, мешающим жизни Софи, что, однако, не следует смешивать с посторонним субъектом. Потому что Ханс в действительности для Софи лишь объект, предмет, и больше ничего.

— Ах, черт, я, оказывается, кошелек дома забыла, — восклицает Софи. — Дай-ка мне денег до завтра, ведь это я Ханса пригласила и угощаю.

Райнер, который знает, что не должен быть мелочным, чтобы не показаться мелким, тут же расплачивается. Не без того, чтобы ясно не показать Хансу, что именно он за него платит.

Софи выглядывает из окна наружу, в тихую улочку с виллами.

— Тут я полностью согласен с Софи, — говорит Ханс.

Мать по ночам все чаще вскрикивает от боли, и эти звуки доносятся до чувствительных и сильно наостренных ушей подрастающего сына и подрастающей дочери. Они не раз слышат, что отец хочет застрелить мать, потому что она провинилась, совершив преступление против института брака. Райнер знает, что никакого преступления не совершалось, просто жизнь ее так безо всякого смысла и завершается, а совершать она никогда ничего не совершала, да и с кем она могла бы что-то совершить, с ее-то теперешними телесными формами. Жизнь матери предстает как долгая вереница лет, лишенных всякого смысла, подобно тому как низшие классы общества суть не что иное, как длинные вереницы людей, из которых никогда ни один человек не выделяется на общем фоне. Они застревают там, да так и остаются в пошлой заурядности, никогда не вскарабкиваясь на следующую ступень. Лишь случайно кто-нибудь из них попадает наверх, где больше места, где можно развернуться, где есть какое-то развитие. В джазовых подвальчиках сидят обычно граждане второго сорта, шансы которых невелики, они слушают Райнера, который вновь пространно разглагольствует все равно о чем, будь то о Боге или о современном направлении «холодного джаза» и его композиционных структурах. Одноклассники стараются улизнуть, едва завидев Райнера, им слишком хорошо известно: их ожидает занудный монолог, невозможно будет и словечка вставить. Парень этот — тоска смертная. Дёру отсюда. Даже если некоторые его соученики во многом разбираются лучше Райнера, он ведь все равно им и рта не даст раскрыть.

Когда мамочка испускает ночью тихие ойканья, на следующее утро Райнер смотрит на отца так, что тот сразу же говорит, обращаясь к свидетелям: «Вы только полюбуйте на этот взгляд! Он же что угодно может сделать с собственным отцом»!

За завтраком Анна упрекает свою мать, что та исковеркала ей жизнь, а Райнер предрекает своему отцу, что лично он, Райнер, ему, отцу, жизнь еще исковеркает.

Райнер является натурой лидерской, что сразу же становится очевидным для всякого, однако никто не берет на себя труда взглянуть в него повнимательнее. Поэтому можно не сомневаться в том, что он станет вожаком, когда будет предпринято нападение с целью грабежа.

Все не сводят с него глаз, ожидая, что же он предложит относительно предстоящей акции. Софи больше всех не сводит с него глаз, и зарождающаяся симпатия перерастет в любовь. Следующий шаг — не подвергать любовь сомнению: она тут как тут.

Он лично постиг и познал ужас, — и в этом сила Райнера. Часто ужас приходит к нему в облике сна: Райнер ночью идет по улицам, с деревьев опадают листья, падают и засыпают его с головой. И когда он пишет стихи, побуждают его к этому либо книги, либо погода.

Сегодня в школе директорский день, значит, в виде исключения, уроков нет. Непривычно свободный день распадается на торопливо разбегающиеся по сторонам виды деятельности, в которых участвуют самые разные персонажи в самом разном и постоянно меняющемся составе. Райнер рано уходит из дому, держа путь в слесарную мастерскую и лелея намерение заказать дубликат ключа от отцовского футляра с пистолетом по дилетантски изготовленному восковому оттиску. Он не знает еще, зачем это делает, но, вероятно, намерен спрятать пистолет в безопасном месте, чтобы его папочка не застрелил насмерть его мамочку, о чем ей неоднократно было объявлено без сколько-нибудь

достойных упоминания последствий. Только ведь как знать, как знать... Как бы то ни было, одно совершенно ясно: нет пистолета, нет и выстрела. Позднее Райнеру придется убедиться в том, что ключ не подходит совсем и не закрывает, ведь не было еще такого, чтобы что-нибудь, сделанное Райнером, срабатывало на сто процентов, за исключением тех случаев, когда речь идет о мозговой деятельности. Все дело в том, что Райнер — человек рациональный. Бог есть Богочеловек (Иисус), а вот Ханс — человек действия, которого нужно направлять. Он начинает думать лишь тогда, когда уже слишком поздно. Чаще всего он творит какие-нибудь глупости. Тут Райнер только еще жару поддает и отдает противоречивые приказы, которых никто не понимает и которые поэтому каждый выполняет по-своему, а не так, как подразумевалось.

Наполовину немая Анна идет играть камерную музыку, и при этом из-под ее пальцев может возникнуть светлый купол из звуков, которые столь редко в таком количестве могут пробиться наружу из ее уст. В голове ее мрак от абсолютно дурных поступков, только вот язык в настоящее время не очень-то повинуется воле. Анни худеет все больше, и «глаза ее пылают темным огнем на отмеченном печатью проклятия личике» — Ханс вычитал такую характеристику в одном весьма содержательном романчике, но иногда ужас охватывает, когда видишь всю безнадежность и отчаяние этого поколения в таких вот глазах, в которых словно бы нет дна, нет перегородки, и вся мерзость внешнего мира проникает прямо в мозг и производит там опустошительные разрушения. С единомышленницами Анна играет трио Гайдна, в котором ведет партию фортепьяно, прозрачность Гайдна возносится — в отличие от невнятности Брамса или Малера — к потолку комнаты, мутное смятение Анны остается внизу и поудобнее располагается внутри девушки. За смятением следуют, в порядке их появления, желания ранить, убить, лишить всего. И еще — внизу живота неприятно тянущее чувство, которое и имеет в виду Ханс. «Он теперь все чаще пропадает где-то, надеюсь, не у Софи, хотя, наверное, все же у нее. Софи не такая, чтобы трахаться с кем ни попадя, да и мой брат Райнер видит в половом акте унижение и для женщины, и для мужчины». Если бы Софи против всякого ожидания вдруг пошла с ним в постель, он стал бы рассматривать это не как унижение, но как нечто поднимающее к высочайшим высотам. Как-никак, у него есть еще шансы на повышение и кое-что впереди, а ведь если бы она согласилась, то все, увы, было бы уже позади. Надежды питают нас, когда все еще впереди, а не далеко позади.

Анна рассыпает быстрый пассаж, как японский жемчуг. Скрипка вступает из рук вон плохо, музыкальный слух Анны жалобно скулит, умоляя скрипку больше упражняться дома. Сегодня играют для удовольствия, а не по обязанности. Материнскому сердцу Анна большая отрада, в ней наконец-то сбываются девические мечтания госпожи Витковски об искусстве и культуре, чего самой не суждено было достичь, ведь замуж-то вышла за грубияна-офицера, делом рук которого было — убивать, а делом головы — получать от этого удовольствие. Лишь четыре года проучилась она игре на рояле, а ведь это вообще ничто для такого большого инструмента, который мог бы стать королем всех инструментов, не будь еще более огромного — органа. Четыре года вообще не срок, коли речь идет о приятном. При других обстоятельствах они могут быть и вечностью.

Райнер заходит к слесарю, потом готовится у школьного приятеля к выпускным экзаменам, Анна камерно музицирует. Друзей у Райнера нет, одни приятели. Райнер сейчас у приятеля.

Как всегда, родители принимаются торопливо фотографировать, чтобы должным образом использовать отсутствие детей дома, лови мгновенье, быть может, оно у тебя

последнее!

Господин В.: — Сегодня ты будешь развратной служанкой, которую надо проучить за прегрешения как по службе, так и в личной жизни.

Госпожа В.: — Ой! (Он ставит ей синяк.) Я и так для вас только служанка, больше ничего. Пояс уже мал, я еще поправилась. Последние разы мы играли в гимнастку под душем.

Господин В.: — Не смей называть игрой то, что является серьезным делом. Радиус действия у меня ограничен, ноги не хватает, но если человек делает то, что он делает, хорошо, то к этому всегда надо относиться серьезно.

Госпожа В.: — Мне надо будет использовать реквизит, Отти?

Господин В.: — Ты меня разозлила, а теперя вдобавок нарушила душевное равновесие фотографа-любителя. К тому же и стыдливость у тебя притворная, как ты ее демонстрируешь, а ведь именно это и надо бы тебе уметь. Что касается реквизита, не могу же я принять решение спонтанно, потому что человеку искусства надо ждать вдохновения. А оно теперя исчезло. Ты чувствительно задела самолюбие фотографа, назвав мое занятие «игрой», или как ты там выразилась.

Госпожа В.: — Я вовсе не хотела задевать твое самолюбие, Отти.

Господин В.: — И все же ты задела его, вот тебе мой фирменный удар костылем.

Удар следует немедленно, однако попадает в стену, оставляя на ней еще одну из множества небольших вмятин, ибо супруга вовремя отпрыгнула в сторону, повинувшись рефлексу, наработанному вследствие частого возникновения подобных ситуаций и сейчас, в виде исключения, ее не обманувшему. Вмятина пребывает в обществе многочисленных единомышленниц, берущих свое начало в прежних акциях подобного рода, которые и дальше продолжают уродовать и без того обезображенную стену.

Как ни странно, день имеет еще свое продолжение, и поскольку первую его половину удалось прожить так здорово, получаешь в награду вторую половину. Начинается она после обеда, в течение которого Райнер многословно пророчит своему отцу, что он ему, папочке, еще как поломает жизнь, вот он увидит.

Родители разодеты по-праздничному: отец, как всегда, с иголки — он каждую неделю покупает себе новый галстук, а воротничками его сорочек, отутюженными до остроты бритвенного лезвия, можно кого угодно зарезать, как-никак, он сердцеед и пользуется соответствующей репутацией, — мамаша как только что из мусорки, на ней разномастная одежда, отдельные части которой никак не желают сочетаться друг с другом, да они не сочетались даже и во времена юности. Родители направляются в гости к тетке, которой всегда становилось жутко от Райнерового взгляда, в нем что-то такое пронизывающее и притом коварное — тетка уверена, что он способен на все. Райнер порадовался бы, услышь он о себе такое.

Родители счастливы, покидая дом, дети — в нем оставаясь, и сегодня для разнообразия фотографирует Анна. Райнер на прошлой неделе увидел в комнате Софи фотокарточку ее оксфордского брата в костюме фехтовальщика и со шпагой в руке. Сегодня Райнер обнажает скаутский походный нож, который, собственно, по своему первоначальному предназначению является отправленным на пенсию походным кинжалом гитлер-югендских времен, и изо всех сил старается принять позу, чтобы было похоже на фотоснимок брата Софи. Ноги в исходной позиции выпада, или как там это называется, в одной руке кинжал, другая легко и грациозно на отлете, чуть согнута. Результат: выглядит убого.

— Постой, Анни, я придумал, как можно исправить жалкий результат, — я возьму штык отца, который тот в свою очередь получил от своего отца, даже не верится, что у этого чудовища есть отец с матерью, которые его когда-то зачали и родили, однако таковые у него действительно имеются, доказательство: штык времен Первой мировой войны.

— Может, ты еще и помнишь, в какой из сотни пустых картонок из-под стирального порошка хранится этот самый штык, будь он неладен? — спрашивает Анна скептически (сегодня ее голосовые связки срабатывают), озирается вокруг и переводит пленку.

— Знаю, фибровый чемодан в третьем ряду сверху, четвертая колонна слева, если так будет продолжаться, мы просто зарастем наглухо. Спасательные команды нас откапают, но мы уже задохнемся, хлама тут на пять жизней хватит.

Чемодан открывают, извлекают штык, а теперь все сначала. С таким солидным тесаком (длина лезвия составляет 25 см) дело пойдет не в пример лучше, и действительно — пошло. Вот уже снимки отщелканы, готово, очень кстати кровожадное выражение лица Райнера, потому что он думает о насилии. Выражение лица не просто должно быть жестоким, в нем должно отразиться смятение человека, который читает Камю и, истерзанный этим миром, вынужден прибегнуть к убийству. Камю — экзистенциальный нигилист, однако он верует в Бога, что Райнер ошибочно тоже делал прежде и с чем ему до сих пор приходится бороться, но уж если такому человеку, как Камю, приходится бороться против того же, то, значит, ты в хорошей компании. Камю — сверхнигилист. Ничто есть ничто и оттого лишено смысла. Цепляться за ничто — трусость, точно так же как и цепляться за Бога. «Абсурдное в понимании Камю можно было бы, по моему мнению, отождествить с этим самым Ничто. Камю возводит боль, равно как и скуку, во вселенский принцип. И то и другое знакомо мне по личному опыту. По этому вопросу читай "Бесов"^[17]. Лучше всего — вместе с Софи». Книгу надлежит читать вместе с любимой женщиной, которая отличается от всех остальных женщин тем, что она раз и навсегда стала бесплотной, окончательно лишившись телесности. Анне и мамочке под страхом смертной казни запрещено оставлять где попало пропитанные кровью клочья ваты и марлевые прокладки. Эти и им подобные предметы неукоснительно следует бесследно уничтожать либо удалять прочь. Анна и без того так бы поступала, она ощущает потребность сразу же устранять любой след своего тела/ И все же она признается себе, что ей приятно, когда в это тело проникает Ханс. Порою она перестает говорить, иногда — есть, даже супу не хлебнет, а если все-таки и хлебнет, то сразу сует пальцы в глотку, и суп, который ну ничего плохого ей не сделал, стремглав рвется из нее наружу. Жалкие остатки немедленно исчезают в унитазе, подобно окровавленной вате, которая, в свою очередь, свидетельствует о неприятном физиологическом отравлении. Прочь, с глаз долой, чтобы все было прощено и позабыто, как будто его и вовсе не было.

Райнер несколько раз делает какие-то странные неуклюжие прыжки, о которых ни один человек не смог бы сказать, что они должны изображать, и бешено размахивает штыком во все стороны.

Анна говорит: — Да постой же ты спокойно, а то все смажется, ведь тут темно.

Райнер являет собой жалкое зрелище, а то, что получается на фото, выходит еще более жалким, чем в натуральном виде. Глазок фотоаппарата безжалостен к любому дилетанту, а Райнер и есть дилетант.

Сейчас Райнер и Анна пойдут к Софи, Анна — чтобы застать там Ханса, Райнер — чтобы разьяснить Софи, отчего следует быть безжалостным к себе и к другим. К другим — еще безжалостнее.

Под его предводительством и руководством будет совершено первое преступление, а затем, надо надеяться, и следующее, и это — лишь начало их преступной карьеры.

Дорогостоящая фотокамера укладывается на место, так же точно, как она и до того лежала в футляре, чтобы папа не заметил, что после работы она еще выполняла нелегальную работу. Близнецы рука об руку появляются перед общественностью, которую в данный момент представляет одинокий клен, листья его угрожающе трепещут на ветру, а поодаль стоят другие деревья, и вскоре распускаются цветы, чтобы украсить город.

Анна не приемлет никаких украшений для своей персоны. Она стремится навстречу Хансу, который, конечно же, ждет ее не дожидаясь, когда она с ним, ей не нужно заботиться о своей внешности, потому что для Ханса важнее то, что находится у нее внутри. Райнер, одетый в выстиранный джемпер, примеряется в мыслях к тому, что у Софи внутри. Дальнее расстояние брат и сестра приправляют беседой на культурные темы, и расстояние благодаря этому быстро сокращается.

Зайти в бар они не осмеливаются, потому что по возрасту подпадают под закон по охране юношества, делящий людей на два класса, одним позволено всюду ходить, а другим нет. Что это за бар такой, видно по автомобилям, стоящим перед ним на улице. Любому, кто спросит, они бесплатно поведают о состоянии кошелька своих владельцев.

Всей молодежной компании нужно быть начеку, независимо от их планов, ведь в любой момент может появиться какая-нибудь профессионалка и турнуть их прочь. Анна берет на себя роль вечно манящей женственности, потому что Софи выглядит чересчур невинно. Это не панель для младенцев, но время от времени тут промышляют и младенцы, если нужны карманные деньги на новые пластинки. Навстречу Анне, облаченной в одежды доступного наслаждения, шагает пиджак, не особенно ладно скроенный, но крепко сшитый и весьма предприимчивый в этом огромном городе, который не сказать, чтобы так уж был огромен, да, собственно, и не город вовсе. Он поднимает бархатный занавес, открывая сцену, и направляется в номер гостиницы, предназначенный для верхушки среднего класса, но выдаваемый владельцем пиджака за нижний высший класс. По покрою видно, что дяденька явно родом из провинции, хотя сам он о себе мнит иное — шагая поступью светского льва, привычного к роскоши.

Это явный самообман, потому что он в данную минуту клюет на Анну.

Та робко походкой выходит из ближайшей подворотни: «О, Боже мой, как страшно домой идти, мамочка или папочка меня непременно прибьют, я ведь так загулялась, что и про время позабыла. Прошу вас, помогите, ведь я такая незащищенная девочка, у меня такие трудности, которые одной не преодолеть».

Дяденька глядит сначала с опаской, проверяет и прощупывает, а потом говорит себе в оригинальных выражениях, как, мол, повезло, что ему прямо в руки свалилась совсем молоденькая и еще вполне свеженькая, будет о чем впоследствии приятелям порассказать.

«Сдается мне, что здесь, в угрюмом венском закоулке, я снял совершенно невинную девочку, у которой даже вот и родители есть, а о том, как ласкать друг друга "валетом", поди, и понятия никакого нет, стало быть, я сам смогу ее этому обучить, ура!»

— Милая барышня одна-одинешенька, мы этому горю поможем. У меня уютный и очень дорогой номер в гостинице, даже ванная комната имеется.

— Ах, правда, как ужасно любезно с вашей стороны, а то я совсем растерялась, куда мне и что и как, но теперь, глядя на вас, я спокойна.

— Поцелуй меня в качестве задатка, мышка моя! (Полный идиот, ведь в любом случае

платить ему придется!) Я буду добр к тебе и прекрасно знаю, куда, что и как нужно, я не грубый самец, а тонкий ценитель женщин, птичка, который, по желанию, сделает кое-что, чтобы тебе не залететь.

— Так и быть, поцелую, хотя знаю, что нельзя целоваться с незнакомыми мужчинами.

Провинциала ее готовность несколько охлаждает и разочаровывает, потому что неопытная на первый взгляд девчушка обнаруживает некоторую осведомленность в делах телесных, а там, глядишь, еще и раскошелиться придется, чего в общении с женщинами ему, как правило, делать не приходится, ведь столько лет подряд он поставляет свой солидный товар в большие города и на рынки помельче. Ну и гулял бы себе не здесь, а где-нибудь в Гензерндорфе или Оттеншлагге, если бы не искал исключительно столичных развлечений.

— Поди ко мне, золотце, прямо не терпится, предвкушаю, чем мы сейчас займемся, и надеюсь, нам с тобой удастся проскользнуть мимо ночного портъе, господина Фишера, потому что номер я снял одноместный.

— Наверняка клоповник, могу себе представить, — робко язвит Анна, демонстрируя сомнение.

— Я могу каждый раз останавливаться в «Бристоле», стоит только захотеть, но я не хочу. Я агент по машинам.

«Насчет машин соврал, на самом деле — дамский конфекцион. В городе приходится говорить про машины, чтобы по-бабьи не звучало, а в провинции чаще говоришь о дамском конфекционе, потому что так соответствующую дамочку проще завалить в постель, если пообещать ей на выбор шикарное платье».

— Вы что же, всю свою выручку так вот с собой и носите, это ведь опасно, рискованная вещь — асфальт большого города, здесь на каждом шагу преступники. Какой вы смелый!

— Принципиально не ношу денег при себе, — говорит этот недочеловек и невольно прикладывает ладонь к пиджаку, туда, где сердце, а потом кладет ее на Анну, туда, где у всех женщин бюст, а вот у Анны пока ничего не прощупывается.

— Ты рот от удивления разинешь, на какие штучки я способен, — распускает слюни торговый агент, перенося внимание на Аннину попку, зачатки которой как-никак наличествуют.

— Самое большое удовольствие мне доставляют прекрасные очертания и формы женской фигуры, — брызжет слюной коммивояжер и перечисляет еще несколько деталей, как будто хочет сбыть все подешевке фирме швейных изделий «Пайтель и Майсен». Он знает это на собственном опыте, не понаслышке и подвергает дополнительной оценке, потому что Анни как раз наклоняется и поправляет шнурок на ботинке, что по предварительному сговору представляет собой условный знак. И знак этот сразу замечен. Из тьмы дальнего проулка выныривают силуэты и на беззвучных подошвах перемещаются поближе в переулок, мощный булыжниками, между которыми беспорядочно пробивается сорная трава, свидетельствуя о запущенности городского хозяйства. Злодейство подкрадывается бесшумно, как приближается всякое злодейство, чтобы его не слишком рано распознали.

— Я больше не могу терпеть, давай зайдём в подворотню, я хочу почувствовать твои жесткие губы на своих губах, — исторгает Анна знойный призыв.

— Это сколько тебе будет угодно, куколка, — выдыхает путешественник, у которого в мыслительном устройстве все туманом заволочло, — уж я-то не поскуплюсь ни в коем разе, тебе ни в чем отказу не будет, милочка, хоть я и из Линца, но человек широкий, когда надо.

В Линце на голубом Дунае такие девчушки еще подпадают под закон о защите детства, и полиция защищает их очень тщательно, здесь же, в гнилой и протухшей столице, ими можно попользоваться, а потом отправить восвояси.

А вот и подворотня, скорей туда, и рука шустро ныряет под платице, но тут, как из-под земли, позади него выныривают грабеж и разбой собственной персоной, и пока человек из Линца шарит у Анны под юбкой, на его линцевскую головушку обрушивается тяжелый и твердый кулак, принадлежащий Хансу, рабочему человеку. Кулак этот хотя и не отправляет ухажера в царство снов и идеальных видений, однако весьма ощутимо сбивает с любовного ритма и валит с ног прямо в грязь и слякоть; беда не приходит одна, и те, кто образует ее свиту, ведут себя не лучше. Ханс пружинисто подпрыгивает и топчется по жертве ногами, попадая в самые разные части тела, в какие — в темноте не больно-то отличишь, но есть надежда, что попадешь туда, где всего больнее. Анна поглощена тем, что кусается, царапается и молча, как заведено у женщин, отвешивает ухажеру пощечины, и все это сваливается на одну и ту же бедную торгово-представительскую голову, женщины в аналогичных ситуациях всегда целят в голову, вам любой специалист это скажет. В физической деятельности такого рода навыка у них нет, иначе им было бы известно, что череп особенно тверд и прочен, ведь он защитной оболочкой облекает мозг человека. Путешественник громко стонет, давая выход своему разочарованию, ибо получается не любовь, а прямо в глаз и в бровь. «Это западня», — соображает он, но от этой верной догадки проку ему мало. Кричать у него больше нет возможности, потому что Софи весьма находчиво, повинувшись безошибочному инстинкту, бросилась закрывать ему рот. «Только бы эта сволочь меня не укусила».

— Ну-ка, ты, падаль, заткнись, а то ведь мы на такой случай и нож с собой прихватили.

Нож сразу выставляется на обозрение. Торговый человек, до сих пор видевший нож только в руках своей жены и только на кухне, удрученно молчит.

— Где бумажник?

— Возьмите, он во внутреннем кармане, жизнь мне дороже, я предпочитаю ее деньгам. Это вообще самое ценное.

«Четверо на одного — трусы какие, дома расскажу супруге и своему шефу, скажу, что их было шестеро. Ой!»

Набитый бумажник экспроприируют, упитанному и откормленному коммивояжеру вновь достаются пощечины, пинки, угрозы, оскорбления, плевки и унижения, достается всему его телу. «И ведь совсем еще молодые девчонки, они в дочери мне годятся, в смысле возраста, однако они — дети других людей, которые — и это весьма прискорбно — скверно их воспитали, так что они стали несовершеннолетними преступниками. Тьфу, противно, тут только плюнуть и остается. В Линце такого безобразия нет».

— Может, член ему вытащить и прижать как следует? — взвинченным тоном вопрошает Анна.

— Не делай этого, — отвечает ее брат, предводитель, который пристойно держится в сторонке и прочувствованно дирижирует происходящим.

— Ты что, думаешь, мне не противно? Но я вычитала у Батая, сколько всего можно проделать с членом, — настаивает сестра упрямо и уже принимается копошиться там внизу. — Надо причинить ему такой вред, чтобы он на долгое время был непригоден к употреблению. Тогда и супруге его от нас достанется путем передачи действия на расстоянии.

— Брось, ведь деньги уже у нас, теперь сматываемся, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности из-за необдуманного риска.

— Но мы же договаривались, что деньги ничего для нас не значат.

— Деньги ничего для нас и не значат, но с ними как-то спокойнее.

— А я не хочу успокаиваться, я возбуждена, всего-то минуту и потребуется, чтобы его достать и обхаркать. Подержите-ка.

Сказано — сделано. Даже Райнер помогает держать жертву, чтобы Софи не подумала, что он участвует только ради бабок.

— Ну что, импотент, не думал, поди, что стряется такое, надеялся, тебя тут ублажать будут, свинья вонючая.

Член извлекают и густо оплевывают.

— И эту вот мелочь он мне всерьез хотел предложить! Такое — и мне? Теперь ему надолго заказано женщинам свой жалкий прибор предлагать, наверняка всякая охота прошла.

— Все, валим отсюда!

Ханс напоследок отвешивает пинок торгашу из Линца и его воробышку, который теперь уж по меньшей мере полгода не всколыхнется и не шелохнется, а ведь в самом начале все выглядело так, будто он сможет пожать даже больше, чем посеял, — затем с силой бьет ногой в шею, а потом по светящимся в темноте белым фрагментам подштанников, человек из Линца опрокидывается на бок, проливает немного линцской крови и мгновенно умолкает, хотя наверняка не получил сколько-нибудь серьезных телесных повреждений. Однако запомнит он это надолго.

Вся компания выскальзывает из подворотни в темноту улицы, которая выплюнула их наружу незадолго до этого, ведь даже мрак ночного города терпеть не может таких невоспитанных подростков.

— А давайте на него еще и помочимся, — предлагает Ханс, заведенный действиями Анны.

— Нет, не будем, надо сматываться, — хрипит Анна и тянет его за собой. Ни с того ни с сего она вдруг заторопилась.

Софи одета в простое темное платье и сливается со стеной дома. Озноб продирает ее, дрожь смешана со странным тянущим ощущением внизу живота, которое появляется в последнее время все чаще. Она не может объяснить данное чувство, но это не детская любовь и не дружеская верность. Конечно, скорее всего, в этом ощущении выражается нечто отрицательное, слушаться его нельзя, потому что любое чувство всегда ненадежно.

— Пойдем, Софи, — едва слышно выдыхает Райнер, обнимая ее за плечо. Она стряхивает его руку и стрелой летит по улице, подобно черной нитке, которую кто-то быстро тянет по гладкой поверхности стола.

Чтобы внести ясность в свое неопределенное существование, Райнер, Анна и Ханс напрямик гонят туда, где ясность обретается по долгу службы: на виллу Софи в Хитцинге. День всегда лучится сиянием там, где молодые люди сияют своей юностью. День сияет с ними за компанию. Уже довольно тепло, за такой весной обычно приходит жаркое лето, которое разметает их в разные стороны, как только закончатся выпускные экзамены. Кто-то надеется, что отправится в ту сторону, в которую удалится Софи. Скоро ее босые пятки засверкают на набережной Круазетт, асфальт там уже теплый, горячий даже, и теннисная ракетка горделиво торчит из фирменной спортивной сумки. Мама, как и всегда, укрытая шелковыми шальями и платками от солнца, которое приносит ей одни только неприятности, потому что у нее светлые волосы и очень белая кожа, будет истерично руководить всем и вся из кафе и каждую минуту бросаться к телефону. Она будет говорить, что они с Софи встретятся за чаем. Послушание сидит у Софи внутри, подобно пружине, которая напрягается и ослабляется, сжимается и разжимается без напряжения и без боли. Так бывает с легким и красивым животным, которому едва-едва даешь шенкеля, не нанося ему ран и не выводя из строя. Ханс останется в Вене и будет частенько ездить на велосипеде в Гензахойфель, чтобы осыпать смазливых парикмахерш сальными шуточками, ведь за последнее время он вдоль и поперек узнал, чем можно заняться с этими подстилками и что у них к чему. Он не принадлежит еще к числу лиц, которые тоскуют по Софи и по Ривьере, ему и невдомек, что эта самая Ривьера существует. Райнер и Анна о Ривьере, к сожалению, наслышаны. Летом им снова светит отдых в ненавистном Вальдфиртеле, от которого надолго остается тягостное впечатление, и отдыхать им придется в местах наиболее безотрадных и пустынных, именно там, куда, как назло, занесло их родную тетю Сисси, чтобы заманивать к себе здоровым деревенским воздухом как раз тех людей, кому нездоровое нравится гораздо больше здорового. А ведь сколько таких, для которых здоровье есть наивысшее благо. И как раз им-то этого не дано. Организм должен подвергнуться оздоровлению, а потом на смену здоровому климату придет учеба в университете и откроет сезон разрушения здорового организма.

Пока же впереди у них экзамены на аттестат зрелости, но вслух об этом не говорят — считается дурным тоном.

А вот перед ними и Софи, какая неожиданная случайность, стоило только подумать о Софи с ее теннисной ракеткой, как тут же мимо проносится теннисная ракетка вместе с Софи. Обе устроились в кремового цвета «порше», за рулем которого молодой человек, принадлежащий к высшему свету. Райнер незамедлительно пользуется возможностью излить на него всю ненависть, которая давно с нетерпением дожидалась перед запрудой, чтобы выплеснуться на что-нибудь. Все равно, кто бы ни сидел рядом с Софи, он Райнеру ненавистен, что не вполне справедливо, ведь человек этот, несмотря на свое происхождение, вполне может иметь добрые намерения. Ведь каждый следующий кавалер отличается от предыдущего, в этом и есть разнообразие. Софи выпархивает из прекрасного авто, и сама она тоже прекрасна в теннисном платье, ей совершенно незнаком запах пота, который сопутствует занятиям спортом. У Софи пот не находит выхода на поверхность, она ангел. Существо бестелесное. Райнер жует нижнюю губу. Белый силуэт Софи грациозно склоняется к опущенному стеклу «порше» и шепчет водителю что-то неслышное, Райнеру тоже ничего

не слышно, хотя он тут и единственный специалист по языку.

— О чем ты с ним шепталась? — спрашивает он Софи.

— Ты что, рехнулся совсем, думаешь, я перед тобой отчитываться обязана?

В ответ Райнер несколько раз нервно бьет себя по бедрам, которые тверже от этого не становятся. Сильнее всего он уязвляет самого себя. Анна в шутку пытается шлепнуть своего Ханса ладонью по бедру, по мускулистой и твердой поверхности, однако Ханс уклоняется от шлепка, пытаясь заглянуть в глаза Софи влюбленным взглядом. Кроме того, он пожирает взглядом ее фигуру, сегодня особенно доступную обозрению. Райнер и Ханс хотят достичь самой вершины, на которой их ждет награда — Софи, они оттесняют друг друга спинами все ближе к пропасти, чтобы одному из них первым добраться до верху. Анна молча держится за Ханса, для которого ведь именно она и есть самая настоящая маленькая возвышенность, если с ним самим сравнить, и зря его тянет сразу же отправиться на высокогорье, не акклиматизировавшись по-настоящему.

Цветы, распустившиеся необычно рано, сияют в саду, садовник там вокруг чего-то возится, что-то подрезает, чтобы придать совершенство форме. Гравий хрустит под отъезжающими колесами «порше» и брызжет в стороны, когда машина набирает скорость. Соперник поспешно ретируется, как ему и положено. Софи перенесла вес на опорную ногу, так стоять удобнее. В данной позе она являет собой вечную женственность, манящую Райнера и Ханса. Райнер предпочитает Софи лесам Вальдфиртеля, поющим вечную песню быть может, она возьмет его с собой на все лето на Лазурный берег, ибо, если влюблен, то не хочешь и не можешь разлучаться с любимым человеком ни на минуту, именно так ощущает это и сама Софи. Ханс отпускает плоский комплимент по поводу ножек Софи, о ее уме он ничего толкового сказать не в состоянии. Та оглядывает себя и говорит, что никогда не обращала на это внимания.

— Да входите же. Вон там виски, угощайтесь сами, я только быстро переоденусь.

Райнер и Ханс, каждый по-своему, один многословно, другой односложно, потому что многих слов он не знает, говорят Софи, что не надо ей переодеваться, и так хорошо. Анна обозленно молчит и пристально наблюдает за Хансом, за своей собственностью. Но бесчувственная собственность эта жаждет нового владельца, который сможет лучше о ней позаботиться. Ханс присматривается к настольной лампе из хромированной стали, ведь ток — его специальность, может быть, он сумеет починить здесь что-нибудь электрическое, чтобы добиться территориального преимущества. Он осторожно напрягает свой бицепс, чтобы грубая и необузданная сила, в этом мускуле гнездящаяся, была замечена Софи и должным образом ею оценена. Ханс желает олицетворять звериную чувственность, хочет пробудить в Софи зверя, который наверняка в ней живет.

Едва войдя в комнату, Райнер тут же включает свой внутренний магнитофон и начинает разоряться об ощущениях, пережитых во время вчерашнего нападения, закончит он, конечно, своим чувством к Софи, между началом и концом его речи, самое меньшее, два часа смертной скучищи.

— Я ваш вожак и надеюсь, что вчерашняя операция всем понравилась, правда, кое-что предстоит еще усовершенствовать, о чем мы сейчас и поговорим. Прежде всего, хронометраж. Сейчас приведу подробные обоснования.

Софи зевает, Ханс говорит, что согласен с ее мнением. Анна молчит.

— И подумайте, мы столько денег захватили, их теперь можно потратить, такие прекрасные вещи можно купить, чтобы владеть ими потом, — высказывается Райнер

скоропалительно и неосторожно.

Против пустой болтовни Райнера Софи применяет свою проверенную тактику — пропускать мимо ушей — и смотрит сегодня на Ханса иными глазами, словно проснувшись, потому что у него твердая рука и сильный удар; глаза Софи ощупывают мускулы Ханса под грошовой тенниской подчеркнуто спортивного фасона, с множеством кармашков повсюду, тенниска страдальчески потрескивает, едва вынося такой напор. То, что напряглось внутри у Софи вчера, снова напрягается и сегодня, оно напрягается не как мускулы, по-другому, потому что это скорее некая идея, которая засела у нее в голове. На сей раз интеллектуал явно проигрывает, хотя именно он все придумал, но ведь сильных мускулов у него не имеется.

Райнер возражает, что интеллектуалу в новенькой черной водолазке и не обязательно обладать мощным ударом, потому что он может предложить кое-что иное, качеством повыше.

Анна ничего не говорит и глядит на Софи глазами соперницы.

По ногам Софи побежали длинной чередой крохотные мурашки, они заползают под юбку, где разворачивают подрывную деятельность. «Пускай все уйдут, и только Ханс пусть останется», — это говорят мурашки, и Софи тотчас повторяет их слова. В своем доме она хозяйка и вправе решать, кому уйти, а кому остаться. Что она и высказывает без обиняков.

Реакция у всех, исключая Ханса, смешанная, но не одобрительная. Анна чувствует, что это причиняет ей боль, но вслух ей этого не сказать, она может только написать, где листок бумаги, который у гимназистов всегда наготове? Она переживает теперь нелегкий период и остро нуждается в защите. Учительский коллектив уже ходатайствовал перед инспектором городского управления о выдаче специального разрешения, чтобы и на устных выпускных экзаменах ей было позволено отвечать письменно, потому что не хочется такой способной ученице отрезать путь в будущее, к высшему образованию, из-за мертвой буквы параграфа. В Анне стягивается узлом нечто решительное, чего, вероятно, теперь никогда уже не развязать, а ведь подросток пубертатного периода, тем более наступившего с запозданием, должен быть не то чтобы развязан, а просто не замыкаться в себе. Открытость, искренность и свежая вода, равно как и мыло, — гораздо больше к лицу юности, чем скрытность и макияж.

Зато тем говорливее Райнер, который, повинувшись навязчивой идее, не может не опрокинуть на своих товарищей хляби небесные своей разговорчивости, и все, что оттуда хлещет, сводится вкратце к тому, что любить по-настоящему Софи может его одного, Райнера. Даже если он сейчас и уйдет, мысли ее останутся при нем и тоже уйдут вместе с ним, так что ему бы лучше остаться. Только пускай Ханс не воображает себе ничего такого, что все равно не соответствует действительности, как потом выявится.

— Да-да, но теперь отчаливай, и поживее.

— Тут я полностью согласен с Софи.

— Помогите! — кричит Анна, но из горла ее доносятся одни хрипы.

— Вот, возьмите еще шоколадку в дорогу, — колокольчиком звенит голос Софи, переливаясь обертонами.

— Нет, никакой шоколадки нам не надо, это уже садизм какой-то, — говорит Райнер, почувствовав под ногами твердую почву. Страсть, холодность, озлобленность. Холодность оттого, что садизм проявляется тогда, когда страстное вожделение освободится от своей тоски и мути, как утверждает Жан-Поль Сартр.

Ханс на это заявляет, что он, собственно говоря, не человек, а зверь, который и

действует по-звериному необузданно, это он вычитал в каком-то детективном романе. Ханс ведь тоже книжки читал, только все не те, что надо, а такие, которые есть в рабочей семье, получившей образование в рамках движения за просвещение рабочих. Однако прочел он достаточно много, чтобы понимать, где путь вверх, а где — вниз. Мир книг был единственным выходом, и таковой всегда есть в домашнем хозяйстве просвещенной рабочей семьи. Но не какой-то другой, чужой мир, а свой собственный. Его родители были сознательными рабочими, и никакой пользы это им не принесло, потому что один уже мертвец, да и другая, считай, тоже.

Райнер огрызается, он-де более циничен, чем Ханс, потому что рискует потерять гораздо больше, чем тот (который вообще не рискует), а именно свою академическую будущность и литературную карьеру. Ханс тут может только выгадать, а Софи его еще и поддерживает! Ханс всего лишь бессознательный мячик, которым играют стихи да Софи. Райнер же не мяч, но самостоятельно действующая личность.

Ему все же приходится уйти, прихватив с собой Анну.

— Пожалуйста, уходите оба.

Наполненные доверху ненавистью брат с сестрой вышаркивают на улицу, на английский газон, умышленно топчут там редкие цветы, листья и травы, топчут тонкими, как папиросная бумага, подошвами — ведь на стильный остроносый полуботинок нельзя поставить новые подметки, иначе обувь потеряет форму. Затем они направляются к трамвайной остановке, и Райнер произносит монолог о том, почему он ушел по своей воле и оттого оказался сильнее Ханса, который остался там не по своей воле. Слава богу, хотя бы родная сестра не делает идиотских замечаний и не возражает, Анна в ужасе молчит о том, что ей пришлось оставить ее Ханса в доме соперницы. Любовь Райнера и Анны сегодня подло отвергли, при этом в них обоих возникла трещина, зашпаклевать или заклеить которую будет очень трудно.

Выполняя свои профессиональные обязанности, боль разрастается вширь, когда трамвай, наполненный испарениями заурядных людишек, вновь, в который раз, вбирает их обоих в свое нутро, — в материнскую утробу, из которой младенец всегда хочет как можно скорее выбраться наружу. «Порше» надо бы иметь, но такового нет, даже если без конца рассказываешь в школе, что какой-то родственник, которого тоже нет в природе, владеет роскошным автомобилем.

В комнате Софи на проигрыватель ставится пластинка, и Софи требует, чтобы Ханс сел в кресло, там, напротив, разделся, да, совсем, и пусть мастурбирует перед ней, ей посмотреть хочется, ну, так же как он обычно занимается этим дома на кушетке, переоборудованной в кровать. Ханс говорит, что не может в ее присутствии. Софи говорит, что хочет, чтобы он делал это в ее присутствии. Ханс краснеет, как рак, и нервно называет причины, по которым он этого не может. Ему придется смочь, говорит Софи, иначе он должен будет уйти и никогда больше не вернется.

Ханс раздевается, делая это гораздо более неуклюже, чем в Венском рабочем спортивном обществе перед баскетбольным матчем, но рубаху ему все-таки удается расстегнуть. Он уверяет, что, конечно, ничего не выйдет, потому что ему так неловко, не сможет он этого, нет и еще раз нет.

— Чем сильнее ты стесняешься, тем лучше, так и должно быть, — говорит Софи. — Потому-то я этого и хочу.

Ханс говорит, что сделает все, что ей захочется, она же знает, но не нужно

злоупотреблять этим, ведь так нечестно.

— А мне хочется злоупотребить. И носки тоже снимай, а то ведь представляешь, какой вид будет, ты весь голый, но в носках, испортит общее впечатление.

Ханс стаскивает носки, обнажая немые ноги.

Софи, устроившись в уголке, разглядывает разводы грязи между пальцами у него на ногах и говорит, что хочет, чтобы его свобода покорилась ей как таковая, покорилась свободно. Она знает, что причиняет ему боль, но, подвергая его, так сказать, пытке, она вынуждает эту свободу добровольно отождествиться с его плотью, которая испытывает боль от этого.

— Вот в чем свобода, понимаешь?

Она сворачивается в некое подобие клубка и грызет ногти на руках, один за другим.

Ханс говорит, что не понимает.

Софи говорит, что позволяет ему просить за это прощения.

— Когда я наступаю тебе на горло, то тогда и страх твой, и все твои просьбы свободны, они происходят по собственной воле. Только ты один и решаешь, ясно?

Ханс говорит, что сделает это, потому что тайно любит ее, что теперь уже вовсе не тайна. Менее благожелательно он созерцает свой повисший член, не встанет он, совершенно точно.

— А теперь ласкай себя, ну же, — говорит Софи, которая впервые сейчас — не бледная или загоревшая, но с красными пятнами на скулах — выглядит почти как живая. Она говорит, что хочет видеть каждую подробность его тела, он должен усесться так, чтобы ей все было хорошо видно, в случае необходимости можно включить электрическое освещение, в котором он здорово разбирается.

— Я делаю это только из-за любви, — говорит Ханс и принимается неловко за свою шишку, начинает ее тянуть и дергать, мять и тереть, потому что от страха она съежилась до размеров кукиша.

Происходит столкновение самых разных сил, в центре него находится Ханс, который в настоящий момент производит впечатление скорее бессильное.

— И это все? — спрашивает Софи.

— Нет, не все, я могу гораздо больше, — выдавливает Ханс, который мало-помалу свирепеет. Он смотрит на Софи — и вот уже одерживает верх юношеская свежесть и прекрасная форма, и палка его встает, как полагается. Молодость и здоровье восторжествовали над старостью и недугом.

Софи чуть не отгрызла себе костяшку пальца.

Когда он в пятый раз повторяет, что происходит это из-за любви, Софи говорит, что ей совершенно без разницы, из-за чего он это делает, лишь бы делал, и прижимает ладони к горлу.

Ханс, не покладая рук, трудится над собой, как будто протягивает провод сквозь стену, однако тянет он лишь себя самого. Софи хочется увидеть, как он кончит, и она тут же высказывает свое желание.

Хансу, однако, не хочется портить своей семенной жидкостью внешний вид бархатной обивки кресла. Софи говорит, что разрешает ему, потому что это ее кресло, в конце-то концов.

— Ну, хорошо, тогда перемажу все кресло, — пыхтит Ханс с сожалением и действительно пачкает его. «Скоро вся комната сплошь будет забрызгана семенной

жидкостью, воняющей рыбой», — думает Софи и быстро выпроваживает Ханса.

В виде исключения Ханс получает зарплату, им заслуженную, не снимая рабочего комбинезона. Под мышкой у него зажата книга, которая никогда прежде не была там зажата. Ее видно всем. Она не сочетается с обликом рабочего, однако данный рабочий таковым уже не является. Но дело не зашло еще настолько далеко, чтобы ему захотелось самому производить культуру, как Райнеру. Он обратится скорее к экономической, чем к культурной карьере, экономика ему как-то ближе, он уже и в настоящее время развивает деятельность в данной сфере в качестве колесика. Из книжки, которую дала ему почитать Анна, к нему обращается Троцкий, доверительно сообщая, что в том обществе, которое не будет больше знать тягостной заботы о хлебе насущном и где все дети, в равной степени хорошо накормленные, будут с радостью усваивать науку, равно как и искусства, в котором даже колоссальная мощь человеческого эгоизма будет стремиться к улучшению мира, сила воздействия культуры начнет проявляться совсем иным образом, чем прежде. Ханс покорен не столько воодушевлением от этих слов, сколько кожаным креслом, виденным у Софи, ему хочется купить себе точь-в-точь такое же.

Сегодня, как и всегда, улица Кохгассе, едва он вступил на нее, скупает по бросовой цене весь его оптимизм. Сейчас жизнерадостность сменится спортивным порывом, который заставит его сделать множество точных бросков по корзине. Не так давно Софи приходила посмотреть, за всю игру ни разу ни крика, ни ругани не прозвучало, на площадке царил вежливый тон. Софи представляется ему блуждающим огоньком, потому что она сейчас — здесь, а чуть погодя — совсем в другом месте, подбадривая восклицаниями ту команду, которая ее к себе располагает. Что лучше — принести ей букет цветов или духи подороже, а может, самую большую коробку конфет, какая только найдется? Лучше спросить женщину, которой проще понять сердце другой женщины, то есть Анну. Еще потом и в университет поступить надо будет, чтобы можно было жениться на Софи и купить такое же кресло. Софи очень сложный человек, причиной тому — ее своеобразный характер. Если хочешь быть сложным, необходимо знать самые разные способы, каким можно быть.

Райнеру, хвостуну и слабаку, приходится все-таки уйти, шипя, закипая и пенясь, словно кока-кола, стоит Софи сказать: Ханс, останься!

Всякий раз радость Ханса неизменна, когда самозванный вожак отступает перед ним. Райнер говорил как-то, что в таких случаях он всегда уходит сам, намеренно (враль и трепло!), так как хочет терпеливо и хладнокровно испытать на практике орудие своей фантазии (вот болтун!), испытать на нем и на Софи, как слесарь проверяет ключ. Райнер сказал, что хочет сделать орудием свою плоть и плоть Софи.

Ханс, играя мускулами, движется по Шенборнскому парку позади музея этнографии, размахивая — олицетворенное озорство — портфелем, в котором термос и обеденный судок. В настоящее время он не испытывает какого-либо давления, потому что сюда Софи никогда не заносит. Было бы клево, если бы девушка хоть один-единственный раз его погладила либо прикоснулась к нему каким-нибудь другим интимным образом. Она не делает этого, так как в ней сильно развита гордость, женщину менее гордую Ханс уже и сам целовать не хочет. Интерес к Анне убывает в обратной пропорции к его любви, направленной на Софи. Интерес почти совсем исчез. Целует он ее теперь скорее небрежно, как бы благодаря за половое сношение, в которое Софи пока еще не хочет с ним вступать. Хансов духовный мир

неопределен и расплывчат, равно как и взгляды на жизнь и представления о ценностях других рабочих товарищей, которые идут сейчас домой, кто впереди, кто позади него, а кто и рядом с ним. Три платана ритмично склоняются под ветром и потрескивают, потому что они древние и находятся под защитой государства. Ханс хочет взять под свою защиту Софи на всю оставшуюся жизнь и при этом как можно чаще пребывать на свежем воздухе. Скоро откроет свои ворота кафе-мороженое и впустит окрестную молодежь. Ханс уже с радостью предвкушает, как полакомится порцией малинового мороженого и угостит Софи.

Вскоре настанет лето, и тогда, наверное, нет, наверняка можно будет разглядывать Софи в узеньком бикини, впереди курится дымкой водоем, позади курятся дымкой дубравы в росе, а между ними — испарина двух тел, что сплелись в объятии. Ханс какое-то время идет, не разбирая дороги, потому что перед ним открываются виды на будущее, может быть, удастся в следующий раз запустить Софи на полный ход. Стоит ему только представить себе, что у Софи там, между ног, как у него самого между ног торчком встает, что затрудняет бег и прыжки. Ее тело наверняка белое и нежное, а у Анны оно темное и грубое. Однако никогда в будущем он не станет презирать Анну, будет относиться к ней с сочувствием и пониманием. И потом, когда станет студентом, он всерьез займется ее проблемами, что-то посоветует, в чем-то поможет. Иногда они с Софи будут брать с собой Анну на автомобильную прогулку, во время которой можно будет, пусть и с трудом, обучить ее какому-нибудь виду спорта, что откроет ей радостные стороны жизни и изменит ее мировосприятие в положительном смысле. Скоро зацветут каштаны, пожилого человека это радует больше, чем того, кто помоложе, потому что молодому еще не раз предстоит видеть каштаны в цвету, а старый скоро вообще ничего видеть не будет. Молодого человека они радуют больше, чем девушку, потому что под цветущим каштаном он будет целовать девушку в губы, а девушке придется отбиваться.

Город пахнет городом, он лучше сельской местности, откуда спасаются бегством. Город пахнет приключениями, джазом, кафешками и выхлопными газами. Ханс крутит портфелем, представляя, как вечером в танце он раскрутит Софи. Термос подвергается опасности быть разбитым, жизнь прекрасна, сейчас мать снова все отравит, разглагольствуя о политике и загоняя свою горечь в шелестящие кипы конвертов. В будущем месяце она, возможно, получит работу, оплачиваемую получше, в какой-то конторе, которая хочет взять ее в штат, чтобы помогала в бухгалтерии.

Вот она сидит, колотит по пишущей машинке и поносит вслух мелких буржуа и обывателей, которые громче всех приветствовали Гитлера и с которыми ее сын не должен общаться. Свою мелочно-эгоистическую жажду наживы эти политически безответственные элементы удовлетворяют за счет социально слабых слоев населения.

Ханс швыряет все на скамейку в кухне, сбрасывает башмаки. Его умерший отец с неуместным оптимизмом и неуместной верой в историческую созидательную миссию трудящихся таращит глаза с фотографии на стене, оправленной в рамку, в которую он, по крайней мере на ближайшие годы (пока вообще хоть кто-нибудь еще о нем вспоминает), втиснут, будучи не в состоянии больше классово бороться. Поделом ему, патологическому альтруисту, обратился в прах в огне печи, неизвестно даже, где могила. И если можно верить тому, что говорят, вместе с ним миллионы других точно так же обратились в прах и исчезли, не оставив следа в этом мире, в который приходят все новые люди, чтобы в свою очередь тоже исчезнуть, потому что существование их не имеет никакого значения. Никто их никуда не записывает, никто их не считает. Ханс же не исчезнет, а, наоборот, в вечерней гимназии

предстанет в полную рост. И как только выдастся свободное время, будет браться за теннисную ракетку. Занимаясь спортом, особенно остро ощущаешь, что ты живой, чего незнакомый папаша ощущать уже не в состоянии, потому что больше таковым не является. Может быть, папа тут же, прямым ходом отправил бы его в гимназию, если бы только смог. Позднее Ханс станет экономическим тузом, боссом в империи отца Софи, потому что женится на его дочери. И лавры, полученные авансом, он оправдывает полностью, чтобы отцу ее не пришлось сожалеть, что взял его в зятя. Придется много работать, но потом он все же добьется признания. Прежние сомнения и скепсис рассеются не позже, чем после рождения первого ребенка.

Ни в коем случае не коченеть под землей вместе с миллионами уничтоженных, а греться у огонька спортивного энтузиазма и джазовых ритмов.

Ханс в беспорядочной последовательности срывает с себя предметы одежды и говорит матери, повествующей о войне и о финансировании СС американской фирмой с Уолл-стрит, что Америка дает миру голубые джинсы и всю заводную музыку и что он собирается сделать карьеру по образцу американского менеджера. Однако он никогда не отречется от своих чувств и не превратится в холодного и черствого человека, у которого одна лишь карьера на уме.

На плите громко вскипает что-то вонючее и дешевое. Пишущая машинка в ужасе запинаяется и умолкает совсем.

Ханс говорит матери, что человек должен стать свободным и потому бунтует, вот тогда начинается жизнь без принуждения, так всегда повторяет Райнер. Вот уж что верно, то верно, не отнять. Позднее, когда повзрослеешь, начинается принуждение экономической жизни, в котором происходит скрытая манипуляция массами. Равных людей не бывает, они получают разными по цвету, форме и величине.

Мать говорит, что такое понимание свободы слишком размыто, мы ведь не в безвоздушном пространстве находимся, а обусловлены общественными отношениями. Она накладывает в тарелку не поддающуюся определению массу, подозрительно похожую на манную кашу, и обвиняет разных людей из социалистической партии Австрии в измене. В первую очередь она обвиняет социалиста Хельмера, пресловутого министра внутренних дел, который в пятидесятом году приказал арестовать представителей заводских комитетов, да и вообще у него много чего было на совести. Прошлое этой темной личности прикрито плотной завесой тайны, приподнять которую оказалось не под силу даже федеральной полиции госбезопасности. Но и другим функционерам от социал-демократии: Вальдбруннеру (министр энергетики и доносчик), Чадеку (министр юстиции и обвинитель на процессах против рабочих), многим другим руководящим профсоюзным деятелям, которые дерьмом обмазали свою партию и ее славные традиции, достается от матери самым решительным образом, невзирая на лица, посты и должности. Не говоря уже об Олахе, провокаторе и агенте тайной службы.

Ханс говорит, что поднялся выше безвоздушного пространства заурядного бюргера, где запросто задохнуться можно.

Мать кромсает хлеб ломтями, конечно же, толстыми, как кирпичи, а не тоненькими и изящными, и обращает внимание своего неудавшегося сына на то, что тем самым он и превращается в бюргера, в обывателя.

— Ставя себя выше бюргерской системы ценностей, ты тем самым ее признаешь. Как следствие — перестаешь воспринимать бедственное положение рабочих. Уже говоря просто

о «человеке как таковом», ты совершаешь преступление, потому что этого универсального человека нет в природе, никогда не существовало и существовать не будет, есть рабочие и есть эксплуататор рабочих со своими приспешниками.

Ханс вслед за Райнером повторяет, что жутко становится, как представишь себе, что ты — лишь часть какого-то там целого. Потому что ты всегда — совершенно отдельный и в полном одиночестве, и при всем при том — единственный в своем роде, неповторимый, это придает силы.

Матушка оглушительно взывает, не потому, что порезалась, а потому, что сын ее встал на несправедный путь.

— Вернись! Ты идешь наперекор потребностям и чаяниям своего класса, Ханс! Нет ничего универсально-общечеловеческого. Вместо того чтобы желать своему классу сплоченности, а тем самым — силы, ты хочешь разобщить его, расчленив на отдельные молекулы, изолировав каждую из них.

Мать похожа на разъяренного шершня, который сейчас примется брызгать вокруг манной каши и в стотысячный раз приводить в пример убиенного папашу, у которого все получалось лучше. Понятно, что он теперь с этого имеет. И какие мучения ему пришлось пережить, просто невероятно, до чего Хансу никакого дела нет, ведь ему-то хочется вместе с Софи прожить невероятно счастливо.

Мать говорит, что не она воспитала в своем сыне такой эгоизм. И уж подавно не отец. И снова материнский перст привычным движением указывает на любимые, но почти уже стершиеся в памяти черты лица. Ханс говорит (и папа пускай это тоже слышит), что в своей любви, а именно в любви к Софи, он сметет все преграды и границы, все равно, какие бы то ни было, а до борьбы, и не важно, во имя каких идеалов, ему нет дела, потому что любовь его беспредельна и не знает границ.

Мать говорит, что хотелось бы ей знать, отчего такая любовь хочет пересечь верхние границы, а не нижние. Не хочет ли он еще бутылочку фруктового йогурта на сладкое, одна осталась и одиноко стоит на подоконнике, сохраняя холодную голову. Нет, Ханс не хочет йогурта, ему хочется покачивать в руке бокал виски или коньяку. Он уже почти наяву слышит позвякивание кубиков льда и видит белую женскую руку, принадлежащую никакому не привидению, но совершенно конкретной женщине — его Софи. Конкретной, но нереальной, как понятие рабочий класс. Нереальной, как эксплуатация, ведь в любой момент можно от нее освободиться, если только у тебя есть воля. Всегда все зависит от самого человека.

Мать тоскует по словам, поступкам и делам мертвого мужа, которого временами ей еще очень хотелось бы видеть рядом с собой в постели, да и хотелось бы видеть рядом всегда, чтобы тот помог ей в воспитании единственного сына.

«Тяжело стало в нынешние-то времена, Ханзи (так мужа звали). Бедные твои измученные кости ничего не знают о том, что есть еще и другие терзания, кроме телесных. Тебе, наверное, больно было умирать. Бедняжка ты мой. Я часто вспоминаю наши велосипедные прогулки, как много мы тогда увидели вместе. Это была твоя последняя улыбка, обращенная ко мне. Помню ночи, проведенные в копнах сена, на пронизывающем холоде, но в тесных объятиях. И деревенское молоко и масло у крестьян на хуторах, и как умывались прямо у колодца. И споры в затуманенных от табачного дыма задних комнатах постоянных дворов. И товарищей, которые должны были продолжить твое дело, сын-то наш ничегошеньки не продолжит, ну а другие — где они? В нашей старой партии их больше нет.

А потом та тяжесть, поди, ужасно больно было. Когда жизнь выдавливалась из тела, еще к этому не готового. А может, и готового уже, из-за жуткой боли, которую лучше переносить мертвому, а не живому. Спи спокойно, Ханзи».

А Ханзи, который уже вырос в Ханса, так, впрочем, и не поняв ничего из того, что должен бы знать с молодых ногтей, да, видно, и не поймет уже никогда, опять, во второй раз, хватает пачку конвертов с напечатанными адресами и за спиной матери запихивает в маленькую кухонную печку.

Позже мать еще долго будет разыскивать пропавшие конверты, не понимая, куда же они задевались.

Шоссе по холмам, одетым в листву, петляет в сторону Дуная, но, не доходя до него совсем немного, обрывается, еще и до Клостернойбурга не добрались, и старый автомобиль Витковски петляет по этой дороге, а внутри него петляет бесконечный монолог Райнера, вымученно распространяющегося на тему внутренних борений художника, которые он демонстрирует на примере Камю. Райнер отправился в путь без водительских прав, которых у него нет, но с позволения своего увечного отца, оставшегося сегодня дома и при передвижении рассчитывающего исключительно на свою единственную ногу. Софи сидит впереди, рядом с Райнером, участвуя в прогулке за город, на свежий воздух, которого ей и без того всегда хватает, а Анна устроилась на заднем сиденье, где без стеснения источает грубый запах пота, напоминающий запах испуганного животного. И все же она стоит на более высокой ступени в смысле культуры, благодаря игре на фортепьяно. То, что не в состоянии протиснуться наружу из ее рта, похоже, сочится изо всех ее пор. На что она надеется, так это на Америку, страну простора и безграничных возможностей, куда она жаждет поехать стипендиатом. На будущий год. У нее очень хорошие отметки по английскому языку, да и в остальном она — упорная (хотя и молчаливая) примерная ученица. Правда, дома она никогда не притрагивается ни к одному учебнику. А вот как по заказу и еще одно испуганное животное, которое, в свою очередь, напоминает Анну. Оно находится в конной повозке, в которой, очевидно, едут виноградари. Это собака. Она сидит в повозке, на куче виноградарского инвентаря, привязанная за шею, и, раскачиваясь, пытается удержаться, что было сил цепляясь когтями, как будто она кошка, а не собака, которая не умеет толком ни выпускать когти, ни убирать их. Собака понимает, что задохнется в веревочной петле, если потеряет равновесие и слетит с повозки, в глазах ее ничего, кроме ужаса, вызванного жестокостью хозяев, жестокостью мира в общем и целом, который, однако, может быть таким интересным, когда на упругих лапах несешься скачками вслед за каким-нибудь мелким животным, очень остро ощущая при этом радость жизни. Все еще продолжается весна, она заявляет о себе повсюду зачинающейся жизнью, наверняка везде, где только можно, уже отложены в гнездах яйца и косули вынашивают оленят. Однако ничего этого не видно, потому что все нарождающееся прячется, стремясь избежать преждевременного употребления в пищу. Позади остались собака и грубые крестьяне, так жестоко обращающиеся с животными, и машина с тремя седоками катит дальше. В это утро они прогуливают школу, а Ханс утруждает себя трудовой деятельностью, с безразличием волоча ноги сквозь рабочий день, будто претерпевая пытку, и дожидаясь вечера. Школьников же влечет нетерпеливое любопытство, ведь пытливость исследователя им прививают в гимназии, дающей аттестат зрелости.

Уже позади остался Шоттенхоф, дорога вьется серебристо-серой лентой, как написано в книгах, боковые съезды с нее ведут к виноградникам Зальманнсдорфа и монастыря Нойштифт-ам-Вальде, но туда не сворачивают, потому что едут к виноградникам Грицинга. Лента дороги плавно вьется наверх, позволяя насладиться знаменитым видом на Кобенцль, Хойзерль-ам-Роан и на Каленберг. Легковой автомобиль припарковывают на обочине и дальше отправляются пешком. Слева виноградники поднимаются в гору, справа спускаются к Дунаю, вьющемуся вдалеке такой же серебристой лентой. Воздух прозрачен и еще настолько свеж, что все кутаются в свои стильные длиннющие кашне. Над ними — словно

расчерченные циркулем облака. Ветерок вздымает пыль. Виноградная лоза еще не в цвету, что, в согласии с венской народной песенкой, случится лишь позднее и к тому же в совсем другом месте, а именно — непосредственно на берегах Дуная. Когда зацветет виноград, тогда запоют тысячи звонких скрипок — продолжает песня и умолкает, застеснявшись собственной глупости. Троица путников окончательно углубляется в виноградники, под их ногами знаменитая лессовая почва, на которой лозе особенно нравится произрастать. Шпиль церковных колоколен в виноградарских деревнях пока отдыхают от трудов, потому что сегодня только пятница. Слышно, как лают собаки, кудахчут куры и кричат приставленные к ним петухи. Звуки доносятся издалека, потому что ближайшие окрестности почти необитаемы, ведь в конце-то концов именно одиночества и искали на этой прогулке, а если оно не идет к тебе, нужно идти к нему. Сегодняшние молодые люди нередко носят свое одиночество внутри себя, стремясь к нему и снаружи. Тропинка — верхняя дорога на Райзенберг — с отчаянной храбростью бросается навстречу винным погребкам Гринцинга. Компания топает по винной дорожке, а внизу они зайдут еще выпить кофе. Старые виллы прячутся среди деревьев в долинах между холмами, хотя им не стыдно на люди показаться. Застекленные веранды, увитые диким виноградом, прирученный родственник которого в почтительном отдалении служит владельцам вилл, заботясь об их доходах. Немыслимая, совершенно сумасшедшая красота этого города здесь настолько бесцеремонно лезет в кадр, что даже Райнер затыкает свой фонтан, что у него, правда, не получается, и он немедленно начинает облекать в вербальные формы восторг от живописных окрестностей. Воздух совершенно прозрачен, словно целлофановая пленка, в которую обернуты булочки у пекаря, правда, пленка, в свою очередь, принялась бы утверждать, что она прозрачна, как воздух над виноградниками.

Они покидают проложенную тропинку и по привычке лезут вверх прямо по винограднику, не разбирая дороги. Анна, спотыкаясь, тащится вслед за парочкой, связанной неравными чувствами. В глазах ее брата он и Софи влюблены одинаково, однако Райнеру, который с трудом шагает в ногу с Софи, это только кажется. Нетренированная Анна еле поспевает за ними. А ведь в Америке все занимаются спортом, и до поездки туда времени совсем мало осталось. Софи же — это просто Софи. Анна нерешительно шарит сначала одной, затем обеими руками в поисках опоры, не находит ее и чуть было не валится в никуда, не заметив перед собой яму заброшенной каменоломни. Высоко в небе кружат три сарыча. Или это ястребы? Они пронзительно кричат. Природный ландшафт, в который искусственным образом уже вторгся человек, порождает в Райнере неясные чувства, и он высказывает их, вдаваясь во все подробности. Анна хрипит вслед обоим, предлагая сделать привал.

— Ты не в форме, совсем выдохлась, — говорит Софи, но все же останавливается. Анне хотелось бы затеряться в Америке, чтобы узнать другую жизнь, иную, чем та, что ей уже знакома, начать жизнь новую. И чтобы между ней и ее родителями лежал Атлантический океан. И бескрайние просторы в придачу.

Она понимает, что это единственный ее шанс. Для того она и получала хорошие оценки. Компания уютно устроилась на склоне, и Анна пробует в подробностях изложить свои планы относительно Америки наряду с поездками в крупнейшие города страны, куда она отправится на деньги, заработанные собственным трудом. Она уже составила себе точный маршрут путешествий и ждет теперь только подтверждения, что планы эти получили зеленый свет. Райнер ощущает сегодня нечто похожее на братскую симпатию, разглядывая

сестру, которая перед Софи демонстрирует столь редкое для себя воодушевление. На какой-то миг им овладевает ощущение, что они с Анной — одна стена, непроницаемая для Софи. Но вот уже оно и прошло. Софи все постукивает носком ботинка по горному склону, на котором произрастает виноград, потому что она может себе позволить не жалеть обувь, и внезапно объявляет, что классный руководитель звонил на днях ее матери и спрашивал, нет ли у Софи желания поехать на год поучиться в Америку, потому что им выделена одна стипендия. Она не хочет ехать и думает, что это как-то несправедливо, потому что у Анны отметки лучше. Но, как было сказано, за границей нужно вести себя безукоризненно, потому что там тебя никто не знает и оттого не имеет понятия, из каких краев прибыл ведущий себя именно таким образом. Потому-то они и смотрят и на происхождение, и на все такое, что просто-напросто абсурдно в такой лишенной классовых различий стране, как Америка, с населением невзыскательным и либерально ориентированным. Софи только этим и может объяснить, почему в гимназии выбрали ее, а не Анну.

Анна в ужасе, по старой доброй своей привычке погружается в немоту, и даже Райнер затыкает свой фонтан и спрашивает, нельзя ли получить стипендию Анне, если Софи все равно откажется. Софи говорит, что нет, она спрашивала, но они решили в этом году вообще отказаться от стипендии и стипендия пропадет в связи с тем, что не нашлось достойных кандидатов. Райнер говорит, что, мол, жаль такой славной стипендии. По правде, он думает совсем о другом: «Слава богу, что Софи не уедет, мы останемся вместе и вместе будем учиться в университете».

В побелевших глазах Анны гнездится смерть, они становятся совершенно прозрачными, и холод, словно от жидкого азота, поднимается в них со дна. Она съеживается в комок, ни одна из природных красот не может больше добраться до ее зрачков. Это сообщение уничтожило Анну, спасительная поездка за рубеж ускользает от нее окончательно. Анна бьет себя кулаком по лбу, но оттуда ничего не выходит и ничего туда уже не войдет.

Венская влюбленная парочка, у ног которой журчат ручейки, а над головами хозяйничает Боженька, окруженный сплошь скрипками, пребывает наверху блаженства, в упоении, ничего не замечая, не замечая даже того, что эта любовь устремляется от Райнера к Софи, а в обратный путь даже и не собирается. Райнер снова хочет прочесть небольшой доклад, как раз об этой любви, а может быть, даже и обнять Софи, рядом с которой в данный момент он стоит над обрывом, а вокруг — ровные, выстроенные, как по ниточке, ряды виноградника, синтез искусства и природы, природой является лоза, искусством является виноградарство. Софи неожиданно говорит, что нужно суметь выйти из себя, потому что в себе мы и так заключены все время. И широко разводит руками в чистошерстяном пуловере.

— А еще ты заключена в моем сердце, — сюсюкает Райнер.

Анна разглядела в траве какого-то усердного жучка и топчет его.

— Не надо убивать живность, послушай лучше меня, — увещевает ее Софи, — я хочу попытаться установить рекорд: как можно скорее достичь определенных мне границ и пределов — хочу изготовить метательную бомбу. Один рецепт я уже разузнала, встрясла из моей ученой матери-химички.

Анна в своей боли пребывает где-то далеко, а вот Райнер совсем близко, рядом с любимым человеком, и он чувствует, что готов наложить в штаны от страха.

— Слушай, Софи, до выпускных совсем немного осталось, давай займемся этим после экзаменов, чтобы не выгнали из школы, если все откроется, а может быть, лучше давай вообще не будем этого делать?

Софи спрашивает, уж не обделался ли он от страха.

— Вовсе нет, я тоже хочу познать свои границы, но у меня они направлены в другую сторону, в сторону искусства.

Анна не говорит ничего. Она топчет еще трех муравьев (один из них занят переноской груза, и его ноша, ошметок дождевого червя или что там было, превращается в кашу под подошвой Анниного башмака), топчет и свое обливающееся кровью сердце, хотя сердцем ее владеет Ханс. Чужой собственности и чужим людям они к тому времени нанесли уже немало ущерба.

Райнер говорит: — Послушай, ничего я не обделался, честно, однако я считаю неверным затевать подобные вещи перед самым окончанием гимназии, перед выпускными экзаменами на аттестат зрелости, который даст нам право на получение образования в любом университете.

Софи говорит: — Заткнись и слушай внимательно. Изготавливать ее нужно, конечно же, на улице, а не в закрытом помещении, чтобы разорвала она не нас, а других, ведь правильно, тут все ясно. Берется колба с широким горлом, достаточно вместительная, объемом приблизительно 500 миллилитров. Во-вторых, требуются две стеклянные пробирки, одна наполняется концентрированной азотной кислотой, другая — смесью хлорноватокислого калия и сахара в пропорции один к одному. Ясно?

Райнер говорит, что ясно-то оно ясно, но делать этого он, по всей вероятности, не станет, ибо придерживается того мнения, что скоро уже наступит самая прекрасная для них пора, время студенчества.

— Я не собираюсь портить себе жизнь бомбометанием, я же не рехнулся еще, да и ты, в конечном счете, только шутишь. Такие вещи не в твоём характере. Скорее это было бы свойственно моей натуре, однако я пока еще не сделал этого — из благоразумия, и начиная с этого момента, буду благоразумен за нас двоих. Помимо того, любовь похожа на взрыв, сотрясающий тело изнутри, силы несравненно большей, чем любая бомба, эта ослепительная вспышка идет непосредственно из самого естества. Ведь, как тебе определенно известно, ты любишь меня уже давно, даже если ты самой себе не желаешь признаться в этом.

Анна наносит вред виноградной лозе, отдирая кору со ствола.

— Потом, — продолжает Софи, растягивая слова, — надо наполнить колбу эфиром, а обе пробирки вставить в нее таким образом, чтобы их доньшки были прижаты ко дну колбы. Затем плотно закрытые пробирки и горловину колбы залить воском.

В Анну очаровательные окрестности Вены ввинчиваются, как добела раскаленное сверло дрели, не находя сопротивления, с визгом пробуравливая насквозь. Анна не находит ничего, что можно было бы умертвить, и начинает омертвляться сама, и процесс это медленный и мучительный. Ей больше хотелось бы убивать других живых существ, но время года к этому пока еще не очень располагает.

Райнер снова говорит, что нет, не будет он этого делать. В конце концов, Софи забывает, что главный здесь он. Не исключено, что он сделает это, может быть, потом, когда обеспечит себе средства существования, станет хорошо зарабатывать и ему уже будет наплевать на все, но не раньше. Ведь потом потребуется гораздо больше мужества, потому что тогда потерять можно будет больше. А вот сейчас он совершенно точно делать этого не станет и ей не позволит. Софи не стала бы любить мужчину, который решил бы на такое, потому что могут пострадать невинные люди.

Софи говорит, что как раз это и хорошо, и еще — что в наши дни невинных нет вообще.

Разумеется, бомбу нужно бросать таким образом, чтобы стукнулась она дном, иначе вообще ничего не будет, если же кинуть ее как надо, то она взорвется сразу, от малейшего удара.

Райнер взвизгивает, как младенец, и принимается пространно объяснять, почему он тем не менее, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых и вообще никак не может этого сделать. Доводы Райнера не вызывают у Софи никакого интереса, но они типичны для него. «Ну вот, связалась с этим треплом, исключительно ради этого дела забралась в такую даль (да еще по его желанию!), а теперь ничегошеньки не выходит, кроме словесного поноса. Возьму в оборот Ханса, уж он-то не откажется».

Райнер до одной стотысячной включительно просчитывает, что Хансу терять нечего, а ему — уже много чего: будущность, которая ясно и блистательно предначертана ему, включая научную степень и дополнительно к ней — несколько литературных премий.

Анна давится рвотой — громко и отвратительно.

— Ты что, снова блевать собралась, ведь только что вывернуло, еле успел тебя из машины выпихнуть, — раздраженно цедит сквозь зубы брат, которому не нужно таких вот неаппетитных вещей сейчас, когда Софи его трусом сочла, а он ведь просто рассудителен. Ну, а кто же, в конце-то концов, задумал нападения и участвовал в них, Софи или он? Он, разумеется.

Анну, к сожалению, все-таки выворачивает, и Софи, отвратя лик свой, протягивает ей бумажный носовой платок. Затем все переходят на другое место, подальше от блевотины. Теперь Софи молчит, и Райнер наконец-то может спокойно все объяснить. Он поворачивает это во все стороны, как жук-навозник вертит свой шарик. Потом, когда он беспрепятственно добьется чего-то в жизни, вот тогда Софи поймет его доводы и согласится с ними. Вслед за этим они рука об руку состарятся, а еще позже не раз посмеются над такой дурацкой затеей. А потом и вместе с внуками.

Софи говорит, что ей хочется наконец испытать экстаз. Большинство людей не в состоянии выйти из себя, какая жалость.

Райнер говорит, что дело не в том, чтобы выйти из себя, тут необходим партнер, некое конкретное Ты. Партнером является он, конкретным Ты является Софи. Он говорит, что не станет участвовать, а без партнера она останется в одиночестве.

Кошка по-тигриному крадется вверх по склону, чтобы устроить засаду у мышинной норы. Какое-то время Анна обдумывает и ее умерщвление, однако не переходит к действию, ослабев от рвоты. Она впивается зубами в костяшки пальцев, почти до крови.

Райнер громко визжит прямо в лицо Софи, что та находит пошлым. Райнер говорит, что даже если Ханс и согласится, пусть она не думает, будто Ханс смелее его, потому что в большинстве случаев ограниченность и храбрость — одно и то же, и уж подавно, если их проявляет Ханс.

— Ведь я в университете такую прекрасную специальность выбрал, Софи, увидишь, тебе тоже понравится.

Софи презрительно молчит, поддевая носком ботинка камешки, которые летят в канаву. Потом она говорит:

— Ладно, пошли отсюда, у меня еще кое-какие дела сегодня.

— Ну наконец-то ты образумилась и соглашаешься с моими доводами, — нудит Райнер, он еще раньше знал, что она сдастся, потому что он знаток женского сердца и устоять перед его напором невозможно.

— Быть с тобой вдвоем просто восхитительно, восхитительно по разным причинам, но

еще и потому, что поначалу ты противишься, а потом сопротивление твое так мило утихает, покоряясь моим рукам. Как маленький зверек, которого можно успокоить, и тогда он прекращает безнадежную борьбу против самого себя и других, ложится и замирает.

Софи смотрит в небо, и Анна делает то же самое.

Ландшафт непрерывно уходит прочь от Анны, быть с ней вместе никто долго не выдержит. Прозрачности воздуха противостоит душевная замутненность этих молодых людей, и обе они взаимно препятствуют и мешают друг другу. Райнер нервно курит, на какое-то время лишая воздух прозрачности.

В школьной раздевалке физкультурного зала взрывается бомба с взрывателем ударного действия. Она уничтожает многие новомодные мечты и чаяния послевоенного поколения. Среди прочего уничтожено несколько модных юбок, серые фланелевые брюки, синие джинсы, носки, гольфы, джемперы, блузки, блейзеры и внушавшая страх шотландская юбка. Злоумышленники подгадали такой момент, чтобы при взрыве никто не пострадал, ведь иначе пострадавший мог бы увидеть бомбометателя. Не находится никого, кто взял бы на себя ответственность за эту хулиганскую выходку, которая уже есть нечто большее, чем просто хулиганская выходка, а именно — уголовно наказуемое деяние.

Безответственный поступок, как пишет одна газета. Что ж удивляться, что не находят того, на ком лежит ответственность.

Софи пронесла бомбу в сумке для тенниса. Директор видел девушку, поздоровался с ней, но ведь Софи Пахофен не станешь задерживать, никому и в голову не придет, что она способна на такое.

Дамианы-бессребреники подросткового возраста, у которых голова только этим и занята, оплакивают свои безнадежно загубленные шмотки, потому что немало времени пройдет, прежде чем удастся уговорить родителей купить новые брюки и модные юбки. И для такой вот неподходящей публики Софи пришлось стараться. Однако сделала она это лишь для себя самой. Провонявшую потом и мастикой раздевалку спортзала теперь надо будет полностью ремонтировать. Но даже ремонт не принесет выпускникам ни малейшей выгоды, потому что начнут его только во время каникул.

Господин Витковски хочет забрать своих детей из школы, в которой такое может случиться, те в два голоса умоляют позволить им остаться, и им позволено, потому что школа все равно скоро заканчивается, после чего с ними заговорят в другом тоне и затянут гайки, Витковски-старший описывает вкратце, как эти гайки будут выглядеть.

Ханс — между ним и Софи, как известно, должна проскакать искра — беспрекословно и гордясь собой закупил ингредиенты для бомбы в магазине химреактивов, куда обычно заходят одни лишь студенты высшего технического училища. Там он проторчал ужасно долго и вообще из кожи вон лез, чуть было не привлек к себе внимание. От гордости. Таким образом, душевная связь между ним и Софи уже наличествует, скоро за ней последует и телесная. В данный момент он убеждает Софи в том, что лишенный любви человек — лишь равнодушная песчинка.

В Райнере что-то разбивается, потому что в человеке всегда разбивается какая-либо деталь (чаще всего сердце), когда возлюбленный человек ему изменяет. Однако страх реального подозрения, под которым он может оказаться совершенно безвинно, парализует множество намерений, относящихся к Софи. Анна вообще не в состоянии ощущать хоть что-нибудь после пережитого шока, один Ханс мог бы разрушить это оцепенение своей любовью, однако в настоящее время он занят лишь тем, что нарушает одну за другой свои клятвы в верности, данные Анне, какая жалость.

Виноградники девятнадцатого района Вены остались где-то вдалеке, теперь вокруг вздымаются горы страха. Родители с ума сходят, потому что им придется покупать детям новые вещи.

Некоторые ведут себя не по-товарищески, потому что начинают подозревать товарищей.

Имеют место доносы и допросы. Ревущие ученики повсюду. Хныкающие девочки, всхлипывающие мальчики в коридорах, туалетах, в кабинете природоведения.

Все безрезультатно.

Отвешиваются оплеухи.

Софи сходит вниз по лестнице и садится на улице в такси, как будто ничем особенным целый день и не занималась.

Анна Витковски вдруг нечленораздельно вскрикивает, и ее отпускают домой. Хотя занятия еще не закончились.

Учителя проводят беседы, как бы проявляя понимание. Тот, о ком идет речь, пускай сам себя назовет, ничего ему не будет, мы просто хотим знать, кто это был. Когда до них доходит, что уговоры напрасны, они начинают орать на учеников.

Райнер Витковски пишет удивительно смиренное сочинение о «Постороннем» Камю; мысли его при этом необузданны и свободны, как и полагается мыслям.

Родители затрещинами выбивают из дочерних голов просьбы купить им туфли на «гвоздиках», которые девочкам нравятся больше, чем плоские «лодочки», уничтоженные взрывом, в них разве что по Венскому лесу можно было гулять.

На Софи надето платье для дневных визитов от Адльмюллера, и солнце сияет в ее волосах. Впрочем, солнцу не выдержать конкуренции с таким роскошным платьем и его цветовой гаммой.

Анна Витковски теряет рассудок. Этого никто не замечает, потому что тот кошмарный и бессмысленный поступок также был сплошной дуростью. И реакция на него — тоже сплошное сумасшествие.

Кто платит за машину, тот и пользуется исключительным правом кататься в ней. Платит господин Витковски, и потому Райнер его катает. Очень редко Райнеру позволяют ездить одному. Куда бы путь ни лежал, инвалид всегда восседает рядом с водителем, направляя и наставляя его.

И в отпуск верное хозяину транспортное средство тронется в путь в сторону Вальдфиртеля, больше-то инвалиду и податься некуда, а кислород ему необходим, как и всякому другому.

Нынче господин и госпожа Витковски говорят, что хотят поехать в город поглядеть на витрины магазинов, которые являются окном в мир. Окна в мир стоят нараспашку по всей Кертнерштрассе, улице роскошных магазинов, куда люди с окраин попадают, ну, самое большее, раза два в год. И тут же, распластавшись, боясь быть раздавленными, прижимаются к стене от напора толпы, которая устремляется в знаменитые кофейни и кафе-кондитерские. Витковски сегодня оказались здесь по той причине, что на взыскательный вкус господина Витковски сколько-нибудь сносным может быть лишь самое наилучшее, он говорит жене, что денег не пожалеет, что поделать, у качества есть своя цена, и если тут поскупишься, то в конечном счете обойдется еще дороже.

— Смотри-ка, холодильник, а вон стиральная машина, мы все на свете смогли бы в них охлаждать и стирать.

Но больше здесь представлены модные магазины. Этому городу, который лишь недавно окончательно избавился от своих оккупантов и теперь снова принадлежит самому себе, равно как и своим обитателям, новые времена несут новое изобилие, и даже любой рабочий может себе многое позволить. Если рабочий может позволить себе слишком мало, он поднимает бунт. В последний раз опасность беспорядков грозила в 1950 г.: коммунисты воспользовались временными трудностями в снабжении продовольствием и подстрекали доверчивых граждан бунтовать против их личной, собственной страны.

Райнер неуклюже вышагивает вслед за своими родителями и говорит любому, кто только захочет услышать, что он вовсе не вместе с ними, с теми двумя старыми развалинами, он не имеет с ними ничего общего. Еще совсем недавно Софи дразнила его, что ему только деньги нужны, чтобы закупить на них, что хочется, а так бы он и грабить не стал. Здесь же много разных красивых вещей, но ему всего этого совершенно не хочется, он и Софи тоже сообщит, что совершенно не хочется.

В изумлении глаза по сторонам, небольшая, но тяжелая на подъем компания передвигается в направлении дворца на углу Аннагассе, где король моды Адльмюллер держит ателье и салон. Быть не может, какая неожиданность, сквозь хрустальное стекло портала можно бросить внутрь любопытствующий взгляд, и ты совершенно случайно видишь Софи, ту самую, о которой только что думал, а она, подле своей матери, вертится перед зеркалом. Это первое ее платье от модельера, и оно будет ей подарком на окончание школы.

— Мама, папа, тут в магазине стоит моя одноклассница, они очень богатые, — невольно вырывается у Райнера, и слова эти уже невозможно поймать и засунуть обратно в рот. Стоило им выпорхнуть, как он о них уже пожалел. Дело в том, что родители немедленно приступают к преодолению хрустальной преграды, отделяющей их от Софи. Собираются идти на приступ входных дверей.

Внешний мир грозит вломиться в хрустальный дворец мира внутреннего. Инвалид (подобно легавой, заведшей зайца) бросается вперед, работая костылями, мать, очертя голову, за ним. Ведь надо же им поприветствовать школьную приятельницу и ее госпожу мамашу и сказать, как они рады, что их дети находятся в дружеских отношениях, по-товарищески помогают друг другу, а также поддерживают тесный контакт в свободное от уроков время. Райнер обхватывает своего увечного отца за бедра, не давая ему опрометчиво ринуться в стеклянные двери, и ставит подножку матери, чтобы та оставалась на улице, где ей самое место.

Обе дамы Пахофен в совершенном беззвучии скользят туда-сюда перед зеркалами, тишина нужна для того, чтобы уличный шум не затруднял им выбора. Они прикладывают к себе какие-то изящные штучки, которые снаружи не разглядишь во всех деталях.

— Ты что, стыдишься своих собственных родителей, ах ты рожа, молокосос паршивый, — визжит отец, лягаясь, чтобы отбросить Райнера от себя и галантно поцеловать ручку госпоже фон Пахофен, потому что они с мамочкой ведь тоже родители гимназиста. Как знать, может, дама оценит и его мужские достоинства.

Мать говорит испуганно:

— Пошли, пошли скорей отсюда, на нас уже оглядываются.

Отец шипит:

— Сопляк несчастный, и для чего мы тебя только содержим, давным-давно пора уже вкалывать и самому себя кормить, и ты еще своей семьи стыдишься. Я, как-никак, всю войну прошел на командных должностях. Но теперь кончилось мое терпение, хватит. Вы оба разболтались вконец, свиньи неблагодарные, а не дети.

Райнер белеет, как мел, и укрывается в себе самом от столпившихся вокруг зевак. Вот сейчас мама Софи или, чего доброго, сама девушка посмотрит в их сторону, но по счастью толстое стекло препятствует проникновению неделикатных взглядов и неделикатных звуков внутрь салона.

Заведующая салона, вся в черном, ходит взад-вперед, король высокой моды размышляет. Он говорит, что у этого платья такие-то и такие-то преимущества, у другого — такие-то и такие-то, а это платье, не исключено, будет иметь в вашем случае такие-то недостатки, а вон то — такие-то.

Отец говорит сыну, что разобьет ему морду в кровь, как часто бывает, когда отцовский кулак гуляет по его физиономии.

— Умоляю, — закликает Райнер, невзирая на предстоящую боль, — умоляю, не ходите туда, пожалуйста, прошу вас.

— Ну, так и не пойдем, Отти, мне еще хочется на витрину с бельем посмотреть, а потом отправимся домой, в уютную нашу квартирку. Только время потеряем с этими болтливыми дамами. Знаешь ведь, чем мы еще хотели заняться, — намекает мать и этим невысказанным обещанием оттаскивает отца прочь. Тот, брызжа слюной, ковыляет дальше. Нет, он не желает терять время на всяких расфуфыренных высокородий, потому что на сегодня и так еще дел невпроворот. Нескладная большая птица переваливается с ветки на ветку.

Родители идут и пялят глаза на изобилие витрин, которые расплываются у благодарного им Райнера перед глазами. В магазине спорттоваров выставлен гоночный велосипед, новая модель, скоростей у него видимо-невидимо. Однако эта вещь принадлежит иному миру, он славно так поблескивает, но только не для Райнера. Как бы то ни было, давешняя чаша его миновала, как она миновала и Господа Бога на уроке закона Божьего.

— Без поцелуя спать ты сегодня не отправишься, и без напутствия на сон грядущий тебе тоже не остаться, честь честью, как правила хорошего тона требуют, — цедит сквозь зубы отец. В утешение его угощают огромной чашкой кофе с молоком в ближайшем кафе «Музей», каковая здесь сопровождается булочкой и солидными чаевыми. Райнер словно выпотрошен изнутри, он скрючивается, оседает как мешок, выглядит как неживой. Он когда-нибудь посмеется над этим вместе с Софи! Но не теперь. Потом.

Внутренне Райнер уже совсем отпал от своей семьи, внешне этого пока еще не заметно.

Хотя ученики, собственно говоря, и не заслужили этого, но все же в гимназии перед каникулами и выпускными экзаменами, которые рассеют их на все четыре стороны, проводится файф-о-клок, вечеринка с чаем, и чай приготовлен руками гимназисток. Гимназисты берут на себя заботы по организации. Газированные напитки громоздятся батареями исключительно мерзких цветов и оттенков. Школьники отплясывают со своими одноклассницами, а иногда по рекомендации уважаемого учителя кружат в танце чью-нибудь мамашу либо бабулю. Обсуждаются школьные успехи отпрысков, о большинстве из них выносятся вердикты: способен, но ленив. Некоторые и вообще никаких успехов не проявляют. Гимназисты образуют некую структуру, которая также может быть названа школьной общиной.

Анна и Райнер чувствуют себя несказанно идиотски из-за того, что их содержат в школьной общине, не пуская в мир взрослых.

Софи протащила с собой Ханса, который в качестве чужеродного тела везде некстати, потому что, пропустив пивка, а то и парочку, он во всеуслышанье рыгает, да еще и находит это смешным. Софи пришла на очень высоких шпильках, неуловимая в своей белокурости. По дурацки Райнер все-таки пытается уловить ее, однако безуспешно.

Чай помойного вида и соответственного вкуса разливается в бумажные стаканчики и продается за небольшие деньги, которые собирают на поездку куда-нибудь всем классом после выпускных экзаменов. Для малышей, братишек и сестреночек, дает представление кукольный театр, в котором восторженные завсегдатаи стоячих мест на галерке Бургтеатра готовятся к актерской карьере. Юность свежа и молода и всю наслаждается этим.

Люди компетентные обсуждают последние оперные новости, звучат имена Биппо ди Стефано и Этторе Бастианини, которые Райнеру неизвестны. А вот Анне известны Фридрих Гульда и его коллеги.

Прибыл Райнеров увечный отец вкуче со своей подпоркой — матерью. Одна из соучениц Райнера осторожно (чтобы не нанести инвалиду обиды и дополнительного ущерба) предлагает ему чаю. Отец говорит, что чужих кастрюль не облизывает. У него как-нибудь и своих кастрюль хватит. «Странный тип, — тихонько говорит школьница своей подружке. — С тараканами в голове, тебе не кажется?» Потом девушка спрашивает, не поставит ли ему кресло поближе к месту, освобожденному для танцев, чтобы лучше было наблюдать за нескладными движениями танцующих. Он говорит, что может и постоять. Для Господа Бога и для господина Витковски нет ничего невозможного, — это его второе любимое изречение. «Точно — не все дома, совершенный придурок», — произносит давешняя школьница. Райнер, который всем рассказывал, что его отец с двоюродным братом попеременно ездят на «порше», втихомолку извивается, как гусеница, забившись куда-то в уголок. Почему нельзя себя самого просто погасить, рассеяться, оставив после себя лишь дуновение теплого воздуха? Следует покончить жизнь самоубийством.

Но вот возникает Софи, и Райнер сразу же обстоятельно и ввиду сложившихся обстоятельств принимается объяснять ей, что любовь отнюдь не есть эрос. Истинное счастье является ощущением, что всегда в жизни ты хотел только самого лучшего, даже если это желание будет истолковано неверно. Софи это никак не трогает, она подает бутерброд с сыром. Прислуживать ей даже забавно, если к этому не принуждают. Анна скорее бы дала

себе руку отрубить, чем подала бутерброд с сыром кому бы то ни было.

Герхарду хочется кружить в танце Анну, своего кумира, и веселиться вовсю, но та отпихивает его в сторону, потому что ей хочется выковырять Ханса, забившегося между чьими-то двумя бабушками. Ханс же со своей стороны решительно пробивается сквозь толчею, чтобы силой выхватить Софи из когтей какого-то одноклассника, с которым она парит в старом добром вальсе. С этим никчемным тунеядцем, который за всю свою жизнь ни шиллинга сам не заработал, она нынешней зимой открывала бал в Филармонии. Этот тип не собирается стать музыкантом, он будет крупным юристом. Он держит Софи за руку трезво и деловито, что является основной предпосылкой для его будущей профессии, касаясь ее лишь кончиками пальцев, в то время как спины он касается уже плотнее, не слишком сильно, не слишком слабо.

«Разве так хило за девушку берутся, тут нужно держать крепко, и я это умею, потому что я вообще парень крепкий и не промах. Иди-ка сюда, милашка, какая ты легонькая, ну просто перышко», и Ханс хочет взметнуть ее разок в воздух, сильно-сильно, и завопить что-нибудь вроде ЭГЕ-ГЕЙ, он такой счастлививый сегодня, отлично вписался в круг своих будущих коллег с академической подготовкой. Он — человек действия.

— Отстань, — говорит Софи.

Это прокол. Ханс делает вид, что ему надо срочно застегнуть ширинку.

Многочисленные гимназисты заверяют друг друга в том, как премило удалась сегодняшняя вечеринка. Обмениваются телефонами. Все роли расписаны, пора на сцене появиться первому несмелому «Ты», и первое несмелое «Ты» не заставляет себя ждать. Говорят о предстоящей совместной прогулке, приглашают летом в загородный домик погостить.

Намазывают бутерброды.

Раздают огромных размеров куски торта на бумажных тарелочках.

Райнер из засады, пригнувшись, бросается к Софи и говорит, что теперь должен наконец начаться период в их дружбе, который, он не боится этого слова, принципиально будет отличаться от всего, что было прежде. Потому что они наконец-то должны найти непосредственный доступ друг к другу. Обнаружить его можно во время совместных вечерних прогулок. В каждом глубоком разговоре мы будем открывать для себя что-то неизведанное, обещает он ей. Самое восхитительное чудо природы заключается в ее полной свободе от противоречий.

Софи ему противоречит: — Ну-ка, отпусти меня сейчас же, еще платье помнешь, это ведь шифон. Ты медленно, но верно дегенерируешь, Райнер, в самом деле.

Взрослым позволено выпить пунша, чтобы воздать должное позднему часу. Отпрыски хихикают, потому что им в виде исключения позволяют отпить глоточек. Ханс немедленно пристраивается к очереди за алкогольным напитком, но его прогоняют, потому что он еще не взрослый, как ему ошибочно заявляют. Ханс вопит, что давным-давно сам деньги зарабатывает. В ответ на лице дочурки частнопрактикующего врача застывает недоуменное выражение.

Здесь и не покурить.

Фрау Витковски, без которой тут тоже не обошлось, прячет в толпе свои учительские телеса (когда-то она и сама была учительницей!). Прячет она подальше от глаз и свое безобразное платье довоенных времен, которое украсила бархатным бантиком и того же цвета шелковой розочкой, одно неуместнее другого. Папаша выступает франтом, его галстук

кричит так, что уши закладывает, вот он я, не заметить никак нельзя. Самого калеку можно еще не заметить, если постараться, но галстук этот не увидеть нельзя.

Анна робко трется об обтянутую джепером спину Ханса, чтобы тот обратил на нее внимание, а еще лучше — ей это внимание уделил. Ханс, потрепав ее, как лошадь, спрашивает:

— Что, опять у тебя свербит? Коли свербит, надо самой и почесаться, ха-ха-ха-ха.

Он раздражается пронзительным гоготом, подскакивает к Софи и, сграбастав ее, поднимает на руки и кружит в воздухе. Потом подбрасывает, словно тюк, снова ловит и называет сокровищем, куколкой и малышкой Софи. В нем много силы, которую он теперь выпускает наружу, для кого же она ему и нужна, как не для одной Софи.

Софи слегка улыбается и говорит: — Опустим меня, Ханс.

Он не успевает выполнить приказ, как уже сзади подбирается Райнер, выдирает Софи у него из рук и говорит, что сейчас Ханс по яйцам схлопочет, тот отвечает, что еще посмотрим, кто тут чего схлопочет.

— А теперь проваливай отсюда, мы хотим вдвоем побыть.

Господин директор изрекает напутствие, что, мол, аттестат зрелости, венчающий важный отрезок жизненного пути, рассеет их вскоре по всему свету. Они должны навсегда сохранить в памяти школьные годы. Годы подошли к концу, а жизнь только начинается. Она отличается от школы, однако школа была подготовкой к ней.

Райнера и Анну мороз по коже продирает от страха; их больше всего ужасают любые изменения. Потом никогда уже не стать вожаком так легко, как здесь, потому что не всякий будет тебя знать. Ни тебя, ни твоих достоинств, которые придется проявлять заново. Неизвестность пугает Райнера и Анну.

Анна всем своим видом демонстрирует, что и ей хочется что-то сказать по этому поводу.

Оба молодых человека, у которых внутри выиграло обилие сил и соков, вот-вот подерутся. Какой-то здравомыслящий учитель вступает между ними, взывая к дисциплине и религиозным заповедям. Он, кстати, — преподаватель закона Божьего.

Анна даже слегка подпрыгивает от беспокойства, так как и ей есть что сказать. Она хочет сказать, что Ханс принадлежит ей и никому другому. Даже если впечатление сложилось иное. Райнер с близкого расстояния, безо всякого телефона, сообщает Софи, какие чувства по отношению к ней он испытывает и испытывал всегда. Из гордости он никогда не признавался в этом. Но теперь это сильнее его. И совладать с этим невозможно. По его мнению, она спокойно может узнать об этом. Следующая по нарастанию степень представляла бы собою солнечные блики на траве в лесу, дождик, начинающий падать медленно и неслышно, смолистый аромат деревьев, Софи в старом плаще, затаив дыхание, нежно гладит его по волосам. Бывают моменты, когда и интеллектуалу требуется телесный комфорт. Плотный деревенский ужин на простой клетчатой скатерти и множество серьезных и глубокомысленных бесед, при которых умозрительно будет присутствовать и сам Господь Бог. Это мечта любого гимназиста, которая является и его мечтой. После ужина они укладываются в постель и продолжают чтение Камю, которого все это время читают вместе. То место, где приговоренному вдруг открывается мир, уже ставший для него навсегда безразличным. И он думает о своей матери. Если угодно, он, Райнер, будет думать о Софи. Затем они скрываются от объектива кинокамеры в лесной чаще.

Софи говорит, что после каникул мать отправит ее в Лозанну, сменить обстановку и

окружение.

— И это уже решено окончательно? — робко вопрошает Райнер.

— Да, решено. В пансион.

Софи уже сейчас радуется совершенно иной среде и чужому языку.

Райнер спрашивает, зачем же ее так тянет вдаль, когда все хорошее находится так близко, а именно здесь.

— Зачем тебе нужно это чужое окружение? Тебе бы лучше заняться усмирением чужого и незнакомого зверя — во мне. Я сейчас охотно совершил бы с тобой половой акт, но таковой унижает женщину. По этой причине мне необходимо вышеупомянутое усмирение.

— То, что я устроила в спортзале, событие более грандиозное, чем всякие ухаживания и признания в любви. Событие воспламеняющее.

Райнер говорит, что она, разумеется, не хочет покидать его и сейчас об этом просто так болтает. И в доказательство того, что она пользуется его безграничным доверием, он хочет лишь ей одной поведать кое-какие свои мысли о романе Камю «Чума», это следующая книга, которую они будут читать вместе. Только пусть она никому не рассказывает.

Софи кончиками пальцев холодно отодвигает его в сторону и здоровается с родителями своего партнера по вальсу, которые с ней знакомы и расспрашивают о планах на будущее, в ответ на что им также сообщается о Лозанне. Это находит их одобрение, равно как и тамошние возможности для занятий спортом.

Анна дышит Софи в затылок, покрытый светлыми волосами. Ей хочется рассказать кое-что о своем собственном характере. Такой словоохотливой она давно не была. Анна констатирует, что характер определяется слепой ненавистью ко всему свету. Пусть Ханс и ее тоже хотя бы раз поднимет, как только что поднимал Софи. Ханс говорит Анне, чтобы та сгоняла и принесла ему бутерброд с колбасой. Анна ракетой срывается с места и уносится прочь.

Тем временем Райнер и Ханс повисают на плечах Софи, соответственно один на левом, а другой на правом, и всю убеждают ее вместе с ними покинуть этот тяготящий школьный праздник, чтобы продолжить дискуссию. Райнер вдобавок дает торопливые пояснения по поводу современной музыки, которая как раз сейчас звучит из магнитофона. Не нужно Софи ехать ни в какую французскую Швейцарию. Ханс начинает вторить: Швейцария, Швейцария лишь после того, как ему объяснят, где находится Лозанна.

Софи высокомерно стряхивает с себя их руки, которые желают ей добра, но за дело берутся из рук вон плохо, она возвышается над ними, подобно злему плотоядному растению, умерщвляющему насекомых своим клеем и не терпящему каких бы то ни было помех. Она уедет хотя бы ради того, чтобы больше не видеть их обоих.

— Полагаю, это ваши маленькие поклонники, милая Софи, — усмехается мамаша ее партнера по вальсу, — ну, что же, желаю приятно провести время, голубушка.

Анна возвращается, стискивая в руках бутерброд с колбасой, Ханс, перенервничав, сметает с него кружок салями, сдергивает огурчик, Анне можно доесть оставшийся неостребованным бутербродный остов. Расходы он ей оплатит. Анна ест и сразу целенаправленно устремляется в сортир, чтобы вытошнить, будем надеяться, что там свободно.

Райнер говорит, что, возможно, он убьет себя. Это наверняка привлечет внимание Софи. Потому что иначе он проскользнет сквозь ячейки сети и исчезнет, словно и не бывало его вовсе. Миру свойственно нежное равнодушие, считает Камю. Нужно пройти сквозь его

враждебность, оставив ее позади, говорит Камю. Если тебя лишили последней надежды, то настоящее оказывается полностью в твоих руках, тогда ты сам становишься единственной реальностью, а все остальные — лишь статисты. Чем они и без того являются.

— Ты никогда не произнесешь ни одной фразы, которую бы до тебя уже не сказал кто-нибудь другой, — ядовито-ласково замечает Софи.

— Как раз потому, что все сказанное на свете мне уже известно. Там, где погасла жизнь, вечер напоминает унылое перемирие, как учит нас Камю.

Ханс со всего размаха бьет себя кулаком по черепу, который отзывается гулом полого внутри предмета. Наружу не выходит ничего оригинального, а только вполне привычная Хансу ругань, когда мастер ему говорит, что он где-то там полюса в проводке перепутал и сейчас пинка в задницу получит.

Увечный отец подскакивает к ним на своих костылях и говорит Софи, что, по всей вероятности, она и есть малышка-подружка его сына, просто отлично, потому что деваха она что надо, из тех, с какими он в молодости частенько, бывало, барахтался, а теперь пореже, ведь времени на баловство у служивого человека остается мало. Однако и в данной области есть еще чему у него поучиться его сыну Райнеру, которому до него далеко.

Мать Анны и Райнера пожирает глазами фасон вечернего платья Софи. Интересно, способна ли ее швейная машинка создать такое вот чудо из шифона, или это органди? Нет, точно не синтетика.

Анна как клещами стискивает запястье матери. Вот уже несколько месяцев она и не прикасалась к этой руке. На какое-то мгновение обе женщины поневоле становятся святой Марией и святой Марфой, поневоле, вот только у святой Марии один только сын был, а дочери не было.

Ханс судорожно сглатывает слюну. Сколько ее, слюны этой, а ведь за весь вечер пива толком и не выпил.

Софи отряхает с себя все и безвозвратно уходит.

После себя Софи оставляет две пробоины, по одной в Хансе и в Райнере, чего она, однако, не ощущает.

Когда дружок девушки, отдыхающей летом в деревне, снова возвращается в город, она ему говорит: «Ты уходишь, но многое остается». Остается многое, что он оставил. Здесь, однако, мало что остается, из чего можно было бы извлечь пользу, здесь вообще не остается ничего.

Фрау Витковски двумя ладонями, третьей у нее нет, прикрывает наготу бархатного бантика и шелкового цветка, но они все-таки бестактно проглядывают у нее сквозь пальцы и производят скверное впечатление. Впечатление, которое производит господин Витковски, ничуть не лучше.

Анна тоже уходит, никем не замеченная, действительно, никто в ее сторону и бровью не повел. После нее не остается ничего, даже крохотной зазубрины на паркете от металлической набойки каблука. То есть вообще ничего.

Ханс выходит из заводских ворот, Анна с улицы приближается к нему. Она хочет сказать что-то толковое, чтобы он увидел, что и так она тоже умеет. Ей хочется сказать, как хорошо, что меня не пускают в Америку, потому что теперь сможем вместе позаниматься летом, чтобы тебя приняли в вечернюю школу. Но, как часто случается, она ничего не произносит, а просто начинает плакать как дура. Анна в голос ревет на глазах у всех, на виду у чужих людей, которые целый день вкалывали и оттого имеют право провести вечер в неомраченном ничем покое, она вкладывает всю свою разъеденную почти насквозь душу в этот вой и тем самым обнаруживает доброе начала. Плакать может лишь тот, кто не зачерствел и не ожесточился окончательно. Губы уродливо кривятся, гримаса искажает лицо. Женщина никогда не выигрывает от такого выражения на лице, она всегда проигрывает. И все же Ханс ощущает что-то похожее на сострадание, когда он видит, как плачет всегда высокомерная и независимая Анна. Быть может, это и не сострадание вовсе, а некий чисто мужской рефлекс — защищать слабых. Рефлекс срабатывает и вступает в действие, когда мужчина видит льющую слезы женщину. Он обнимает эту конкретную, плачущую здесь женщину и быстро уводит ее прочь, чтобы не заметили товарищи по работе.

Он говорит: — Что такое, Анни? Чего реवेशь? Ну ладно тебе!

Анна говорит, что она в отчаянии, слова сбивчиво исторгаются из нее, слова страха и ненависти, приправленные щепоткой зависти к Софи. Ханс говорит, что некрасиво завидовать человеку, ну чем она виновата, что семья ее занимает такое положение.

— Ты ей зла желаешь?

Анна взрывает на октаву выше.

— Пошли, я тебя домой провожу, мы ведь почти рядом живем. Ну, успокойся, — и она постепенно успокаивается. И вдруг она смотрит на Ханса совершенно иными глазами, глазами любви, которая заметила, что она — любовь настоящая. Ханс смотрит на Анну совершенно иными глазами, глазами мужчины, глазами защитника, который сильнее. Может быть, это чувство дружбы, которая заметила, что и она тоже настоящая. Эта дружба такая, что с другом идут через все ямы и буераки, преодолевая вместе тяжелые времена.

Ханс идет с Анной домой через ямы и буераки, не разбирая дороги.

— Ну, что такое стряслось с нашей Анни, — повторяет он все время одно и то же, не зная, что ему еще сказать.

— Ничего, уже прошло, — говорит та. — Пошли к нам, поужинаем?

— Нет, — сразу отвечает Ханс, потому что родителей Анны он не выносит. Но добавляет, что скоро воскресенье и можно было бы вместе предпринять что-нибудь.

Разного рода тревоги сваливаются с Анны, и непривычная радость растет в ней, распространяясь даже на предстоящий ужин, который наверняка отвратителен на вкус. Уже совсем скоро они с Хансом предпримут воскресно-велосипедную прогулку. Прогулка эта, может быть, станет для них новым началом на новой основе. Ведь совсем не обязательно, чтобы основой всегда было только материальное, так как деньги и потерять можно, а чувство от них не зависит.

В квартире Витковски на стол накрывают ужин. Отец брюзжит не переводя духу, на что никто уже больше не реагирует, настолько все привыкли. Он угрожает матери разного рода

ужасными истязаниями, которые обещает применить по отношению к ней.

Мать листает почтовый каталог товаров, где отыскала платье, которое ей прямо колет глаза. Все колет и колет. В особенности же колет оно потому, что вчера-то в школе она в смысле наряда, как-никак, осрамилась и до сих пор ощущает от этого определенный внутренний ущерб.

Отец говорит Райнеру:

— Не сыграть ли нам потом партию в шахматы?

Райнер соглашается, и партия действительно будет сыграна. На ужин сегодня хлеб, вареная колбаса и салями. Плюс картошка в такой подливке, что жуть берет. Затем они садятся за вышеупомянутую партию, инвалид отпускает разного рода сомнительные замечания, касающиеся как психического состояния Райнера, так и всей его персоны в целом. Райнер проигрывает, потому что он как-то рассеян сегодня. Отец радуется, как сумасшедший, ведь в последнее время так редко удается выиграть у чванливого гимназиста, который слишком много стал о себе воображать. Тем не менее он говорит Райнеру, что тот схлопочет сочную затрещину по-свойски и от души, если не соизволит быть пособраннее, когда играет с отцом. Райнер говорит, что выигрывать бессмысленно, и получает вышеупомянутую оплеуху.

В чертах лица Анны появилась какая-то мягкость, чего еще сегодня утром в нем нельзя было найти. Откуда это взялось? Она даже вымытую посуду сегодня протирает.

Мать, ощущающая свою несостоятельность в роли матери, принимает позу мученицы и начинает упрашивать отца, чтобы тот не использовал сегодня ночью реквизит, это больно. Тот игриво замечает, что еще подумает, но колотушек она получит скорее больше, а не меньше. Потом все ложатся спать.

Анна перед сном съедает яблоко.

Райнер, лежа в постели, перед сном также съедает яблоко, читая при этом «Абсурдное рассуждение» Камю.

Свет выключают, всем спать.

В половине седьмого утра Райнер вдруг просыпается, и, вопреки обыкновению, обе его ладони влажны сейчас от пота. Он не принимает в расчет никаких доводов, ни за, ни против. Слышно, как мать возится в ванной. Он встает, выходит в прихожую, снимает с висящей у притолоки отцовской связки ключ от пистолетного футляра. Футляр высотой 6 см, длиной 30 см и шириной 15 см изготовлен из металла. На нем лежит бумажник, его убирают в сторону. В квартире тихо, исключение составляют неприятные звуки в ванной комнате, производимые матерью, которая всегда встает первой. Райнер открывает футляр и вынимает оттуда «штейер» калибра 6,35 мм. Под пистолетом находятся фотографии, на которых можно видеть гениталии его матери, эти органы не производят на него сколько-нибудь ощутимого впечатления, несмотря на то что именно они в свое время выпустили его на свет.

С пистолетом в руке Райнер переходит в комнатку своей сестры, которая всю ночь проспала рядом, за тонкой самодельной перегородкой, и продолжает доверчиво видеть сны. Он стреляет Анне в голову почти в упор, раздробив лобную кость, погружая сестру в бессознательное состояние, которое наступает мгновенно. Несколько музыкальных обрывков из Шенберга, опус 33-а, а также наполовину разученная соната Берга судорожно корчатся в мозгу Анны и потом, колеблясь, скрываются неохотно и навсегда. Кончилась музыка, ничего больше не будет.

После этого выстрела Райнер выходит в переднюю, где навстречу ему идет мать, не

произнося ни слова и не проявляя себя каким-либо иным образом. Он осознает, что теперь придется убить всю семью, чтобы не было свидетелей, которые выдадут его полиции. Райнер сразу стреляет в мать, тоже в голову, и она тут же валится с ног, не издав ни звука. Верхняя челюсть у нее раздроблена совершенно, смерть, однако, пока еще не наступила. Хрипящим мешком она корчится на линолеумном полу в передней, неизвестно, продолжает ли еще мозг свою деятельность или нет, должно быть, нет. Райнер откладывает в сторону пистолет, в котором не осталось больше патронов, и берет в клозете остро отточенный топор весом 1,095 кг. Длина его лезвия составляет 11,2 см. Странно, что отец все время, пока совершались убийства, спокойно сидит в гостиной, поверх пижамы на нем надета вязаная кофта. С топором в руках Райнер проходит к отцу, онемевшему от ужаса, и наносит удар. Просто рубит, ни о чем не думая. Целясь в голову. Под ужасными ударами топора отец Райнера моментально грохается оземь, обливаясь кровью. Раскальваются кости, разрубаются в куски хрящи, рвутся сухожилия, рассекаются кровеносные сосуды, так что их теперь уже не залатать. Райнер старается попасть лишь в голову и шею, чего вполне достаточно. Он наносит удары до тех пор, пока верхняя часть тела отца не оказывается изрубленной в ошметки. После чего Райнер с топором переходит к матери, которая хрипит и с клочкотанием пускает кровавую пену и тело которой бесформенным мешком лежит в передней, и принимается рубить ее. Он ни о чем не раздумывает, у него нет никаких доводов, ни за, ни против. Он хочет поразить насмерть и действительно поражает насмерть. Произведя последний выстрел, он уже знал, что придется взяться за топор, чтобы довести дело до конца. Никто не произносит ни слова, никто не вскрикивает. Мать лежит ничком, и он убивает ее в этом положении. Она умирает. Ни до того, ни после Райнер не передвигает ее тело ни на миллиметр. Как упало, так и упало. Увидев, что она мертва, Райнер направляется к сестре, которой прежде выстрелом разнес череп, потому что остальное тело было укрыто одеялом, и принимается наносить топором удары по голове Анны, как до того — по головам отца и матери. Голова Анны превращается в месиво из осколков костей, крови, обрывков жил и массы головного мозга, в котором светлыми пятнами просвечивают отдельные зубы и выбитый глаз. В какой-то момент, достаточно скоро, умирает и Анна, таким образом, теперь мертвы все трое.

У всех в основном изрублены головы и область шеи. Тогда Райнер подходит к фибровому чемодану и из-под старых сломанных игрушек, диапроектора и обрывков войлока извлекает штык, после чего колет штыком все три трупа, что уже совсем излишне, методично переходя при этом от одного тела к следующему. Сначала наносятся колотые раны отцу в область шеи, груди и живота, потом штык с ожесточением всаживается в мертвую мать, преимущественно в нижнюю часть живота, после чего изо всей силы он колет штыком мертвую сестру. Наконец с этим покончено. Окровавленные человеческие тела не издадут больше ни звука, невозможно даже и отличить их друг от друга, тем более что всем известно: смерть стирает все различия. Можно разве что распознать половую принадлежность мертвых, но не более того. Данного признака следует придерживаться, если хочешь установить, какому лицу принадлежит какой труп.

Совершая бессмысленное, Райнер хочет сохранить свое нарциссическое начало, считая, что предпринял нечто незаурядное.

Теперь он намерен спрятать отцовский труп так, чтобы, входя в квартиру, его не сразу можно было заметить. Кряхтя и переводя дух, он волочит сочащуюся кровью охапку плоти к большому деревянному сундуку, из которого прежде приходится вынуть кучу ненужного

хлама, чтобы втиснуть туда труп. Повсюду наличествует такое безумное количество вытекшей крови, что он уже не в состоянии спрятать другие трупы. Нервы отказываются служить ему. Райнер оказывается неспособным выполнить поставленную задачу.

Он снимает пропитанную кровью пижаму и принимает душ. Затем, уложив орудия преступления в портфель, поспешно покидает дом с тем, чтобы обеспечить себе алиби. Пижаму он тоже забирает с собой. На автомобиле он едет домой к однокласснику, чтобы вместе готовиться к выпускным экзаменам и занять у него денег на бензин. Орудия убийства он намерен сбросить в стремнину Дуная с одного из мостов, на что, однако, не решается в связи с тем, что множество прохожих уже в такой ранний час безо всякой надобности разгуливают по набережной. Так что арсенал перекладывается в багажник машины вместе с пижамой, под запасное колесо.

После того как повторен учебный материал к выпускным экзаменам и взяты в долг 500 шиллингов из сигарной коробки, Райнер и его одноклассник отправляются в Кетласбрунн, что в Нижней Австрии, чтобы проведать своего бывшего преподавателя закона Божьего, который несет там пасторское служение.

Вот они и в Кетласбрунне, пастор удивлен и очень обрадован их посещением. Он угощает обоих господ студиозусов обедом в местном трактире, где они съедают по свиной отбивной с кнелями. После чего идут в молодежную миссию на семинар с участием профессора из Вены на тему «Человек как Космос», а также «Вина и покаяние». Райнер, как всегда, пытается выделиться и обратить на себя внимание, задавая по обеим темам вопросы. На прощанье пастор протягивает им руку и дает пару сладких булочек в дорогу. Затем одноклассника довозят до дома.

— Это был богатый событиями день, — говорит он и скрывается в дверях своей квартиры, откуда пахнет ванильным соусом.

Райнер вновь едет к полноводному потоку Дуная, символу столицы. Тем временем наступило семь часов вечера, и он погружает в волны орудия убийства невдалеке от ресторана Бергера, известного своей рыбной кухней

Залитая кровью пижама остается в багажнике машины.

Позднее из телефонной будки Райнер звонит девушке, с которой они не виделись несколько месяцев. Та служит няней в семье врача в центральной части города, их родители знакомы еще по своей родной деревеньке в Вальдфиртеле. Девушку Ренату приглашают потанцевать в Пикассо-баре, и она действительно танцует с Райнером в Пикассо-баре. Райнер выпивает два бокала кампари с содовой. Рената выпивает один мартини и бокал фанты. Райнер пространно объясняет ей композиционное построение современной музыки, которая звучит из динамиков. Потом он прерывает объяснения и везет Ренату домой.

После этого Райнер сразу едет на родительскую квартиру, где все это время лежит его мать с сорока тяжелыми ранениями и бесчисленными ранениями средней тяжести, где его сестра покрыта двадцатью шестью смертельными ранами, оставленными узким колющим предметом, не считая более мелких, и где превращенный в месиво папа разлагается себе втихомолку в украшенном резьбой сельском сундуке. В общей сложности на телах трех убитых обнаруживают более восьмидесяти рубленых ран, не принимая в расчет колотых, особо сильным разрушениям подверглись их головы. Он рубил, держа топор двумя руками, чтобы увеличить силу удара. Рядом с этой мертвечиной, ужасно обезображенной, Райнер ночевать не может, так как ему становится жутко.

Он ступает на порог своего дома, который для него уже не является таковым, ненадолго

включает свет в прихожей, чтобы люди подумали, что он был потрясен неожиданностью кошмарного зрелища, сразу же гасит свет, идет в полицейский участок и делает заявление:

— Мою мать убили, она лежит в передней, пожалуйста, пойдёмте со мной, помогите выяснить, кто убийца.

Один из полицейских сразу же бежит с ним вместе, и кто опишет изумление, когда обнаруживаются целых два трупа, которые поначалу даже путают между собой, до того они изуродованы, что никто не может уже установить, где мать, а где дочь.

Полицейские в растерянности. Райнер, бледный и почти без сознания, лежит на носилках, врач успокаивает его с помощью соответствующих медикаментов, однако пульс бьётся удивительно ровно для такого сильного потрясения, считает врач.

— Где ваша пижама и где находится ваш отец? — спрашивает инспектор.

— Пижама должна быть где-то здесь, я ее снял и положил тут утром, мне нужно было рано уходить. А где отец, я не знаю.

— Трупы опознать невозможно, с такой жестокостью они обезображены, — говорит полицейский, которого тошнит, хотя человек он бывалый и многое повидал за годы своей работы. Останки матери и сестры не трогают с места, и вид их трогает и потрясает душу. Вскоре, однако, полицейских еще больше затрагивает вопрос, куда же подевалась пижама Райнера и где господин Витковски, ведь оба трупа — женского пола.

Уж не отец ли это сделал? Но наконец все-таки то, что осталось от отца, обнаруживается в сундуке, залитом кровью. То, что осталось от его мозгов, валяется рядом, потому что в сундук оно уже не помещалось.

Теперь остается лишь вопрос о пижаме, усугубляемый крепнувшим подозрением, и его задают вновь и вновь.

Инспектор в сотый раз спрашивает:

— Где ваша пижама, она должна быть в квартире, господин Витковски!

Наконец Райнер отвечает: — Она испачкана кровью и лежит в багажнике под запасным колесом.

Теперь вам известно все, и я предаю себя в ваши руки.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Кошат, Томас (1845–1914) — австрийский автор и исполнитель «народных» песенок, руководитель популярного фольклорного ансамбля.

Краус, Петер (р. 1939) — один из популярнейших немецкоязычных авторов и исполнителей рок-н-ролла.

Хитцинг — один из пригородных районов Вены, населенный главным образом состоятельными людьми.

Штифтер, Адальберт (1805–1868) — классик австрийской литературы, покончил жизнь самоубийством, страдая от неизлечимой болезни.

Батай, Жорж (1897–1962) — французский писатель, «блудо-поклонническая» проза которого, густо замешанная на эротических фантазмах, связывается его исследователями со стремлением к мистическому опыту.

Хаймвер — военизированная организация в Австрии в 1918–1938 гг., созданная буржуазными партиями для борьбы с рабочим движением.

В начале 1920-х годов социалистическое правительство Австрии предоставило льготы строительным фирмам, и для рабочих семей было построено, с долевым участием самих жильцов, несколько крупных жилых комплексов, каждый из которых имел свое название.

Аллюзия на надпись на воротах фашистского концлагеря в Бухенвальде: «Труд делает свободным».

«А 3» — самая дешевая марка сигарет в Австрии того времени.

«Хавелка» — кафе в Вене, популярное в то время у творческой молодежи.

Ринг — имеется в виду Рингштрассе, кольцевая дорога, проходящая вокруг центральной части Вены. По обеим сторонам Рингштрассе располагаются многие знаменитые здания, монументы и парки.

Хоэ Варте — один из окраинных районов в Вене, место расположения метеостанции.

Известные киноактеры 1950-х гг.

И тысяча поцелуев (*лат.*).

Парк отдыха и развлечений в Вене.

Венские акционисты — Герман Нитш и другие венские художники, с начала 1960-х гг. создававшие искусство хэппенинга, в котором тело использовалось для создания художественного объекта, имитирующего разрушение человека.

Имеется в виду пьеса А. Камю, созданная на материале романа Ф. Достоевского.